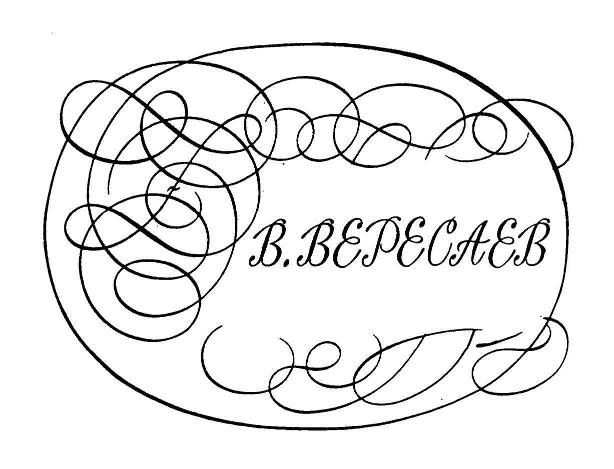
В. ВЕРЕСАЕВ ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН





В. ВЕРЕСАЕВ



ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН



Москва
Издательство "Республика"
1996

ББК 83.3Р1
В31

Составление и комментарии
Ю. ФОХТ-БАБУШКИНА

Оформление художника
Е. А. АНДРУСЕНКО

В31 **Вересаев В. В.**
Загадочный Пушкин / Сост. и коммент. Ю. Фохт-Бабушкина. — М.: Республика, 1996. — 399 с.
ISBN 5—250—02616—8

Четверть века известный русский писатель В. В. Вересаев (1867—1945) посвятил углубленному изучению жизни и творчества А. С. Пушкина. Кроме известных широкому кругу читателей и не раз переизданных в последние годы книг "Пушкин в жизни" и "Спутники Пушкина" перу писателя принадлежат популярный очерк жизни и творчества поэта, несколько десятков статей и рассказов, являющихся оригинальной и неотъемлемой частью вересаевской "пушкинианы", без которой не может быть до конца понят и оценен знаменитый "Пушкин в жизни".

Почти все включенные в сборник произведения не публиковались с 20—40-х годов. За прошедшие десятилетия они не утратили своей ценности, полны нетрадиционных, порой парадоксальных, но всегда глубоких размышлений о жизни поэта и неожиданных трактовок его творчества. И если "Пушкин в жизни" — это монтаж фактов и документов, то публикуемые здесь работы дают возможность непосредственно познакомиться с мыслями Вересаева о корифее русской словесности.

В $\frac{4603020101—053}{079(02)—96}$ ББК 83.3Р1

ISBN 5—250—02616—8

"Пушкиниана" Вересаева

Работы Вересаева о Пушкине — интереснейшая страница русской литературы. В последние годы несколько раз были переизданы "Пушкин в жизни" и "Спутники Пушкина". Это две наиболее известные, можно сказать, знаменитые книги, но ими далеко не исчерпываются работы Вересаева о великом русском поэте. Было еще написано около четырех десятков статей и рассказов о Пушкине, книга о его жизни и творчестве, комментарий к изданию его произведений. Почти все публиковалось только в 20—30-е годы да и чаще не отдельными изданиями, а в газетах и журналах, век которых короток.

В предлагаемом читателю однотомнике собрана значительная часть этих во многом забытых, но от этого не утративших ценности работ большого русского писателя о великом поэте. Они представляют особый интерес потому, что здесь мы имеем возможность непосредственно познакомиться с мыслями Вересаева о корифее отечественной словесности. "Пушкин в жизни", этот "свод подлинных свидетельств современников", представляет собой своеобразный роман в документах, монтаж фактов, почти полностью лишенный каких-либо авторских комментариев. Конечно, в подборе фактов и их композиции просматривается точка зрения автора, но все же до конца уяснить отношение Вересаева к Пушкину можно лишь из его прямых высказываний на этот счет. Мысли Вересаева о Пушкине часто неожиданны, но всегда глубоки, они наверняка привлекут внимание серьезного читателя, стремящегося понять, почему столь значима в России литература и как ей служил ее величайший представитель.

Пушкин был для Вересаева одним из любимых и наиболее ценимых писателей. На вопрос о литературных учителях он неизменно отвечал: "Моя классическая триада: Пушкин, Лев Толстой,

Чехов". В начале 1920-х годов этот постоянный интерес перерос в увлечение. Углубленному изучению жизни и творчества Пушкина Вересаев в значительной мере посвятил последние двадцать пять лет своей жизни.

На первый взгляд может показаться странным, почему широко признанный прозаик — а в первые десятилетия нашего века Вересаев действительно был в числе самых популярных писателей, в прессе его называли "властителем дум русского читателя" — вдруг переключился на изучение Пушкина и переводы древнегреческих поэтов, отодвинув на второй план прославившую его прозу — романы, повести, рассказы?

Можно, конечно, объяснить это ужесточавшейся цензурой, когда художнику дышалось все труднее, а переводы или история литературы — занятия поспокойнее. Отчасти, разумеется, так и было, сам писатель об этом впрямую говорил. В письме М. Горькому от 23 мая 1925 года он следующим образом объяснял свое обращение к Пушкину: "Слышал я, что Вы пишете большой роман из современной жизни. Очень интересно. Трудно это сейчас почти до непреодолимости, — столько и внутренних и внешних препятствий. Первых даже еще больше. Я махнул рукою и занялся изучением Пушкина и писанием воспоминаний, — самое стариковское дело". Вскоре (в 1926—1927 годах) вышел четырьмя выпусками "Пушкин в жизни", и в печати разразилась буря. Вот вам и "стариковское дело": невозможно человеку уйти от себя, а честному художнику не сказать правду, о чем бы он ни писал.

Но все-таки почему именно к Пушкину обратился Вересаев в то трудное время и почему размышления о Пушкине получили тогда столь шумный резонанс? Для ответа на эти вопросы надо вернуться к истории вересаевского творчества и истории революционного движения в России. Многое, о чем десятилетиями напряженно думал писатель, оказалось весьма актуальным для тех лет социальных потрясений.

* * *

Редкое творческое долголетие выпало на долю Вересаева: он проработал в литературе шестьдесят лет. Ему не было и девятнадцати, когда 23 ноября (5 декабря) 1885 года журнал "Модный свет" напечатал его стихотворение "Раздумье", и с тех пор вплоть до последнего дня своей жизни — 3 июня 1945 года, — Вересаев никогда не оставлял пера. Свидетель трех русских революций, русско-японской, империалистической, гражданской и Великой Отечественной войн, современник Салтыкова-Щедрина и Гаршина,

Льва Толстого и Короленко, Чехова и Бунина, он был и нашим современником, современником Булгакова, Твардовского, Леонова... За эти годы Вересаев пробовал себя чуть ли не во всех родах и видах литературы — писал романы, повести, рассказы, очерки, стихи, пьесы, литературно-философские трактаты, выступал как литературовед, литературный критик, публицист, переводчик.

Но несмотря на долгую жизнь в литературе бурной эпохи социальных сломов, несмотря на многогранность своего таланта и многоплановость литературной деятельности, Вересаев — писатель удивительно цельный. Двадцати двух лет, 24 октября 1889 года, он записал в дневнике: "... пусть человек во всех кругом чувствует братьев, — чувствует сердцем, невольно. Ведь это — решение всех вопросов, смысл жизни, счастье... И хоть бы одну такую искру бросить!" Весь жизненный и литературный путь Вересаева — это поиски ответа на вопрос, как сделать реальностью общество людей-братьев. Оно неизменно оставалось тем идеалом, борьбе за который писатель отдавал свой труд, свой талант, всего себя.

Мечта об обществе людей-братьев родилась еще в детстве, и первый ответ на вопрос, как его достичь, дала семья.

Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев — это псевдоним писателя) родился 4(16) января 1867 года в семье тульского врача, в семье трудовой и демократической. Вслед за отцом юный Витя Смидович верил, что жизнь будет легче, светлей и чище, когда люди станут лучше. А в моральном облагораживании людей могущественнейшими и единственными факторами являются труд и религия. Напряженная духовная жизнь, поиски смысла человеческого бытия и своего места в нем необычайно рано — по сути, уже в детстве — отодвинули у Вересаева на второй план обычные мальчишеские развлечения. Он занимается историей, философией, физиологией, изучает христианство и буддизм. Но все острее ощущает безоружность своих идеалов. Казалось необходимым найти ту социальную силу, которая способна претворить эти идеалы в жизнь.

Полный тревог и сомнений, отправился Вересаев в 1884 году учиться в Петербургский университет, поступил на историко-филологический факультет. Поначалу Вересаев со всей самозабвенностью молодости отдается народническим теориям, с ними связывает надежды на создание общества людей-братьев. Но под впечатлением угасания народнического движения ему начинает казаться, что надежд на социальные перемены нет, и он, еще недавно радовавшийся обретенному "смыслу жизни", разочаровывается во всякой политической борьбе. С головой уходит студент Вересаев в занятия и пишет, пишет стихи, прочно замкнутые в круге личных тем и переживаний. Лишь здесь, в любви, кажется ему теперь, возможна

чистота и возвышенность человеческих отношений. Да еще в искусстве: оно, как и любовь, способно облагородить человека.

В 1888 году, уже кандидатом исторических наук, Вересаев поступает в Дерптский университет на медицинский факультет. "Моею мечтою было стать писателем; а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии; кроме того, специальность врача давала возможность близко сходиться с людьми самых разнообразных слоев и укладов" — так позднее в автобиографии объяснял Вересаев свое обращение к медицине. В тихом Дерпте, вдали от общественных бурь, провел он шесть лет, занимаясь наукой и литературным творчеством, по-прежнему охваченный мрачными настроениями.

Заявив в своих ранних рассказах конца 1880 — начала 1890-х годов тему судеб русской интеллигенции, он заговорил об общественном "бездорожье". Эта боль стала центральным мотивом его первой повести "Без дороги" (1894), посвященной поколению, "ужас и проклятие" которого в том, что "у него ничего нет". "Без дороги, без путеводной звезды оно гибнет невидимо и бесповоротно..."

Общество людей-братьев оставалось целью, к которой звал молодой писатель, но все предлагавшиеся русской действительностью тех лет средства изменения жизни были им категорически отвергнуты. В этом смысле он тоже остался "без дороги" и вслед за героем своей повести мог бы воскликнуть: "Я не знаю! — в этом вся мука". Фраза из дневника Вересаева: "Истина, истина, где же ты?.." — стала в те годы лейтмотивом его жизни.

Этой мыслью он жил в Дерпте, эта мысль не оставляла его в Туле, куда он приехал заниматься врачебной практикой после окончания Дерптского университета в 1894 году; с этой мыслью он отправился в том же году в Петербург, где поступил работать сверхштатным ординатором в Боткинскую больницу.

Набиравшее силу рабочее движение в России не могло остаться вне поля зрения Вересаева, столь настойчиво искавшего тех, кто в состоянии построить общество людей-братьев. "Летом 1896 года вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, поразившая всех своею многочисленностью, выдержанностью и организованностью. Многих, кого не убеждала теория, убедила она, — меня в том числе", — писал он в автобиографии. В пролетариате ему "почуялась огромная прочная новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории". Вересаев отмечает в дневнике, что у духовной истории человечества две вершины: в искусстве — Л. Толстой, в науке — К. Маркс. Марксизм стал для него "самым дорогим... учением", как признавался он в одном из писем 1900 года.

Вересаев активно сближается с людьми, занятыми подготовкой революции. Помогает агитационной работе "Союза борьбы за освобождение рабочего класса": в больничной библиотеке, которой он заведовал, был устроен склад нелегальных изданий, в его квартире, как вспоминал Вересаев, "происходили собрания руководящей головки" организации, печатались прокламации, в составлении их он сам принимал участие. Деятельность Вересаева обращает на себя внимание властей. В апреле 1901 года его увольняют из больницы, на квартире у писателя производят обыск, а в июне постановлением министра внутренних дел ему запрещается в течение двух лет жить в столичных городах. Он уезжает в родную Тулу, где находится под надзором полиции. Но и там активно участвует в работе местной социал-демократической организации. Помогает тульскому комитету РСДРП деньгами. Департамент полиции установил тщательное наблюдение за Вересаевым, но, несмотря на это, он включается в подготовку первой рабочей демонстрации в Туле, пишет по заданию комитета РСДРП прокламацию "Овцы и люди", ее разбрасывали во время демонстрации.

Да и в его творчестве — в "Записках врача" (1895—1900), в повестях "На повороте" (1901) и "Два конца" (1899—1903) — симпатии явно на стороне революционно настроенных рабочих и идущих вместе с ними интеллигентов.

Однако червь сомнения мучил Вересаева. Он очень сомневался в подготовленности народа к строительству нового мира. Писателю казалось, что марксисты идеализируют человека. Вересаев радовался, замечая, сколько в людях самопожертвования, героизма, человеколюбия; он верил, что эти лучшие качества будут развиваться. Но пока в людях еще сильны животные начала, а с другой стороны — цивилизация и рожденная ею рассудочность подавили в них многие здоровые инстинкты, данные природой. Сегодня человек слишком несовершенен, чтобы в ближайшем будущем построить общество людей-братьев. Требуется время, и немалое, на "усовершенствование" людей. Так считал Вересаев.

События революции 1905 года поначалу властно захватили его. Писатель было совсем уже отказался от своих недавних сомнений. В заключительных главах записок "На японской войне" (1906—1907) он рассказал о первых успехах революции. А по возвращении на родину из Маньчжурии с полей русско-японской войны Вересаев задумывает повесть о 1905 годе. Но поражение революции усилило его опасения. Причину неудачи он увидел в том, что восставший народ не умел распорядиться переходящей в его руки властью: едва почувствовали люди свободу, как в них проснулся "потомок дикого, хищного зверья".

И Вересаев оставляет повесть о 1905 годе, он пишет другую повесть — "К жизни" (1908). В ней он утверждает, что надежда достичь общества людей-братьев с помощью прежде всего классовой борьбы, социальной революции — это слишком узкий взгляд. С его точки зрения, теоретики и практики пролетарского движения недооценивают роль природного, биологического в человеке, на мироощущение которого в равной мере влияют и социальные обстоятельства жизни и иррациональные силы его души. "Там, глубоко под сознанием, есть что-то свое, отдельное от меня... в глубине души у каждого лежит, клубком свернувшись в темноте, бесформенный хозяин... Могучий Хозяин моего сознания, он раб неведомых мне сил". Чтобы быть счастливым, человеку необходимо научиться побеждать своего Хозяина, то есть темные инстинкты. И помочь в этом больше всего может "живая жизнь": умение радоваться пустяку повседневности, занятия физическим трудом, общение с вечно юной природой. Культивируя "живую жизнь", человек и будет нравственно совершенствоваться.

Процесс этот долгий, слом существующей социальной системы необходим, но он отнюдь не станет финалом в решении проблемы, с него все только лишь начнется. Пока же люди сплошь и рядом бессильны перед своими темными биологическими инстинктами и потому революционные схватки так часто оборачиваются кровавой и бессмысленной жестокостью, в море которой могут погибнуть лучшие идеалы человечества. Идеи своей новой концепции бытия Вересаев изложил в исследовательском труде "Живая жизнь" (1909—1914), посвященном философии Достоевского, Л. Толстого, Ницше.

В силу этого нового взгляда на жизнь Вересаев отнесся к революционным событиям 1917 года сложно. В мемуарной зарисовке "Март 1917 года..." он вспоминал, как вскоре после Февральской революции собрались в фойе Художественного театра сливки московской интеллигенции, "дружески, без вражды сошлись представители самых различных общественных и литературных группировок", объединенные радостью освобождения от самодержавия. Это был поистине праздник духа.

А через несколько месяцев писатель публикует полную тревоги за судьбы России серию своих публицистических брошюр — "Бей его! (О самосудах)", "Темный пожар (О свободе слова)", "Наплевать! (Борьба за право)". Подтверждались его худшие опасения: происходящие события свидетельствовали о том, что в ходе революции власть народа может перерасти в тиранию.

В самом начале 20-х годов Вересаев почти одновременно начал писать роман о происходящих социальных катаклизмах "В тупике" (1920—1923) и занялся пристальным изучением Пушкина.

В исключительном по бесстрашной честности романе "В тупике" Вересаев, рассказывая о событиях революции и гражданской войны, предсказал немалое число тех горестей, которыми мы мучаемся сегодня.

Источником многих бед и тяжелых последствий может явиться, по мнению Вересаева, бытующая среди части большевиков уверенность, будто ради высокой цели все средства хороши. Важно, чтобы восторжествовала идея, и, агитируя за нее, можно заменять аргументы митингами, да и вообще не стесняться в средствах. От агитации любыми способами один шаг до роковой черты, за которой во имя привлечения народа на свою сторону разжигаются худшие инстинкты в людях.

Вересаев считал, что главным недостатком большевистского взгляда на революцию, способным убить веру народа в социализм, является недооценка личности. Она обязательно обернется духовными и моральными потерями. Нельзя построить справедливое общество, пренебрегая человеком. Революция, если она произошла, должна вершиться во имя людей, а не ради отвлеченной идеи. Поэтому столь опасна для судеб революции кровавая практика начальника особого отдела Воронько, пусть даже честного и вроде бы интеллигентного чекиста (его прототипом, по свидетельству самого Вересаева, был Дзержинский).

Ложь, беззаконие, разрыв слова и дела, попрание личности неизбежно ведут к социальной апатии — раковой болезни любого общества.

Вместе с героями своего романа Вересаев старался найти ответ на вопрос: что переживает страна — трагический зигзаг в своей истории или начало новой эры? Писатель признавал историческую неизбежность слома изжившего себя социального строя. Но нравственная, духовная неготовность основной массы народа к созданию справедливого общества грозит простой заменой одного бесправия другим, не менее античеловечным. Главным средством строительства нового общества он считает просвещение народа, развитие его культуры. Бездуховность — вот что может погубить все. Как говорит в романе столяр Капралов: "Без умственности мы далеко не уйдем".

А пока происходящие в России события представляются Вересаеву отрицанием "живой жизни". Он ищет отдушину в этом водовороте, ищет духовную опору. И таким не отвлеченным, а вполне осязаемым идеалом "живой жизни" ему начинает казаться Пушкин. В одном из писем начала 1922 года, в самый разгар работы над романом "В тупике", Вересаев сообщал, что увлекся Пушкиным, изучает "всю огромную литературу о нем" и собирается написать о великом русском поэте "большую книгу, вроде "Живой жизни".

Позже в предисловии к циклу своих статей о Пушкине "В двух планах" он прямо говорил о том, что его обращение в те годы к жизни и творчеству величайшего сына России не было случайностью: "Я не исследователь и не критик по специальности. Если я брался за какую-нибудь исследовательскую или критическую тему, то потому, что к теме этой меня приводила общая линия моих исканий. Так было относительно Льва Толстого и Достоевского, Гомера и греческих трагиков, Ницше и древнеэллинской религии. Эта же линия привела меня к Пушкину. В нем я думал найти самого высшего, лучезарно-просветленного носителя "живой жизни", подлиннейшее увенчание редкой у человека способности претворять в своем сознании жизнь в красоту и радость". Кстати, идеалы "живой жизни" Вересаев искал и в древнегреческой поэзии, переводами из которой тоже активно занялся.

Первые результаты пристального изучения Пушкина нашли отражение в лекции "Что нужно для того, чтобы быть писателем?", прочитанной в 1921 году, — во многом на примере творчества корифея отечественной словесности Вересаев давал молодежи уроки литературного мастерства. А в 1923 году опубликовал свою первую специальную работу о нем — "К психологии пушкинского творчества".

Однако, внимательно знакомясь с жизнью и творчеством поэта, Вересаев начинает сомневаться в своей исходной посылке и вслед за Ив. Аксаковым и Вл. Соловьевым приходит к выводу, что Пушкин, как часто бывает в искусстве, — "двупланный" художник: "В жизни — суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до безумия ослепленный страстью. В поэзии — серьезный, несравненно мудрый и ослепительно светлый — "весь выше мира и страстей". В повседневном быту Пушкин не был олицетворением "живой жизни", зато в творчестве он достигал "вершины благородства, целомудрия и ясности духа" ("В двух планах") — "несравненная красота подлинной живой жизни так и хлещет из поэзии Пушкина" ("За то, что живой").

Результатом этих размышлений стал цикл заметок о Пушкине под общим названием "Поэт", написанный в 1924 году. В этом цикле из десяти зарисовок Вересаев впервые столь решительно заговорил о поразившей его "двупланности" художника, составляющей "величайшую загадку" творчества: зачастую художнический и жизненный облик писателя сильно отличаются, его поведение в жизни может очень мало соответствовать тому, что он утверждает в своих произведениях. Весь цикл и построен на этой идее — приводится какое-нибудь стихотворение Пушкина и рассказывается, при каких обстоятельствах оно создано, как во многом не похожи были ощущения поэта в жизни и в стихах.

Эта идея все больше увлекала Вересаева. Ей он посвятил доклад в Российской академии художеств, сделанный в том же 1924 году. Так постепенно вызревал наделавший столько шума "Пушкин в жизни".

Вересаев понимал, что подобная трактовка пушкинского образа скорее всего будет встречена с раздражением литературоведами, столь склонными отождествлять творческий и житейский облик художника. Советовался с М. Горьким в одном из писем 1925 года: "Черт возьми, — по-моему, именно с дрянными своими недостатками и смешными пороками крупный человек и интересен, — интересен именно этой завлекательной сложностью. Я вот сейчас много работаю над Пушкиным, просмотрел и собрал, можно сказать, почти все, что о нем написано воспоминателями (меня как раз интересует он как живой человек, — и взаимоотношение в нем поэта и человека), — и как раздражает это стремление прихорашивать его и завивать a la Моцарт — "гуляка праздный": да, часто ничтожен, пошл, даже гадок, — и все-таки именно при всем том и через все это, — очаровательно-прекрасен".

Вересаев вовсе не считал, что в жизни Пушкин был ничтожен, а в творчестве — велик, как утверждали порой суровые критики его концепции. Это было бы слишком плоско да и просто нелепо: с каких же тогда "мистических высот" "спускалось на поэта озарение"? Он не был ничтожен, он был противоречив, как все живые люди, — "под поверхностным слоем густого мусора в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи", а потому душа его постоянно вырывалась "из темной обыденности", сияя "ослепительным светом". В повседневном быту он бывал разным — и ничтожным, и прекрасным. А вот в творчестве был чист и велик всегда.

Кровопролитные события революции и гражданской войны с трагической наглядностью показали, сколь несовершенен еще человек и совсем пока не готов к созданию общества по законам "живой жизни". Образ Пушкина потому и увлек Вересаева, что воочию убеждал, как на высотах творчества меркнет в людях все мелкое, ничтожное и побеждает "живая жизнь". Получается, путь к ней — через торжество духа, убивающее низменное в человеке.

Вокруг "Пушкина в жизни" разразилась прямо-таки буря. Оставим в стороне ту часть критических нападок, сильно отдающих политическим доносом, авторы которых уверяли, что книга Вересаева — "продукт окончательного разложения буржуазной исторической беллетристики, пытающейся прикрыть свое идеологическое убожество беспредметным формальным оригинальничанием". Сочинители подобных обвинений выполняли негласный заказ все более ужесточавшейся государственной системы: от искусства требовали

черно-белых схем, а не объемных человеческих характеров да и в историчекой науке принялись однозначно разделять деятелей прошлых времен на героев и злодеев. "Живой" Пушкин явно не вписывался в подобные идеологические стандарты. Тем не менее Вересаев был убежден, что "совсем нет надобности скрывать темные и отталкивающие стороны в характере и поступках Пушкина": "художник, рисуя прекраснейшее лицо, не боится самых глубоких теней, — от них только выпуклее и жизненнее станет портрет" (авторское предисловие к третьему изданию "Пушкина в жизни").

Однако жарко обсуждали книгу Вересаева и люди, искренне любящие литературу и вовсе не стремящиеся навешивать ярлыки. Как когда-то после выхода "Записок врача" в разгоревшемся споре медики обрушились на публицистическую повесть Вересаева, а широкий читатель стал на ее защиту, так и теперь большинство пушкинистов возмутились "литературным монтажом" Вересаева, читатели же, пресса — не специально литературная, а общего профиля — обычно встречали книгу с восторгом. Мнения были поистине крайние. "Субъективная затея" Вересаева, отличающаяся "критической беспомощностью и решительным отсутствием какого-либо методологического подхода", способна лишь "измельчить, даже принизить образ Пушкина — на радость и смакование обывателю", — заявляли одни. Их и слушать не хотели другие: "усердные пушкинисты", "старательные археологи могиломаны" "своими "академическими" комментариями" "отлучают от Пушкина", превращая его в "музейную ценность, которую охраняют, но не читают"; а вот в книге Вересаева "живой Пушкин встает перед читателем в ореоле легенд, окруженный пламенной любовью друзей и тяжелою злобой врагов", "часто противоречивый, но неизменно обаятельный"; эта "чудесная книга" "представляет высокую культурную и общественную ценность", она встречена "с громадным сочувствием обширной читательской аудиторией".

Можно понять пушкинистов. Книга, в подзаголовке которой значилось "Систематический свод подлинных свидетельств современников", воспринималась специалистами как научное исследование, опирающееся на документы и исторические факты. И с этой точки зрения в работе Вересаева виделось немало явных слабостей: ряд свидетельств современников о Пушкине ненадежен, а исследовательский анализ попросту отсутствует, автором сделан лишь монтаж отрывков из воспоминаний, строк из писем и других документов эпохи. Словом, как научный труд книга действительно весьма уязвима.

Но ведь Вересаев в данном случае и не претендовал на создание научной биографии великого поэта, что специально отметил в пре-

дисловии. Он смотрел на Пушкина как художник и не стремился анализировать его творчество, а старался дать представление о повседневной жизни поэта, пытался воспроизвести его характер, образ — как это и полагается, скажем, в романе. Только вот роман вышел необычный по форме. Однако Вересаеву казалось, что монтаж свидетельств современников дает яркое представление о "живом Пушкине, во всех сменах его настроений, во всех противоречиях сложного его характера, во всех мелочах его быта...". Причем сам автор монтажа подчеркивал в предисловии, что "многие сведения, приводимые в этой книге, конечно, недостоверны и носят все признаки слухов, сплетен, легенды. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни — он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются, теми слухами и сплетнями, к которым он подает повод... критическое отсеивание материала противоречило бы самой задаче этой книги".

Отвергая "лишь явно выдуманное", Вересаев писал не монографию о Пушкине, а своеобразное художественное произведение, воссоздающее "пушкинскую легенду", смесь фактов и рожденных современниками вымыслов, из которой возникает образ "невыразимо привлекательного и чарующего человека". Причем авторская концепция недвусмысленно выявлялась в подборе цитат и фактов, их композиции. Это, так сказать, вересаевский Пушкин, одна из возможных версий, как выдвинул свою версию Моцарта и Сальери сам Пушкин в его знаменитой "маленькой трагедии", как предлагал свою версию Кутузова и Наполеона Л. Толстой, а Булгаков — Мольера. Современный драматург Штейн так и назвал свою пьесу о Блоке — "Версия". Трудно оспаривать право художника на собственное отношение к изображаемому, даже если изображается крупная историческая фигура.

Право на свой взгляд вовсе не означает, конечно, что автор романа или пьесы свободен от обязанности тщательно изучить биографию и деяния своего героя. Вересаев был убежден, что художник, взявшийся за историческое повествование, не должен вольно обращаться с фактами, пренебрегая ими или переиначивая их. Именно с таких позиций он не принял в 1927 году фильм о Пушкине "Поэт и царь". Как раз этот мотив был главным и в разногласиях между Вересаевым и Булгаковым, когда в 30-х годах они сообща работали над пьесой о Пушкине. Булгаков считал, что драматург вправе отступить от точности факта во имя более высокой правды — правды художественной, правды образа. Вересаев с этим не соглашался и полагал, что художник может домысливать только в том случае, если фактов не хватает.

Вересаева меньше всего можно заподозрить в поверхностном знакомстве с жизненным и творческим путем Пушкина. Со свойст-

венной ему редкой добросовестностью он самым внимательным образом освоил все известное о великом поэте. Свидетельством детального изучения им пушкинского наследия может служить такой, к примеру, выразительный факт. В середине 20-х годов Вересаев посещал кружок любителей Пушкина, в который входили крупные литературоведы Цявловский, Гроссман, писатель Новиков, известные артисты Художественного театра Леонидов, Лужский. Вересаев вспоминал, с какой тщательностью они изучали пушкинское наследие: "Через каждые две недели мы собирались и — читали "Евгения Онегина". В течение двух лет мы успели прочесть всего три главы. "Меж ними все рождало споры..." Тип Онегина. Меняющееся отношение к нему автора по мере развития романа. Значение эпиграфов над главами. Вообще роль эпиграфов у Пушкина, так отличающаяся от роли эпиграфов, например, у Вальтера Скотта или Стендаля. Выброшенные Пушкиным строфы. Всевозможные мелочи, на которые мы наталкивались при чтении... Иногда на обсуждение одной строфы уходил целый вечер". В архиве писателя сохранились многие страницы набросков, озаглавленных "Над Пушкиным", — по ним видно, как поистине скрупулезно изучал Вересаев каждую пушкинскую строчку. Но даже в этой, казалось бы, литературоведческой работе Вересаев смотрел на Пушкина глазами художника, сочетая знание с интуицией, объективный взгляд с глубоким личным отношением. А уж в книге "Пушкин в жизни" этот художнический подход к материалу был основным, хотя по внешнему впечатлению она больше похожа на научный труд.

Непривычный жанр книги и смутил исследователей, оценивших ее как факт науки, а не писательского творчества. Читатели же, не вдававшиеся в тонкости жанровых особенностей, интуитивно восприняли книгу, по словам одного из рецензентов, именно как "увлекательнейшее художественное произведение".

Предложенный Вересаевым своеобразный жанр монтажа документов и фактов сегодня уже узаконен в литературе, — в таком ключе теперь пишут часто, достаточно вспомнить, скажем, многое у Солженицына, — а тогда это был новаторский шаг, но для Вересаева вполне органичный. Он всегда тяготел к документально точному изображению жизни, к использованию реальных фактов, свидетелем которых был сам или о которых слышал от близких ему людей. Для его произведений характерно органическое сочетание сильно выраженного личного начала с поистине философским взглядом на жизнь при документальном или почти документальном ее изображении. Все усиливавшаяся с годами склонность к краткости и документальности, неприятие, по его выражению, словесной "известки" и привели Вересаева к мысли, что нет ничего выразительнее

и убедительнее фактов, документов, живых свидетельств. По принципу монтажа фактов, цитат, отдельных мыслей построен не только "Пушкин в жизни", а затем и "Гоголь в жизни" (1933), но и начатый в 20-е годы цикл "Записей для себя" — итог многолетних размышлений писателя о природе человека, о любви, смерти, об искусстве.

Стремясь объяснить свой взгляд на Пушкина, который, как казалось Вересаеву, во многом был не понят литературоведами по прочтении ими его книги, он сразу после ее выхода в свет пишет сугубо научную статью "В двух планах" (1928), где уже не с помощью композиции из свидетельств современников, а собственным авторским словом развивает идею "двупланности", свойственную многим художникам и Пушкину в частности. Вскоре издает сборник своих статей с тем же характерным названием "В двух планах". Однако и серия статей не успокоила критиков.

Вересаев тем временем продолжал тщательное изучение жизни и творчества Пушкина. Им было написано немало чисто исследовательских работ, посвященных творческому методу поэта, неясным деталям его биографии, расшифровке скрытого смысла отдельных стихов (помимо ряда статей упоминавшегося сборника "В двух планах" к этой группе относятся и статьи цикла "Около Пушкина", полемическая заметка "О Нине Воронской"). Но при этом он не переставал быть художником, склонным читать между строк, доверять интуиции и творческой фантазии, когда недостает точных фактов для строгого анализа того или иного вопроса. На подобное сочетание исследовательского подхода с художнической интуицией опирался он, уточняя отношения Пушкина и Вяземской ("Пушкин и княгиня Вяземская"), высказывая догадку об одном из увлечений поэта ("Крепостной роман Пушкина"), предлагая свою трактовку финальной сцены Онегина и Татьяны ("Но я другому отдана" — этот опубликованный в 1937 году этюд вошел впоследствии в книгу "Александр Сергеевич Пушкин", помещенную в настоящем издании). А новое прочтение "Каменного гостя" ("Второклассный Дон-Жуан") и "Моцарта и Сальери" ("Литературные записи. Моцарт и Сальери") вообще дано как своего рода режиссерское видение пушкинских "маленьких трагедий".

В 30-е годы Вересаев сделал попытку создать и чисто художественное произведение о Пушкине в традиционном жанре: он принял предложение Булгакова, с которым они, несмотря на большую разницу в возрасте, очень дружили, написать в соавторстве пьесу о великом поэте. Вересаев брал на себя "разработку исторических материалов для пьесы". Булгаков — "драматическую часть". Около года они сообща работали над пьесой, однако разошлись в трактовке изображавшихся событий и персонажей. В итоге Вересаев снял

свою фамилию с титульного листа пьесы, что не помешало писателям сохранить дружеские отношения. Пьеса Булгакова "Пушкин" ("Последние дни") была поставлена на сцене МХАТа позже, в 1943 году.

Общественная атмосфера в стране становилась все более мрачной. Когда же после выхода в 1933 году романа Вересаева "Сестры" критика, не стесняясь в выражениях, выдвинула против автора политические обвинения в клевете на советскую действительность, а сам роман по указанию свыше был изъят и из продажи, и из библиотек, Вересаев принял мужественное, но и, конечно, трагическое для любого серьезного писателя решение — уйти из литературы.

Вересаев представляет ту когорту русских писателей, отношение которых к литературе лучше всего характеризуется несколько старомодным словом "служение", — вызывающий бесконечное уважение тип художника, превыше всего ставившего честное служение искусству и обществу. "Лжи не будет, — я научился *не жалеть* себя" — эта дневниковая запись стала одним из его главных литературных заветов.

Замолчал Вересаев не из страха, а просто понимал, что понастоящему честное слово света не увидит. В дневнике он записал: "Эх, правда, правда, — главный и любимый герой Льва Толстого, — выгнали тебя вон из русской литературы... Я прочною стеною отгорожен от читателя. Выход только один — честно молчать". После "Сестер" Вересаев действительно по сути оставил художественную литературу, хотя прожил еще двенадцать лет и был полон творческих сил. Он много переводил древнегреческих поэтов, писал воспоминания, все созданные в эти годы очерки и рассказы тоже носят мемуарный характер. И — занимался Пушкиным, жадно глотая свежий воздух "живой жизни" в его творчестве. Но и этот "уход из литературы" отнюдь не означал конформистского отказа от собственной позиции, порой весьма заметно противостоящей господствующему мнению. Работы Вересаева о Пушкине — одно из убедительных тому доказательств.

Вересаев всегда, не страшась, ломал каноны и мертвые традиции. Так было, когда он, врач по профессии, под свист и улюлюканье высказался весьма непривычно о той стороне деятельности медиков, которую его коллеги относили к области профессиональных тайн ("Записки врача"). Так было и когда он, по сути, первым взялся в обстоятельной форме романа разобраться в трагических противоречиях русской революции ("В тупике"). Или, например, стоило ему всерьез заняться переводами — как родилась мысль о полезности нетрадиционного подхода к этой работе: взявшись за

произведение, ранее уже переводившееся, переводчику не следует стараться сделать все по-своему, пусть даже хуже, чем у предшественников; наоборот — новый перевод должен включать все лучшее, что было сделано раньше; коллективное сотрудничество правомерно не только, так сказать, в пространстве, но "и во времени, между всею цепью следующих один за другим переводчиков" ("Записи для себя").

Точно так же новаторски поступал Вересаев и в своих трудах о Пушкине. Это проявилось не только в создании нового литературного жанра, образцом которого стал "Пушкин в жизни", но и в анализе многих пушкинских произведений. Он предложил, например, неожиданное прочтение "Моцарта и Сальери". В противовес обычной в театрах трактовке Сальери как "мелкого негодяя, из зависти убившего великого гения" Вересаев увидел в нем истинно трагическую фигуру. Сальери не завидует Моцарту, он просто не может творить, если не будет "чувствовать себя орлом, способным подняться выше облаков, сознавать себя великим талантом, гением". Моцарт самим фактом своего существования мешает этому ощущению, так как создает свои шедевры легко, шутя и даже ерничая, тогда как Сальери добивается всего подвижническим служением искусству. Не иметь возможности творить для него означает не жить, ибо вся его жизнь — только в искусстве. Но, отравив Моцарта, он все равно не сможет ощущать себя гением, потому что "гений и злодейство — две вещи несовместные". Таково в данном случае, по Вересаеву, истинно трагическое возмездие.

Большинство работ Вересаева о Пушкине при всей зачастую нетрадиционности обращено тем не менее к широкому читателю, а не к специалисту. Но и тут он шел непроторенными путями. Стремясь выяснить мнение массового читателя о Пушкине, организовал в преддверии столетия со дня смерти поэта масштабное социологическое исследование. 6 июня 1936 года в газете "Известия" он обратился к читателям с просьбой ответить на вопрос: "Чем вам дорог Пушкин?" ("За то, что живой"). В ответ пришло около 500 писем, названных Вересаевым "волной нежной, совершенно исключительной любви к Пушкину". С их анализом писатель выступил в тех же "Известиях" ("Чем дорог Пушкин советскому читателю"), а также использовал их в жаркой дискуссии, которая развернулась вокруг творчества Пушкина в связи со столетием гибели поэта и в которой Вересаев принял самое активное участие.

И в спорах этих он опять-таки пошел против течения, опровергая попытки сделать из Пушкина чуть ли не духовного отца произошедшей революции. Полемически поставив вопрос: "За что собираемся мы чествовать Пушкина?", Вересаев решительно обрушился на по-

пулярный тогда социологизаторский подход к оценке роли поэта в духовной жизни общества: "Так широко распространенная у нас недавно "классовая" трактовка Пушкина, невероятное упрощение его творчества путем якобы "социологического" его обоснования встречает единодушный протест читателей" ("Чем дорог Пушкин советскому читателю"). Одни "охотно гримируют Пушкина под ярого революционера, чуть не коммуниста, предтечу Октября. Нужно ли доказывать, что настоящим революционером Пушкин никогда не был?" Другие видят главное достоинство Пушкина в изобличении крепостной России и, предлагая "социологический анализ", уверяют, что "Пушкин в своем творчестве отображает, — правда, со специфически-дворянской точки зрения, — процесс движения русской жизни от средневековья к новому буржуазному обществу. Вот этим-то он так нам и дорог", — иронизирует Вересаев, справедливо видя в подобных взглядах крайнее обеднение и искажение творческого облика великого поэта. "Тут опять — либо та же безмерная фальшь, либо столь же безмерная вульгаризация социологического метода, граничащая с пародией" ("В защиту Пушкина").

И совсем в духе сегодняшних представлений о приоритете эстетических ценностей Вересаев утверждает: "Революционные стихи Пушкина в свое время сыграли огромную роль в подготовке декабрьского движения. Из разработанной мною анкеты, проведенной в прошлом году газетой "Известия", видно, что такие стихи Пушкина, как "Деревня", "К Чаадаеву", "Послание в Сибирь", и в настоящее время действуют на читателя революционизирующим образом. Но главное дело не в отдельных стихотворениях. Дело в той неиссякаемой мятежности, в той бунтарской стихии, которыми насквозь проникнуто все творчество Пушкина... Красота подлинной, живой жизни так и хлещет из поэзии Пушкина. Существо этой поэзии в изумительном претворении жизни, как таковой, в красоту, полную глубокой и серьезной значительности... Этою светлою любовью к жизни, умеющею преодолевать все ее "горести, заботы и треволнения", Пушкин самым близким образом соприкасается с нашею современностью" ("Пушкин в наше время").

В 30-е годы Вересаев становится во главе образованной тогда Пушкинской комиссии Союза советских писателей, председателем которой он оставался до последних дней своей жизни. Вел он большую организаторскую работу по пропаганде творчества Пушкина и в составе всесоюзного комитета, созданного в связи со столетием со дня смерти поэта. Все больше погружаясь в "пушкиниану", тщательно изучая ее материалы, Вересаев тем не менее продолжал стремиться говорить о Пушкине с самым широким читателем. В 1934 году он издает своего рода "дополнение" к "Пушкину

в жизни" — книгу "Спутники Пушкина", задачу которой определил в предисловии так: "Дать бытовые литературные портреты лиц, с которыми соприкасался в жизни Пушкин, иначе сказать — окружить Пушкина живыми людьми". В 1936—1937 годах девятью изданиями в семи городах страны вышла популярно написанная Вересаевым "Жизнь Пушкина" (в 1945 году, вскоре после смерти писателя, она была издана еще раз под другим названием — "Александр Сергеевич Пушкин").

Пушкинским мотивам посвящен также целый ряд зарисовок в циклах "Невыдуманные рассказы о прошлом" и "Записи для себя", создававшихся преимущественно в 30-е годы. А когда началась Великая Отечественная война, Вересаев выступает перед военнослужащими и студентами с лекцией "Пушкин — патриот", в своей антифашистской публицистике широко обращается к патриотическим стихам великого поэта ("Пушкин о борьбе за родину"; эти заметки были использованы в статье "Александр Сергеевич Пушкин", помещенной в настоящем издании).

В книге "Пушкин в жизни" акцент делался на жизни поэта. В статьях, очерках, зарисовках основное внимание сосредоточено на его творчестве. А монография "Александр Сергеевич Пушкин (Жизнь Пушкина)" выглядит своего рода авторской трактовкой "Пушкина в жизни". Названия глав обеих книг перекликаются, порой просто дословно совпадают. Монография представляет собой изложение мыслей самого Вересаева о ярчайшей фигуре российской словесности на основе фактов, документов, свидетельств современников, составляющих содержание его столь нашумевшего "литературного монтажа". Да и в целом публицистические и литературоведческие работы Вересаева о Пушкине являются органической частью вересаевской "пушкинианы", без которой и ее самая знаменитая часть — "Пушкин в жизни" не может быть до конца понята и оценена.

Вересаев неизменно твердо отстаивал идею "двупланности" ряда художников, в том числе Пушкина, но со временем отказался от некоторых крайностей в ее истолковании, стремясь яснее обозначить несомненно существующую во всех случаях связь между жизнью художника и его творчеством при всей возможной иногда рассогласованности. Кстати, с годами пересмотрел Вересаев и отдельные свои трактовки произведений поэта. Например, широко известное стихотворение "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." он оценил в 20-е годы как пародию на "Памятник" Державина ("Пушкин и польза искусства"), а позже посмотрел на это стихотворение иначе, увидев в нем страстные гражданские мотивы (монография "Александр Сергеевич Пушкин").

В трудах Вересаева о Пушкине кое-что и сегодня кажется спорным (скажем, высказанная в статье "В защиту Пушкина" сдержанная оценка "Дубровского" как "слабого в художественном отношении" произведения), порой ощущается и явная дань времени (например, несколько прямолинейное в ряде случаев истолкование классовости в искусстве), но все эти частности перекрываются той глубиной и свежестью анализа пушкинского наследия, в основе которого незаурядный литературный талант Вересаева и его горячая любовь к "солнцу русской поэзии". 16 мая 1924 года, отвечая на анкету московского журнала "Всемирная иллюстрация", Вересаев писал: "Сохранилось ли значение Пушкина для наших дней, каково это значение? Для меня вопрос этот звучит так же, как если бы люди, сидя в полутемной, душной и накуренной комнате, стали спрашивать: сохранили ли значение и до наших дней блеск солнца, степной ветер, песня жаворонка, аромат ландышей? Могу только глубоко жалеть тех, для кого тут есть вопрос".

Однако Пушкин был, по мнению Вересаева, не только величайшим и ослепительно солнечным поэтом России, но и "одним из самых загадочных явлений русской литературы". "Он куда труднее понимаем, куда сложнее, чем даже Толстой, Достоевский или Гоголь", — писал Вересаев в своем предисловии к первому изданию "Пушкина в жизни". И многие годы, десятилетия старался разгадать загадку Пушкина. Как ему удается вроде бы совсем простыми словами, без каких-либо поэтических изысков достигать потрясающей силы воздействия на умы и сердца людей? Как совмещаются в нем два порой очень непохожих плана — житейский и художнический, — и накипь мутных страстей, временами захватывающих его, оборачивается в итоге чистейшим дивом поэзии? Ответам Вересаева на эти вопросы и посвящена книга, которую вы держите в руках.

Говорят, что Пушкин бывает особенно близок людям зрелого возраста. К Вересаеву это увлечение тоже пришло довольно поздно, когда ему перевалило за пятьдесят. Но уже до конца его дней Пушкин неизменно оставался с ним и как высший образец литературного мастера, и как мудрейший художник, и как человек, умевший при всей своей житейской противоречивости подниматься в творчестве до высот "живой жизни" — радостной, доброй, очищающей, — яркий пример преодоления скверны повседневности всесокрушающей силой духа.

Ю. Фохт-Бабушкин

II





АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ПУШКИН
(ЖИЗНЬ ПУШКИНА)

∾

Родился в 1799 году,
26 мая по старому стилю,
6 июня по новому.
Умер в 1837 году,
29 января по старому стилю,
10 февраля по новому.

Дома

По одной из московских улиц, летом, шла дама и с нею — толстый, неповоротливый и молчаливый мальчик. Увалень раздражал мать — так шел он медленно и лениво. Она потеряла терпение, оставила мальчика и пошла вперед. Мальчик преспокойно уселся отдыхать среди улицы. Из раскрытых окон смотрели на него и смеялись. Это задело его. Он сердито сказал:

— Ну, нечего скалить зубы!

Медленно встал и пошел.

Этот мальчик был Саша Пушкин — будущий великий наш поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Отец его, Сергей Львович, происходил из старинного дворянского рода, насчитывавшего шестисотлетнюю давность. Пушкин всю жизнь гордился своим "шестисотлетним дворянством".

Сергей Львович был помещик, и помещик богатый: имел более тысячи десятин в Псковской губернии и около семи тысяч десятин в губернии Нижегородской; во владении его находилось более тысячи "душ" крепостных крестьян. Однако Сергей Львович постоянно нуждался. Он не любил сам заниматься хозяйством, поместьями безотчетно управляли приказчики. Они обирали барина и крестьян. Однажды крестьяне, доведенные притеснениями приказчика до отчаяния, послали к Сергею Львовичу ходоков с жалобой на приказчика. Сергей Львович пришел в великое негодование, что его обеспокоили, затопал на мужиков ногами и прогнал, не выслушав.

Ему было не до того, чтобы заниматься такими скучными вещами, как хозяйство, отчеты, жалобы, цены на продукты. Жизнь представлялась Сергею Львовичу лугом удовольствий, человек — точнее, дворянин — мотыльком, которому предназначено порхать по этому лугу и пить с цветочков сладкий сок. Так он и проводил жизнь — в полнейшей праздности, ища одних удовольствий. Он был изысканно любезен на старинный фран-

цузский манер, отличался в каламбурах и острых ответах, был желанным гостем во всех московских гостиных. Мастерски устраивал праздники и домашние театры, прекрасно сам играл на сцене и декламировал. Очень легко писал стишки — и по-французски и по-русски. Интересовался литературой, владел богатой библиотекой, преимущественно из французских книг, был лично знаком с лучшими писателями того времени — Карамзиным, Дмитриевым, Батюшковым, Жуковским, Вяземским. Родной брат его, Василий Львович, по образу жизни совершенно схожий с ним, сам был известный в свое время поэт.

До детей своих Сергею Львовичу было так же мало дела, как и до хозяйства. Он был сухой эгоист, но любил изображать из себя любящего отца. Вообще был он глубоко фальшив и всегда играл какую-нибудь роль. Никогда не проявлял своих чувств так, как их переживал. Имел наклонность к чувствительности, был очень слезлив. Можно думать, что напыщенная фальшивость отца сыграла, по контрасту, свою роль в выработке у Пушкина большой простоты и естественности в выражении чувств.

Жена Сергея Львовича, Надежда Осиповна, была внучкой "арапа Петра Великого", Абрама Петровича Ганнибала. Ганнибал был сын абиссинского владетельного князька, попал заложником в Константинополь, а оттуда привезен русским посланником в Россию. Император Петр I дал ему военное образование. Умер Ганнибал в глубокой старости в звании генерал-аншефа. В наружности Пушкина сохранилось много черт его прадеда: круто вьющиеся волосы, смуглое лицо, несколько толстые губы.

Надежда Осиповна была совсем под стать своему мужу: так же любила светские удовольствия, питала такое же отвращение к труду, домашним хозяйством не занималась. Была она властна и взбалмошна. Муж находился у нее под башмаком. С детьми обращалась деспотически. Было их трое: старшая — дочь Ольга, на два года старше Александра, потом Александр и младший — Лев, на шесть лет моложе.

Льва мать очень любила, а к старшим детям, особенно к Александру, относилась холодно. Рассердившись, дулась на него и не разговаривала неделями и месяцами. Подвергала унизительным наказаниям. У Александра была привычка тереть ладони одну о другую; чтобы отучить его от этого, мать на целый день завязала ему руки назад и проморила голодом. Мальчик часто терял носовые платки; мать пришила ему носовой платок к курточке в виде аксельбанта и заставляла так выходить даже к гостям.

Материнской ласки Пушкин никогда не видел.

Надежду Осиповну очень сердила неповоротливость мальчика, его тучность, робость и отвращение к движению. Она заставляла его бегать и играть со сверстниками. Когда мальчику становилось невмоготу, он убегал в комнату бабушки, Марии Алексеевны Ганнибал, залезал в ее корзину и долго смотрел на ее работу. В этом убежище его никто уже не трогал. Бабушка относилась к ребенку ласково, и, кажется, он ее любил. В стихотворении "Сон" Пушкин вспоминает, как над детской его кроваткой бабушка рассказывала ему сказки:

Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец
И длинный рот, где зуба два стучало:
Все в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал, и тихо, наконец,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

Настоящую любовь, ласку и заботу давала мальчику его няня Арина Родионовна. К ней Пушкин горячо был привязан до самой ее смерти.

К семи годам Пушкин из толстого и молчаливого увальня превратился в бойкого, говорливого шалуна. Теперь еще больше стало сказываться его африканское по матери происхождение: движенья были быстрые, глаза живые, из них как будто так и сыпались искры. Характер был пылкий, с быстро меня-

ющимися настроениями. Бабушка Мария Алексеевна говаривала с огорчением:

— Не знаю, что выйдет из моего старшего внука... То его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится.

Мальчик был остроумный и озорной. Однажды знакомый Пушкиных, поэт Иван Иванович Дмитриев, министр в отставке, сказал:

— Посмотрите на него: настоящий арапчик.

Пушкин засмеялся, взглянул на рябое лицо Дмитриева и ответил:

— По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик.

В доме жили гувернеры-французы и гувернантки. Они постоянно сменялись. Воспитание детей мало заключало в себе русского. Домашним языком, как вообще в тогдашних дворянских семьях, был язык французский, и Пушкин с детства говорил по-французски лучше, нежели по-русски. Учился он плохо и лениво. Заливался слезами над четырьмя правилами арифметики — ее он вообще плохо понимал. Особенно деление стоило ему многих слез и трудов.

Лет с девяти мальчик сильно пристрастился к чтению. Он тайком забирался в библиотеку отца и читал целые часы напролет. Библиотека состояла преимущественно из книг французских писателей семнадцатого и восемнадцатого веков. Эти книги близко ознакомили мальчика с французской литературой, выработали у него тот прекрасный французский слог, которому впоследствии не могли надивиться в его письмах природные французы. С восьми уже лет Пушкин начал писать стихи — по-французски. Писал эпиграммы на своих учителей, написал поэму "Толиада". Он очень любил Мольера и, подражая ему, сочинил комедию "Похититель". Для этой комедии мальчик устроил в детской сцену, сам, один за всех, играл действующих лиц, а зрительницею была старшая сестра Ольга. Ольге пьеса не понравилась, чувствовалось рабское подражание Мольеру. Она освистала комедию. По этому случаю Пушкин написал на себя эпиграмму, тоже по-французски. Смысл ее следующий:

За что, скажи мне, "Похититель"
Был встречен шиканьем партера?
Увы! За то, что сочинитель
Его похитил у Мольера!

В лицее

В 1811 году в Царском Селе под Петербургом (ныне город Пушкин) открылось новое учебное заведение — лицей. Император Александр I отвел для лицея огромный четырехэтажный флигель своего большого дворца; приглашены были лучшие преподаватели. Лицей был учрежден исключительно для юношества "благородного происхождения, особенно предназначенного к важным частям службы государственной". Поступая в лицей в очень юном возрасте (10—12 лет), ученики должны были расти и развиваться исключительно в атмосфере учебного заведения: домой их не отпускали вовсе, даже на каникулы.

По протекции сановных друзей отца Пушкин был принят в лицей. Мальчик надолго покидал родной дом, но уезжал он без всякого сожаления; расстаться было ему жалко только с сестрой Ольгой.

19 октября произошло торжественное открытие лицея в присутствии императора и всей царской семьи. Отслужена была обедня с молебном, потом открылось заседание. Директор департамента народного просвещения огласил манифест об учреждении лицея. Потом выступил директор лицея В. Ф. Малиновский. Бледный, совершенно растерявшийся перед высокими гостями, он начал что-то читать по бумажке, читал очень долго, но голос его звучал так слабо и прерывисто, что никто ничего не слышал. В задних рядах слушатели перешептывались, в передних клевали носами. Оратор наконец кончил, поклонился и, еле живой, воротился на место.

Смело, бодро выступил молодой профессор политических наук А. П. Куницын, только что возвратившийся из-за границы. Без всякой бумажки он стал говорить об обязанностях гражданина и воина.

Публика, увидав нового оратора, сначала испугалась и с грустью стала вооружаться терпением. Но чистый, звучный голос оратора внятно раздавался в обширном зале, речь его все больше захватывала слушателей, никто не дремал и не перешептывался.

Всех, между прочим, поразило, что Куницын ни разу не упомянул в своей речи об императоре, не восхвалял его кстати и некстати, как обычно делалось в торжественных речах. Тогда еще либеральному Александру I понравилось такое отсутствие холопства, и он на следующий день прислал Куницыну Владимирский крест — крупный орден.

Началась школьная жизнь.

Через год вот какие официальные характеристики давали мальчику Пушкину преподаватели и надзиратели: "Имеет более блистательные, нежели основательные дарования, более пылкий и тонкий, нежели глубокий ум. Прилежание его к учению посредственно. В характере его вообще мало постоянства и твердости..." "Весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне неприлежен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень невелики, особливо по части логики..." "Имеет остроту, но, к сожалению, только для пустословия, успевает весьма посредственно..."

Пушкин держался с начальством независимо и вызывающе. Вот, например, безграмотное донесение надзирателя Ильи Пилецкого о поведении Пушкина всего только за один ноябрь 1812 года:

"Пушкин 6-го числа в суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что я логики, право, не понимаю, да и многие даже лучшие меня оной не знают, потому что логические силлогизмы весьма для него невнятны. 16-го числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым на щот 4 департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторить не хотел, при увещании же сделал слабое признание, а раскаяния невидно было. 18-го толкал Пущина и Мясоедова, повторяя им слова: что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертеться умею. В классе рисовальном называл г. Горчакова вольной польской дамой. 23-го, когда я у г. Дельвига в классе г. профессора Гауэншильда отнимал бранное на г. инспектора сочинение, в то время г. Пушкин с непристойною вспыльчивостью говорит мне громко: "Как вы смеете брать наши бумаги — стало быть, и письма наши из ящика будете брать?" Присутствие г. профессора, вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его. 30-го числа к вечеру г. профессору Кошанскому изъяснял какие-то дела петербургских модных французских лавок, я не слыхал сам сего разговора, только пришел в то время, когда г. Кошанский сказал ему: я повыше вас, а, право, не вздумаю такого вздора, да и вряд ли кому оный придет в голову. Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог мне его разговор повторить по скромности, как видно".

В этом же месяце Пушкин явился зачинщиком волнений, приведших к уходу из лицея инспектора Мартына Пилецкого*. Это был хитрый и бессердечный святоша, его ненавидели все

---

*Инспектор Мартын Пилецкий — брат надзирателя Ильи Пилецкого. — *Здесь и далее примеч. В. В. Вересаева.*

воспитанники. Он позволял себе оскорбительные отзывы о родителях воспитанников. 21 ноября, за обедом, Пушкин, как доносил надзиратель, "начал исчислять сделанные г. инспектором родителям некоторых товарищей обиды, а после обеда и других к составлению клеветы на г. инспектора подстрекнул".

Закипели горячие споры, многие товарищи поддержали Пушкина, говорили, что надо идти к директору Малиновскому с жалобой на Пилецкого. "Вообще, — замечает надзиратель, — г. Пушкин вел себя все следующие дни весьма смело и ветрено". Произошло объяснение учеников с директором в присутствии Пилецкого. По-видимому, беседа убедила директора в неправоте Пилецкого, и ему вскоре было предложено покинуть лицей.

Когда Пушкин был в младших классах лицея, произошло огромное историческое событие. Летом 1812 года французский император Наполеон Бонапарт во главе шестисоттысячной армии вторгся в Россию. Двухсоттысячная русская армия, руководимая мудрыми полководцами Барклаем-де-Толли, а потом Кутузовым, медленно отступала в глубь страны, уклоняясь от решительной битвы.

Битва произошла 26 августа уже в Московской губернии, при селе Бородине, с неопределенным результатом. Русская армия продолжала отступать.

В начале сентября Наполеон вступил в Москву. Но она оказалась пустою.

Войска ушли, все жители покинули столицу. Через день-другой начались пожары, и вскоре вся Москва представляла из себя одно сплошное море пламени. Через месяц Наполеон был вынужден покинуть Москву и уходить из России прежним путем, совершенно уже опустошенным, в сильнейшие морозы, под напором русской армии сзади, под ударами партизан со всех сторон. В середине декабря в России не оставалось уже ни одного вооруженного противника.

Пушкину в то время было тринадцать лет. Он глубоко и сильно переживал тот взрыв общенародного патриотизма, который был ответом на вторжение Наполеона в Россию. Много позже, уже незадолго до смерти, он писал, обращаясь к своим лицейским товарищам:

Вы помните, текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Живую, сознательную любовь к родине, которую пробудила в душе мальчика Пушкина отечественная война, он пронес нетронутою через всю свою жизнь. К смертной опасности, грозившей России, и к победному выходу из нее, к Бородинской битве, к пожару Москвы, к Кутузову, к Барклаю-де-Толли, к Наполеону Пушкин упорно возвращается мыслью в течение всей своей жизни; боль, гордость и торжествование за родину все время живут в его душе.

В 1821 году, после смерти Наполеона, Пушкин писал, обращаясь к нему:

Надменный, кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара*;
Но поздно русских разгадал...

Россия, бранная царица,
Воспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!**
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие:
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война — по гроб наш договор.

"Великодушный пожар" Москвы был для Пушкина предметом постоянной патриотической гордости. В рассказе "Рославлев" (1831) молодая девушка, княжна Полина, узнает в деревне, что Москва горит. Она с негодованием сообщает пленному французскому офицеру Синекуру, что "благородные, просвещенные французы" сожгли Москву.

"Что вы говорите, — закричал Синекур, — не может быть". — "Дождитесь ночи, — отвечала она сухо, — может быть, увидите зарево". — "Боже мой! он погиб, — сказал Синекур, — как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться... Нет, нет, — русские, русские зажгли Москву! Ужасное, варвар-

* Пушкин имеет в виду Тильзитский мир, заключенный в 1807 году между Россией и Францией.

** Австерлиц — Аустерлиц, местечко в Моравии (Чехословакия). Под Аустерлицем в 1805 году произошло сражение между русскими и австрийскими войсками и армией Наполеона. Победа осталась за Наполеоном.

ское великодушие! Теперь все решено: отечество ваше вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором!"

Синекур, взволнованный, ушел. Полина с подругой не могли опомниться.

"Неужели, — сказала Полина, — Синекур прав, и пожар Москвы дело наших рук? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу!"

Школьная наука в общем мало дала Пушкину. Впоследствии он с большой любовью вспоминал профессора А. П. Куницына, читавшего в лицее "курс нравственных и политических наук", того самого, который произнес на открытии лицея всех восхитившую речь. Это был талантливый ученый, держался он независимо, умел будить в учениках и любовь к знанию и высокие чувства. Впоследствии Пушкин вспоминал его в стихах:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

Еще Пушкин с любовью вспоминал впоследствии "о своем добром Галиче", преподававшем русскую и латинскую словесность. Это тоже был талантливый ученый. Уроки его являлись веселыми, непринужденными, чисто товарищескими беседами о литературе и искусстве. Галич озорничал вместе с учениками и вместе с ними дурачил начальство. Любил выпить. Пушкин в лицейских своих стихах изображает Галича веселым эпикурейцем, председателем их студенческих пирушек:

Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale*!
Ты Эпикуров** младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам.

* Vale *(лат.)* — будь здоров.

** Эпикур — древнегреческий философ, проповедовавший наслаждение как цель жизни.

Однако сами эти студенческие пирушки существовали больше в фантазии Пушкина. Стихи его свидетельствуют только о том, что лицеисты чувствовали в Галиче не строгого учителя, а доброго товарища, который охотно принял бы участие в их попойках, если бы они существовали. И Куницын, и Галич через несколько лет были лишены занимаемых ими в Петербурге университетских кафедр за "вольнодумство и безбожие".

Французский язык и литературу преподавал низенький старичок с толстым брюшком, в насаленном, слегка напудренном парике, Давид Иванович де Будри. Он был родной брат знаменитого деятеля французской революции Марата. Был он преподаватель дельный, умел приохотить учеников к занятиям и будить в них мысль. Будри очень уважал память своего знаменитого брата.

Остальные учителя лицея не поднимались над уровнем посредственности. Русскую литературу преподавал профессор Кошанский. Он старался приохотить учеников писать стихи. Однажды в послеобеденный свой класс Кошанский кончил лекцию раньше урочного времени и сказал:

— Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами.

Стихи у воспитанников не клеились, а Пушкин мигом прочел два четверостишия, которыми привел в восторг и Кошанского и товарищей.

Однако, воспитанный в старозаветных литературных вкусах, Кошанский не мог благотворно влиять на Пушкина: он поощрял напыщенность и ходульность, а простоту считал низкою. В стихах учеников усердно делал такие поправки: вместо "выкопав колодцы" — "взрывши кладези", вместо "площади" — "стогны", вместо "говорить" — "вещать". Пушкин относился к Кошанскому отрицательно, в стихах своих называет его "скучным проповедником", "угрюмым цензором", преподносящим "уроки учености сухой".

Математику Пушкин не любил. Преподавал ее профессор Карцев. Никого из учеников он не умел приохотить к своему предмету, тем более Пушкина. Раз вызвал он его к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцев спросил его, наконец:

— Что же вышло? Чему равняется икс?

Пушкин улыбнулся и ответил:

— Нулю.

— Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи.

Преподавание в лицее велось по плохо продуманному плану, бессистемно, с обилием ненужных наук, как вспоминал один из товарищей Пушкина: "Какой-то общий курс полугимназический и полууниверситетский, обо всем на свете".

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь...

вспоминал и сам Пушкин.

Однако общий дух, царивший в лицее, был для того времени чем-то совершенно исключительным. Достоинство воспитанников уважалось, учителя говорили им "вы" с прибавкой к фамилии слова "господин", дисциплина была не строгая, телесных наказаний совершенно не существовало: лицей был единственным учебным заведением того времени, в уставе которого стояло: "Телесные наказания запрещаются". Кормили воспитанников хорошо, помещение было роскошное, каждый ученик имел отдельную комнату. И, что так редко бывало в царских школах до самого последнего времени, воспитанники всю жизнь вспоминали лицей с любовью. С любовью не раз вспоминал лицей и Пушкин:

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Как мы видели, лицейское начальство было невысокого мнения о Пушкине: ленив, поверхностен, легкомыслен, способен только к предметам, требующим малого напряжения. Такое впечатление Пушкин и во всю свою жизнь производил на людей, мало его знавших. В действительности он уже в лицее много работал, читал и думал. В стихотворении "Городок" (1814) Пушкин перечисляет своих любимых писателей. Приходится изумляться необычайной начитанности этого пятнадцатилетнего мальчика. Вот его любимцы: Гомер, Вергилий, Гораций, Тассо, Мольер, Расин, Вольтер, Руссо, Парни; из русских: Державин, Фонвизин, Богданович, Дмитриев, Крылов, Карамзин. Мальчик прилежно изучает шестнадцать томов сочинений одного из лучших тогдашних французских критиков — Лагарпа.

... часто, признаюсь,
Над ним я время трачу.

Товарищи Пушкина по лицею все чувствовали, что он по развитию много старше их. Один из ближайших школьных друзей Пушкина, Иван Пущин, рассказывает:

"Все мы видели, что Пушкин нас опередил, много прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил. Но он и не думал высказываться и важничать, как это очень часто бывает с скороспелками. Он как будто желал доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. Случалось удивляться переходам в нем; видишь его, бывало, поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в припадок бешенства за то, что другой перебежал его или одним ударом уронил все кегли".

Шалун он был ужасный. Остроумный, задиристый, непоседливый, "егоза", как сам он себя назвал. Во французском стихотворении "Мой портрет" Пушкин писал о себе: "Не бывало пустомели несносней и крикливей моей особы... Сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом, много, слишком много ветрености — вот вам Пушкин". Остроумные его выходки долго передавались впоследствии от одного лицейского поколения к другому. Рассказывали, например, что однажды император Александр, обходя классы, спросил учеников:

— Кто у вас первый?

Пушкин поднялся и бойко ответил:

— Здесь нет первых, ваше величество, все — вторые.

Очень распространен был рассказ, как однажды учитель задал ученикам написать стихотворение, описывающее восход солнца. Ученик Мясоедов, отличавшийся исключительной глупостью, написал один стих:

Блеснул на западе румяный царь природы...

Дальше ничего не мог придумать. Попросил Пушкина помочь. Тот моментально докончил:

И изумленные народы
Не знают, что начать:
Ложиться спать или вставать.

(Некоторые окончание стихотворения приписывают не Пушкину, а его классному товарищу Илличевскому.)

Нередко случалось, что острыми своими шутками Пушкин больно задирал того или иного товарища; случалось, что тот давал ему соответственный отпор. Как часто бывало с Пушкиным и впоследствии, такой ответный удар был для него совершенно неожидан, и он от него сильно страдал. По ночам плакал, делился своими огорчениями с товарищем, Иваном Пущиным; они вместе обсуждали, как ему вперед держаться более тактично.

Так же, как в раннем детстве, был он очень изменчив в своих настроениях, каждую минуту был другой. Впоследствии он сам вспоминал:

...порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив.

Некоторые товарищи не любили Пушкина за его шутки, но было у него много и друзей. Пушкин вообще был большим "мастером" дружбы. Он умел крепко любить друзей, и они его любили крепко.

Близким другом был Иван Пущин — веселый и жизнерадостный, с благородною душою, прекрасный товарищ, всеми любимый. Однажды он, Пушкин и с ними еще третий лицеист, Малиновский, попались в истории, вызвавшей в лицее большой шум. Компания воспитанников, в том числе и они трое, задумала устроить тайную пирушку. Достали бутылку рому, яиц, натолкли сахару, принесли кипящий самовар, приготовили напиток "гогель-могель" и стали его распивать. Одного из товарищей сильно разобрало от рома, он стал шуметь, громко разговаривать; это обратило внимание дежурного гувернера, и он доложил инспектору Фролову. Начались спросы, розыски. Пушкин, Пущин и Малиновский объявили, что это их дело и что они одни виноваты. Фролов донес о случившемся директору, а тот поспешил доложить министру, графу Разумовскому. Министр всполошился, приехал из Петербурга, вызвал "преступников", распек их и передал дело на рассмотрение конференции профессоров. Конференция постановила: две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, пересадить виновных на последние места за обеденным столом и занести их фамилии в черную книгу. В послании к Пущину Пушкин так вспоминает происшествие с гогель-могелем:

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом, пенистом вине?

. . . .

Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?

Закипев, о, сколь прекрасно
Токи дымные текли!..
Вдруг педанта глас ужасной
Нам послышался вдали.
И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно —
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.
Убегаем торопливо...

Когда их троих посадили за обеденным столом на последние места, Пушкин сказал:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.

Другим очень близким другом Пушкина был барон Антон Дельвиг — тучный, вялый и болезненный мальчик, невозмутимо хладнокровный, с начальством дерзкий и насмешливый. Он был очень ленив, учился плохо, но обладал острым умом и самой богатой фантазией. Любил поэзию, внимательно изучал иностранных и русских поэтов, сам писал стихи; первый из всех товарищей выступил со своими стихами в печати. К творчеству Пушкина Дельвиг относился восторженно и предсказывал ему великую будущность.

В одном из лучших тогдашних журналов он напечатал в 1815 году стихотворение: "К А. С. Пушкину", которое кончалось так:

Пушкин! Он и в лесах не укроется,
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Впоследствии Дельвиг стал выдающимся поэтом. С Пушкиным его всю жизнь связывала самая близкая дружба.

В 1825 году в псковской ссылке Пушкин так вспоминал Дельвига и радости поэтического творчества, переживавшиеся ими в лицее:

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты гордый пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Оценка Дельвига — конечно, сильно преувеличенная — характерна для отношения к нему Пушкина.

Еще был у Пушкина приятель — Вильгельм Кюхельбекер. И фамилия у него была смешная, и сам он был смешной: длинный, тощий, с выпученными глазами, тугой на ухо, с кривящимся при разговоре ртом, весь какой-то извивающийся, настоящая "глиста" — такое ему и было прозвище среди товарищей. Еще прозвище ему было "Кюхля". Был он вспыльчив до полной необузданности, самолюбив, обидчив и ко всему еще писал стихи, и в неуклюжих стихах так же был смешон, как и во всем. Ни на кого в лицее не было писано так много эпиграмм, рисовано так много карикатур, как на Кюхельбекера.

Пушкин заболел и лежал в лазарете. Там он написал стихи "Пирующие студенты" и пригласил товарищей послушать. После вечернего чая они пришли к нему с гувернером Чириковым. Началось чтение.

Друзья, досужный час настал,
  Все тихо, все в покое,
Скорее скатерть и бокал!
  Сюда, вино златое!

Потом следовало обращение отдельно к каждому товарищу, например:

Дай руку, Дельвиг, что ты спишь?
  Проснись, ленивец сонный,
Ты не под кафедрой сидишь,
  Латынью усыпленный.
Взгляни, здесь круг твоих друзей,
  Бутыль вином налита...

Товарищи слушали с жадным вниманием, глубокая тишина по временам прерывалась восторженными восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он слушал в полном упоении. И вдруг — заключительные стихи:

Писатель за свои грехи,
  Ты с виду всех трезвее.
Вильгельм, прочти свои стихи,
  Чтоб мне заснуть скорее.

Раздался общий хохот. Слушатели забыли поэта, стихи его и бросились тормошить Кюхлю, совершенно ошалевшего от неожиданности.

Однако под смешной и нелепой внешностью в Кюхельбекере таился чистейший энтузиаст, горевший мечтами о добре и красоте, восторженный любитель поэзии, добрейший и незлопамятный человек. Учился он хорошо, был начитан, знакомил товарищей с немецкой литературой.

Пушкин называл его живым лексиконом и вдохновенным комментарием.

Полную во всех отношениях противоположность Кюхельбекеру представлял другой приятель Пушкина — князь Александр Михайлович Горчаков: с блестящими способностями, первый ученик, благовоспитанный, к начальству почтительный, уравновешенный, очень аккуратный и опрятный, красавец. Вместе с этим был он самовлюблен, чванлив и мелочно злопамятен. Товарищи его не любили. Но Пушкин как-то тянулся к нему; по-видимому, его беззавистно привлекал к себе Горчаков как образец всесторонней удачливости, как человек, которому судьба не отказала ни в одном из своих даров. В послании к нему Пушкин писал:

Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый и славный —
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав.

Горчаков сделал блестящую карьеру, в царствование Александра II был министром иностранных дел, умер глубоким стариком в звании "светлейшего" князя, в чине государственного канцлера.

В лицее процветала литература, издавались рукописные журналы, многие воспитанники писали стихи. Особенно выдвинулись как поэты двое: Илличевский и Пушкин. Илличевский оказался впоследствии малодаровитым стихотворцем, но в то время большинство товарищей ставило его много выше Пушкина. Еще писали стихи Дельвиг, Кюхельбекер. Однако год за годом Пушкин завоевывал все большее признание, и товарищи с уважением наблюдали его растущий талант. Тот же Илличевский писал другу: "Лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах".

Пушкин впоследствии вспоминал:

... младые други,
В освобожденные досуги,
Любили слушать голос мой.
Они, пристрастною душой
Ревнуя к братскому союзу,
Мне первый поднесли венец,
Чтоб им украсил их певец
Свою застенчивую Музу.

Пушкин писал в лицее очень много. Уже и по тогдашним опытам серьезнейшие ценители почувствовали в Пушкине молодого орла, уверенно расправляющего для полета крепкие крылья.

Наибольшее влияние на молодого поэта, на его стих и художественное жизнеотношение того времени оказали поэты: русский — Батюшков, французские — Вольтер, Парни, Грекур и другие. Жизнь дана для наслаждения; радости ее — вино, любовь к красавицам, беспечная лень; небрежное творчество — игра. "Веселиться — мой закон", — писал Пушкин уже в одном из самых ранних своих стихотворений.

Миг блаженства *век* лови;
Помни дружбы наставленья:
Без вина здесь нет веселья,
Нет и счастья без любви...

(1814)

Слабее было влияние Жуковского с его чувствительной меланхолией, порыванием в туманную даль и грустной покорностью судьбе. Слишком все это противоречило натуре Пушкина. Влияние Жуковского отразилось преимущественно на элегиях Пушкина.

В условных романтических тонах, преувеличивая подлинные настроения, Пушкин называл себя "страдальцем", говорил о своем "хладном взоре", "тяжком стоне".

Я слезы лью; мне слезы утешенье,
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье.
Пускай умру, но пусть умру любя.

Писал Пушкин и в других тогда принятых родах поэзии, например послания. Одно из таких посланий — "К другу-стихотворцу" — было напечатано в лучшем тогдашнем журнале "Вестник Европы". Это был первый печатный дебют пятнадцатилетнего поэта.

8 января 1815 года в лицее производился публичный экзамен воспитанников, переходивших из младшего отделения в старшее. На экзамене в числе почетных гостей присутствовал старик поэт Державин, автор од, воспевавших преимущественно Екатерину II и торжественные события ее царствования, один из талантливейших русских поэтов восемнадцатого века.

"Как узнали мы, что Державин будет к нам, — вспоминал Пушкин, — все мы взволновались. Державин был очень стар. Он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен наш его утомил; лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Он дремал до тех пор, пока не начали экзамен русской словесности. Тут он оживился: глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной".

Вызвали Пушкина. Стоя в двух шагах от Державина, он стал читать свои стихи "Воспоминания в Царском Селе". В этих стихах молодой поэт вспоминал век Екатерины, победы ее полководцев — Орлова-Чесменского, Румянцева, Суворова, поэтов Державина и Петрова, воспевавших эти победы:

О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

Затем описывалась война 1812 года и нашествие Наполеона на Россию:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя.

Стихи вызвали общий восторг. Державин со слезами на глазах бросился целовать мальчика. Смущенный Пушкин убежал, а Державин воскликнул:

— Вот кто заменит Державина!

Пушкин впоследствии вспоминал об этом незабываемом для него дне:

И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым гением и грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.

В черновиках к "Евгению Онегину" Пушкин вспоминает:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Елисея,
А Цицерона* проклинал;
В те дни, как я поэме редкой
Не предпочел бы мячик меткой,
Считал схоластику за вздор
И прыгал в сад через забор;
. . . .
Когда в забвеньи перед классом
Порой терял я взор и слух
И говорить старался басом
И стриг над губой первый пух,
В те дни... в те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь, —
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал...

Эти строки написаны о двадцатилетней сестре одного из лицейских воспитанников, фрейлине Екатерине Павловне Бакуниной. Она часто навещала в лицее своего брата и всегда приезжала на лицейские балы. Была она красива, с большими глазами, стройна. Вся лицейская молодежь увлекалась ею.

Это была первая любовь Пушкина — робкая и застенчивая юношеская любовь, с "безнадежной" тоской, со "счастьем тайных мук", с радостью на долгие дни от мимолетной встречи или приветливой улыбки. Любовь эта отразилась в целом ряде лицейских стихотворений Пушкина: "Желание", "Осеннее утро", "Разлука", нескольких элегиях.

Пушкин все больше начинал обращать на себя внимание самых выдающихся писателей того времени. На него с надеждой смотрели Карамзин, Батюшков, Жуковский, князь Вяземский. Весною 1816 года Карамзин посетил лицей с князем Вяземским и дядею Пушкина, поэтом Василием Львовичем. Он вызвал Пушкина и сказал:

* Цицерон — древнеримский общественный деятель и знаменитый оратор.

— Пари, как орел, но не останавливайся в полете.

Летнее время Карамзин проводил в Царском Селе. Пушкин часто бывал у него. Общение с Карамзиным было очень полезно для литературного развития Пушкина. Еще полезнее было влияние, которое через того же Карамзина, Жуковского, Вяземского и других оказывало на поэта-лицеиста петербургское литературное общество "Арзамас". Это было задорное, боевое общество, в нем объединилась тогдашняя молодая литература для борьбы со старыми литературными течениями. Защитницей старины являлась чопорная "Беседа любителей российского слова" во главе с адмиралом А. С. Шишковым. При крайней политической реакционности она стояла за классицизм в литературе, за торжественный славяно-российский слог, враждебно относилась к Карамзину, введшему в литературу обыкновенный разговорный слог. На эту-то "Беседу" и пошел боем "Арзамас" — за простоту русской речи, за свержение законов тяжеловесного классицизма, за свободу художественного творчества. Пушкин был принят в "Арзамас" еще лицеистом, заглазно. Кличка ему была дана "Сверчок" (каждый член общества носил особую кличку). Пушкин жадно следил из лицея за деятельностью "Арзамаса" и посланиями, эпиграммами участвовал в борьбе его с "Беседой".

На старших курсах Пушкин свел знакомство с офицерами лейб-гвардии гусарского полка, стоявшего в Царском Селе. Старшие лицеисты пользовались сравнительно большой свободой. Пушкин часто посещал гусаров, участвовал в их пирушках, сошелся с лихими повесами полка, как Каверин, Молоствов и другие. Знакомство с офицерами в некоторых отношениях было очень полезно для Пушкина. Лицеисты воспитывались, конечно, в строго монархическом духе; воспитание это сказалось на целом ряде лицейских стихотворений Пушкина: в стихах "На возвращение государя-императора из Парижа", "Принцу Оранскому" (за последнее стихотворение Пушкин получил от двора золотые часы). Большинство же гвардейского офицерства того времени было настроено по отношению к правительству очень оппозиционно; через лейб-гусаров Пушкин знакомился с тогдашней нелегальной литературой. Уже шестнадцати лет он пишет стихотворение "К Лицинию"* — будто бы перевод с латинского:

Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода,
Во мне не дремлет дух великого народа.
. . . .
Свободой Рим возрос — а рабством погублен!

* Лициний — древнеримский народный трибун.

Большое влияние имел на него один из офицеров, знаменитый впоследствии П. Я. Чаадаев, замечательный мыслитель и человек исключительной образованности. Он в то время был настроен революционно и сыграл большую роль в политическом воспитании Пушкина. Чаадаев оказал и вообще большое влияние на образование и умственное развитие Пушкина. По мнению одного современника, он дал в этом отношении Пушкину больше, чем весь лицей.

В июне 1817 года Пушкин и его товарищи окончили лицей. Желающие поступали по выбору на военную или гражданскую службу.

В списке воспитанников, выпущенных в гражданскую службу, Пушкин стоял по успехам четвертым с конца.

В своем прощальном стихотворении "Товарищам" Пушкин писал:

Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул;
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя;
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Всегда беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один.
Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора*;

* Асессор — гражданский чин.

Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак*,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока *ленивому* возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.

В Петербурге

Пушкин, как мало преуспевший, был выпущен из лицея с чином коллежского секретаря. (Преуспевшие выпущены были с более высоким чином — титулярного советника.) Он определился чиновником в Государственную коллегию иностранных дел в Петербурге с жалованьем в семьсот рублей в год. В те времена служба молодых дворян была только номинальной: они ничего не делали, на службу почти не являлись, а служили для продвижения в чинах. Свободного времени было у Пушкина сколько угодно.

Родители его уже несколько лет назад переселились в Петербург. Пушкин жил у родителей на окраине города, в Коломне, на Фонтанке, близ Калинкина моста. Он очутился в положении, в каком часто находились молодые люди, возвращавшиеся под родительский кров из богатых учебных заведений с приобретенными там широкими привычками. Притом по родственным отношениям и знакомствам Пушкин вошел в высшие круги большого света. Это требовало средств; ничтожного жалованья было недостаточно. А дела родителей были, по всегдашнему, расстроены.

К этому присоединялась мелочная скупость отца. Когда Пушкин, больной, в осеннюю слякоть или в трескучие морозы брал домой извозчика, отец вечно бранился за потраченные восемьдесят копеек. Пушкин при случае зло и вызывающе издевался над скупостью отца; однажды, когда оба они в обществе катались на лодке, Пушкин вынул несколько золотых монет и одну за другой стал бросать в реку, любуясь их отражением в чистой воде.

Пушкин с головою бросился в кипучую петербургскую жизнь. Он одевался щеголем, носил модный широкий черный фрак

* Красный (фригийский) колпак носили якобинцы во время французской революции 1789 г. Отсюда красный колпак — символ свободы.

с нескошенными фалдами и шляпу с прямыми полями "а ля Боливар". Отрастил себе очень длинные ногти, тщательно ухаживал за ними и полировал; привычку эту он сохранил до конца жизни. Был лихим повесой, задирой, всегда готовым драться на дуэли. Это в то время считалось хорошим тоном.

Из-за каждого пустяка Пушкин вызывал на дуэль; однако большинство их друзьям удавалось улаживать. Впрочем, две-три дуэли он, кажется, имел. Одна из них произошла по довольно курьезному поводу. Лицейский товарищ Пушкина Кюхельбекер хаживал к Жуковскому и порядочно надоел ему своими стихами. Однажды Жуковский был зван куда-то на вечер и не явился. Его спросили, почему он не был; Жуковский ответил:

— Я еще накануне расстроил себе желудок; к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома.

Пушкин по этому поводу написал стихи, как будто от лица Жуковского:

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И *кюхельбекерно*, и тошно.

Самолюбивый и взбалмошный Кюхельбекер вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин любил Кюхельбекера: он всячески старался его успокоить. Но Кюхельбекер ничего и слышать не хотел. Пришлось стреляться. Кюхельбекер промахнулся. Пушкин бросил пистолет и хотел обнять товарища, но Кюхельбекер неистово завопил:

— Стреляй, стреляй!

Пушкин засмеялся, взял его под руку и сказал:

— Полно дурачиться, милый! Пойдем чай пить.

И они помирились.

Три года, которые после лицея Пушкин провел в Петербурге, были временем, когда он на деле осуществлял проповедь упоенного наслаждения удовольствиями жизни — ту проповедь, которую мы видели в его лицейских стихах и которой были полны и теперешние его стихи.

Ах, младость не приходит вновь!
Зови ж сладкое безделье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!
До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

Он с увлечением танцевал на балах, влюблялся, пировал на офицерских пирушках, просиживал за картами. Был усердным посетителем театра, следил за всеми новыми постановками. А наряду с этим проводил вечера у Чаадаева, переселившегося в Петербург, и вел с ним беседы на серьезнейшие темы или у Карамзина изумлял всех умом и начитанностью.

Удивительно было, когда он успевал писать. А писал он много. Одну за другой оканчивал главы "Руслана и Людмилы", писал много лирических стихотворений. Старшие писатели с восхищением следили за быстрым ростом его таланта. Один современник вспоминает:

"Особенно Жуковский казался счастлив, как будто бы сам бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже было больно смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата".

А баловать было за что. Жуковский писал князю Вяземскому:

"Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!"

В послании Пушкина к Жуковскому были такие стихи:

Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там, в дыму столетий...

По поводу этих стихов Вяземский писал: "В дыму столетий! Это выражение — город. Я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом*; не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий? О прочих и говорить нечего". Когда Батюшков прочел стихи Пушкина "Поклонник ветреных Лаис" ("Юрьеву"), он судорожно смял в руках листок бумаги со стихами и воскликнул:

— О, как стал писать этот злодей!

Время было горячее. Политика Александра I становилась все реакционнее. Во главе внутреннего управления стоял царский любимец граф Аракчеев, мечтавший превратить Россию в казарму слепых исполнителей воли начальства; страна обнищала от непрерывных войн, в сельском хозяйстве свирепствовал кризис и требовал решительных экономических реформ; крестьянство

* Желтый дом — дом для сумасшедших.

и поместное дворянство разорялись. Офицерская молодежь, побывавшая в заграничных походах, имела случай наблюдать более свободный западноевропейский политический строй. Все это вызывало резко враждебное отношение к правительству. Среди либерального дворянства возникали тайные общества, имевшие целью ограничение самодержавия. Пушкин явился чутким эхом, отразившим оппозиционное настроение общества. Он осыпал эпиграммами императора Александра и его помощников; в оде "Вольность" писал:

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
   Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
. . . .
   Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
. . . .
Владыки! вам венец и трон
Дает закон — а не природа —
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон.

В стихотворении "Деревня" Пушкин яркими красками рисовал ужасное положение крепостного крестьянства:

   Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь *барство* дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
С поникшею главой, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
   Неумолимого владельца.
Здесь горестный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
   Здесь девы юные цветут
   Для дерзкой прихоти злодея;
Надежда милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.

. . . .
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенной
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

Обращаясь к Чаадаеву, Пушкин писал:

Мы ждем в томленьи упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Стихи быстро распространились в списках по всей России. Не было сколько-нибудь грамотного прапорщика, который не знал бы их наизусть.

Но Пушкин не ограничивался стихами — он пользовался и другими способами для политической агитации против правительства. Однажды в Царском Селе принадлежавший коменданту медведь сорвался с цепи и побежал в парк. Там в это время прогуливался император, и только его собачонка своим лаем предупредила царя об опасности. Пушкин по этому поводу заметил:

— Нашелся один человек, да и тот медведь!

Во время ледохода он во всеуслышание заявил в театре:

— Теперь самое безопасное время — по Неве лед идет!

То есть нечего, значит, опасаться Петропавловской крепости, куда правительство сажало своих врагов.

В театре же Пушкин показывал всем портрет рабочего Лувеля, заколовшего кинжалом наследника французского престола. Под портретом Пушкин подписал: "Урок царям".

Известность Пушкина возрастала с каждым месяцем. Он сделался кумиром молодежи, она подражала ему в одежде и в манерах, твердила наизусть его стихи, повторяла остроты, рассказывала о нем анекдоты.

Особенной любовью Пушкин пользовался в кружке блестящей петербургской молодежи, известном под именем общества

"Зеленая лампа". Зеленый цвет лампы, вокруг которой происходили собрания, знаменовал надежду. На собраниях читались произведения членов кружка, поэты (Пушкин, Дельвиг, Ф. Глинка) читали свои стихи. Обменивались мнениями и спорили о театральных постановках — все члены были страстными театралами. Много было в кружке разговоров и на политические темы, резко отражавших тогдашнее всеобщее оппозиционное настроение общества; свободно, "с открытым сердцем" говорили

Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Начет небесного царя,
А иногда насчет земного.

(Послание Пушкина к В. В. Энгельгардту)

Заседания кончались карточной игрой и веселыми попойками.

Современные исследователи склонны приписывать обществу "Зеленая лампа" серьезное влияние на политическое развитие и воспитание Пушкина.

Сам Пушкин оценил это общество более верно. Это именно о нем он писал в сожженной главе "Онегина":

Сначала эти заговоры
Между лафитом и клико,
Лишь были дружеские споры
И не входила глубоко
В сердца мятежные наука.
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.

Именно здесь, в компании Кавериных, Мансуровых и прочих прославленных кутил того времени, и просверкал бурный период бешеного разгула и упоения чувственными радостями, который так характерен для послелицейской жизни Пушкина. И самое яркое свое отражение эти настроения как раз получили в послании Пушкина к членам "Зеленой лампы".

В марте 1820 года Пушкин окончил "Руслана и Людмилу".

Лучший поэт того времени, Жуковский, подарил Пушкину свой портрет с надписью: "Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму "Руслан и Людмила".

Появление поэмы в печати было огромным литературным событием. Критика тогда уже отмечала, что хотя сюжет поэмы взят из былинно-сказачной русской старины, но "русского духа"

в ней совершенно не чувствуется, что в ней действуют сказочные герои Ариосто, Тассо, Виланда и других западноевропейских поэтов. Но легкий, изящный стих поэмы, художественность картин, яркость характеристик, простой, лишенный ходульности язык, не боявшийся самых "простонародных" выражений, — все это было чем-то совершенно необычным в русской поэзии.

Дерзкое пренебрежение ко всем установившимся поэтическим правилам и к "высокому слогу" глубоко возмутило литературных староверов. Журнал Каченовского "Вестник Европы" с негодованием приводил из поэмы такие выражения: "Всех удавлю вас бородою!", "Чихнула голова, вслед за нею и эхо чихает", "Я еду, еду не свищу, а как наеду, не спущу" и т. п. Автор статьи спрашивает:

"Если бы в московское Благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородой, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: "Здорово, ребята!", неужели бы стали таким проказником любоваться?.. Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна, а нимало не смешна и не забавна".

Вокруг поэмы разгорелась жестокая полемика: одни нападали на нее, другие защищали. Но это произошло позже, когда Пушкина уже не было в Петербурге.

А теперь над головою Пушкина собиралась гроза. До правительства наконец дошли его вольные стихи. Петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович вытребовал Пушкина к себе. Он явился. Милорадович в его присутствии приказал полицмейстеру поехать и сделать в квартире Пушкина обыск. Пушкин понял, в чем дело, и сказал:

— Граф! Напрасно вы это делаете. Там не найдете, чего ищете! Лучше велите подать мне перо и бумагу, я здесь же все вам напишу.

Милорадович — лихой генерал, прославившийся в наполеоновские войны бешеной храбростью, — пришел в восторг.

— Вот это по-рыцарски! — воскликнул он и крепко пожал руку Пушкину.

Пушкин сел и написал все свои нелегальные стихи.

Дело приняло очень серьезный оборот. Император Александр решил сослать Пушкина в Сибирь или заточить его в Соловецкий монастырь. Многочисленные друзья Пушкина всполошились. Благодаря хлопотам Карамзина и Жуковского было решено отправить Пушкина вместо Сибири или Соловков на юг, в Екатеринослав (ныне Днепропетровск), на службу при

главном попечителе колонистов южного края России генерале Инзове. А. И. Тургенев писал князю П. А. Вяземскому:

"Участь Пушкина решена. Он отправляется к Инзову. Стал тише и даже скромнее и, чтобы не компрометировать себя, даже и меня в публике избегает".

6 мая 1829 года Пушкин выехал из Петербурга.

На юге

Генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский, выдающийся русский военачальник эпохи наполеоновских войн, ехал из Петербурга на кавказские воды. Генерала сопровождали две его младшие дочери и младший сын, лейб-гусарский ротмистр Николай. Пушкин был знаком с семейством Раевских в Петербурге, а с Николаем подружился еще лицеистом в Царском Селе, где стоял лейб-гусарский полк.

Путешественники остановились отдохнуть в Екатеринославе.

Николай знал, что Пушкин сослан сюда, и отправился его разыскивать. Он нашел его в жалкой еврейской лачуге городского предместья. Небритый, бледный и худой, Пушкин в приступе малярии лежал на дощатой скамейке.

На Раевского он произвел в этой обстановке удручающее впечатление. У Пушкина от радости на глазах показались слезы.

Генерал Раевский попросил начальника Пушкина, генерала Инзова, отпустить его с ними на Кавказ. Добродушный Инзов охотно разрешил.

В конце мая Пушкин выехал с Раевским на кавказские воды. Еще с неделю он страдал в дороге приступами лихорадки, а в промежутках дурачился по-всегдашнему. В Горячеводске, например, взялся вписать в книгу, присланную комендантом, имена приехавших и записал врача, сопровождавшего генерала Раевского, "лейб-медиком", то есть царским врачом.

Еле удалось уладить недоразумение, и генерал Раевский порядком пожурил Пушкина за такую шутку.

Лето Пушкин прожил с Раевскими на водах, принимал ванны, очень помогшие его здоровью, и в начале августа по приглашению Раевских поехал с ними в Крым. Там, в Гурзуфе, проводила лето жена Раевского с двумя старшими дочерьми.

В Феодосии начальство предоставило в распоряжение генерала Раевского военный бриг, на нем путешественники морем поплыли в Гурзуф.

Корабль шел перед горами, покрытыми тополями, виноградниками, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения.

"Всю ночь не спал, — писал Пушкин другу. — Луны не было, звезды блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы... — Вот Чатырдаг, — сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал..."

Ночью Пушкин задумчиво расхаживал по палубе корабля и что-то бормотал про себя. Здесь сочинил он свою элегию "Погасло дневное светило". В элегии Пушкин, мешая собственные настроения с настроениями байроновского Чайльд-Гарольда, мрачно обращался к лазурно-веселому Черному морю:

Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

И, едучи всего только из Феодосии в Гурзуф, продолжал:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.

Пушкин прожил с Раевскими в Гурзуфе три недели. Под руководством Раевского-сына изучал английский язык, читал с ним Байрона. Старшие три сестры — Екатерина, Елена и Мария — были красавицы. Солнце, блеск, море, горы, девичьи улыбки, спокойная и беззаботная жизнь — все создавало условия, в которых Пушкин блаженно отдыхал душой.

Он купался в море, объедался виноградом. Проснувшись ночью, любил слушать шум моря — и заслушивался целые часы.

В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро Пушкин навещал его и привязался к нему чувством, похожим на дружбу.

"Мой друг, — писал он брату Льву, — счастливейшие минуты моей жизни провел я посреди семейства Раевского... Любимая моя надежда — опять увидеть полуденный берег и Раевских".

В начале сентября Пушкин вместе с генералом Раевским выехал из Гурзуфа. За это время канцелярия генерала Инзова была переведена из Екатеринослава в Кишинев (в Бессарабии), и Пушкин направился туда. В дороге он опять заболел лихорадкой; совершенно больной, заехал в Бахчисарай, осмотрел ханский дворец с его знаменитым "фонтаном слез" и 21 сентября прибыл в Кишинев.

Старик Инзов ласково принял Пушкина, поселил его у себя в доме, у него же Пушкин и столовался. Дом его находился в конце города, на холме, который жители прозвали "Инзовой горой". Сзади дома тянулся пространный сад с виноградником, расположенным на скате. Дом был большой, двухэтажный. В верхнем этаже жил сам Инзов. Пушкину были отведены две комнаты внизу, прохладные и темноватые, в три окна с железными решетками. Из окон был прекрасный вид на сады, виноградники и долину мелководной речки.

Генерал Инзов — одна из трогательнейших фигур среди всех людей, с которыми за свою жизнь имел дело Пушкин. С детства лишенный родительской ласки, Пушкин в лице Инзова на два-три года неожиданно получил отца — заботливого, любящего, без обиды строгого и любовно прощающего, мудро умевшего ладить с озорным, капризным и озлобленным юношей. А причин к озлоблению и мрачной душевной угнетенности было у Пушкина достаточно: высылка из Петербурга, какие-то сердечные неудачи, цензурные притеснения, предательства друзей. Об измене друзей он вспоминает особенно часто.

В Петербурге Пушкин дружил с графом Ф. И. Толстым, прозванным "Американцем". Это был человек очень умный, очень развратный, бешено храбрый, дуэлист, убивший на своем веку немало людей — стрелял он без промаха. Он участвовал в морской экспедиции адмирала Крузенштерна и был за буйное поведение высажен где-то на Алеутских островах или на пустынном побережье Северной Америки; поэтому его и прозвали "Американцем". В карты он играл нечисто и близких друзей сам предупреждал, чтобы они не садились с ним играть. Толстой привлекал Пушкина своею храбростью, умом и оригинальностью; он с жаром защищал его от многочисленных нападок. А Толстой распространил в Петербурге о Пушкине сплетню, будто его за вольные стихи высекли в Тайной канцелярии. Эта сплетня привела Пушкина в бешенство. Что источником сплетни был Толстой, Пушкин узнал только в Кишиневе и решил при первой возможности вызвать Толстого на дуэль.

В душе Пушкина царила полная разочарованность. Он писал в то время:

И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь
В их наготе я ныне вижу —
Но все прошло! — остыла в сердце кровь,
И мрачный опыт ненавижу.

Свою печать утратил резвый нрав.
Душа час от часу немеет,
В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.

Однако очень трудно разобраться в тогдашних подлинных настроениях Пушкина. Не только он, но и вся молодежь увлекалась английским поэтом Байроном; характерным для его поэзии было, рядом с пламенным общественным протестом, ощущение гордого одиночества среди ничтожества людского, презрение к толпе, какие-то тайные огромные страдания, непонятные обыкновенным людям, разочарование в жизни и ее жалких благах. В тогдашних стихах и записях Пушкина мы то и дело встречаем упоминание о преждевременно увядшей его молодости, о "хладной", "болезненной" душе и т. п. — все то, что потом он высмеял в Ленском:

Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

В Кишиневе находился штаб одной из дивизий Южной армии. Дивизией командовал генерал Михаил Федорович Орлов, член тайного общества. Он ввел в своих полках образовательные, так называемые ланкастерские, школы для солдат, энергично боролся с телесными наказаниями, в то время широко применявшимися к солдатам. Вскоре после приезда Пушкина Орлов женился на старшей дочери генерала Раевского, Екатерине Николаевне, "женщине необыкновенной", по отзыву Пушкина. Пушкин был принят у Орловых как свой.

Там он познакомился с офицерами орловской дивизии. Среди них было немало людей умных и талантливых, как подполковник И. П. Липранди, будущий писатель А. Ф. Вельтман и другие.

Особенно выделялись два адъютанта Орлова — капитан К. А. Охотников и майор Владимир Федосеевич Раевский (ни в каком родстве с семейством Раевских, о котором мы рассказываем, не состоял). Оба они были люди образованные, исключительной нравственной высоты, оба тоже состояли членами тайного общества. Сам Орлов был умеренным либералом, оба же его

адъютанта были бесстрашные и неукротимые революционеры, занимавшие среди членов общества самую левую позицию. Владимир Раевский, между прочим, был первый, который вел энергичную революционную пропаганду среди солдат, что вовсе не входило в тактику тайного общества: оно рассчитывало на военную революцию, то есть на переворот, произведенный послушной солдатской массой по приказу офицеров; делать солдат сознательными участниками революции тайное общество не решалось, опасаясь их слишком "неумеренных" требований.

Тайное общество имело два отдела. Центр одного находился в Петербурге, центр другого — на юге, в Тульчине, где стоял главный штаю Южной армии. Петербуржцы, отражая настроение либерального дворянства, желали конституции с сохранением дворянских прав и помещичьего землевладения. Более радикальные южане ставили целью демократическую республику с полной отменой дворянских привилегий и с уравнением всех граждан в политических правах.

Во главе южан стоял полковник Пестель, человек умный, с железной волей, прекрасный организатор. Пушкин встречался с ним в Кишиневе во время наездов туда Пестеля.

9 апреля 1821 года Пушкин записал в дневнике: "Утро провел я с Пестелем... Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю".

Из Кишинева Пушкин несколько раз ездил гостить в Киевскую губернию, в село Каменку — богатое поместье, принадлежавшее матери генерала Раевского. В Каменке жил сын ее от второго брака, Василий Львович Давыдов, один из деятельных членов Южного общества. Каждый год в конце ноября под предлогом празднования именин его матери (24 ноября) в Каменку съезжались для совещания члены тайного общества.

На один из таких съездов случайно попал Пушкин и возобновил знакомство с И. Д. Якушкиным, с которым он уже встречался в Петербурге. Якушкин тоже был деятельнейшим членом общества.

Общение со всеми этими тогдашними выдающимися деятелями революции было очень полезно для политического развития Пушкина. Оппозиционное его настроение крепло, становилось углубленнее и сильнее, чем было в Петербурге. Этому способствовали и события, происходившие в Европе. Пылала революция в Испании, в Неаполе. Греция восстала против Турции. Пушкин восторженно следил за ходом греческого восстания, сам мечтал принять в нем участие. Никогда вообще Пушкин не был так революционно настроен, как в это время. Он писал:

Вы, ветры, бури, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот —
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

Даже подавление революции в Неаполе не уменьшило надежд Пушкина, и в послании в Каменку к В. Л. Давыдову он писал:

Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся —
И я скажу: "Христос воскрес".

За время пребывания в Кишиневе Пушкиным написано стихотворение "Кинжал" с призывом к революционному террору. Обращаясь к кинжалу, Пушкин писал:

Где Зевсов гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на водах, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.

Стихотворение быстро распространилось в списках по всей России. В это время Пушкиным написана едкая эпиграмма на Александра I "Воспитанный под барабаном...". Пушкин набрасывает план драмы, где барин проигрывает в карты своего верного старого слугу; начинает поэму о Вадиме, легендарном борце за свободу Великого Новгорода. В личном высказывании своих политических настроений Пушкин, как и в Петербурге, не держался никакой осторожности. Секретные агенты доносили в Петербург: "Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство".

Близко примыкая по взглядам и настроениям к тайному обществу, Пушкин, однако, не состоял его членом. Еще в Петербурге он подозревал о существовании такого общества, но на-

прасно старался что-нибудь узнать о нем от лицейского своего друга Ивана Пущина. Пущин, сам деятельнейший член "Союза благоденствия", не открывал Пушкину тайны.

"Подвижность пылкого его нрава, — рассказывает он, — сближение с людьми ненадежными пугали меня... Образ мыслей его всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия".

То же повторилось и теперь, на юге. Никто из заговорщиков не посвящал Пушкина в тайну: с одной стороны, боялись его легкомыслия и неосторожности, с другой — берегли его, как огромный талант, и находили, что пером своим он достаточно работает для их целей.

Однажды Пушкину пришлось по этому поводу пережить очень горькие минуты. В конце 1820 года он случайно попал в Каменку, как раз в то время, когда там происходил съезд членов тайного общества. Там же в то время гостил и генерал Н. Н. Раевский с сыном Александром. Заговорщики хотели выяснить отношение Раевского к тайному обществу. С этой целью Орлов, Якушкин, Охотников и Василий Давыдов в присутствии Раевского и Пушкина завели спор о том, желательно ли при данном положении дел учреждение в России тайного общества. Одни высказывались за, другие против. Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести России подобное общество. Раевский высказался за его полезность. Тогда заговорщики расхохотались и объявили, что все это была шутка. Пушкин, красный и взволнованный, встал и сказал со слезами на глазах:

— Я никогда не был так несчастлив, как теперь. Я уже видел жизнь мою облагороженной и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка.

Много позже, в Моске, он сказал жене декабриста Никиты Муравьева, ехавшей в Сибирь к сосланному на каторгу мужу:

— Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество: я не стоил этой чести.

Пушкин проводил время в Кишиневе так. Утром просыпался и, сидя неодетый в постели, стрелял из пистолета в стены восковыми пулями; голубые стены его комнаты все были залеплены восковыми кружочками. Пушкин готов был по самому пустяковому поводу драться на дуэли, поэтому, естественно, должен был усердно упражняться в стрельбе в цель. Но, как мы видели, у него была и специальная причина готовиться к дуэли,

очень серьезной. Он страстно ждал возможности вызвать на дуэль Американца — Толстого. В ссылке Пушкин не рассчитывал пробыть долго и усиленно упражнялся в стрельбе, чтобы достойно встретиться у барьера со своим страшным противником.

Постреляв в цель, Пушкин вставал и садился писать. В это время его нельзя было тревожить. Однажды Инзов послал слуг звать Пушкина к завтраку. Пушкин с криком и сжатыми кулаками набросился на посланного и, наверное, побил бы его, если бы тот не убежал. После этого, когда кого-нибудь посылали за Пушкиным, тот раньше подкрадывался к окну и высматривал, что Пушкин делает: если писал, то его не тревожили.

Кончив писать, Пушкин исчезал из дому и возвращался только поздно ночью. Знакомых у него было множество — и среди служащих русских и среди местных молдаван. Пушкин после болезни ходил обритый, в феске; в руках у него всегда была тяжелая железная палка; всех поражали длинные, с полвершка, ногти на его пальцах. Пушкин любил переодеваться. Являлся к городскому саду то одетым как турок, то как грек, цыган, еврей или молдаванин. Любил замешаться в толпу, участвовать в молдаванских хороводах, не стесняясь смотревших на него знакомых. По окончании плясок переходил к своим и с восторгом рассказывал, как весело и приятно отплясывать "джок" под звуки молдаванской "кобзы".

Бывало повстречается Пушкин с цыганским табором и увяжется за ним и несколько дней кочует с цыганами по степи. В эпилоге к своей поэме "Цыганы" он вспоминает:

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями;
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы.
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Вообще Пушкин все делал не так, как все.

Удовольствиям, которые ему мог дать Кишинев, Пушкин предавался с таким же упоением, как и в Петербурге. Много играл в карты, без устали танцевал на балах, пировал на офицерских попойках, влюблялся. Озорничал еще больше, чем в Петербурге, и озорство было уже другое — не добродушно-веселое, мальчишеское петербургское озорство, а озорство злое, едкое. За малейшую обиду вызывал на дуэль. Одни дуэли друзьям удавалось уладить, другие кончались барьером. Во время карточной

игры Пушкин заподозрил офицера Зубова в шулерстве. Тот вызвал его. Рассказывают, что Пушкин явился на поединок с черешнями и под наведенным дулом пистолета спокойно выплевывал косточки. Зубов выстрелил и промахнулся. Пушкин спросил:

— Довольны вы?

Зубов, вместо того чтобы требовать ответного выстрела, бросился к нему с объятиями. Пушкин презрительно сказал:

— Это лишнее.

И, не выстрелив, удалился.

Другую дуэль Пушкин имел с уважаемым боевым офицером, полковником Старовым. Этот Старов сам вызвал Пушкина по нелепейшему поводу — из-за вздорного столкновения Пушкина на балу с одним из офицеров его полка. Офицер не счел этого столкновения достаточным поводом к дуэли; тогда, заступаясь за "честь" полка, Пушкина вызвал сам командир полка.

Пушкин очень был рад случаю подраться с полковником, известным своей храбростью. Они стрелялись в двух верстах от Кишинева, на урочище, называемом "Малиной", в девять часов утра. Секундантом Пушкина был его приятель Н. С. Алексеев. Погода была ужасная — метель с сильнейшим ветром, в нескольких шагах нельзя было ничего видеть, к тому же было довольно морозно. Расстояние было шестнадцать шагов. Пушкин стрелял первый и дал промах. Старов тоже промахнулся; он попросил снова зарядить пистолеты и сдвинуть барьер. Пушкин сказал:

— И гораздо лучше, а то холодно.

Секунданты предложили противникам помириться. Оба отказались. Мороз и ветер были такие, что секунданты еле смогли замерзшими пальцами зарядить пистолеты. Сдвинули барьер до двенадцати шагов. Опять два промаха. Противники хотели продолжать, еще сблизив расстояние, но секунданты решительно воспротивились. Примирить врагов внова не удалось. Дуэль отложили до прекращения метели.

Пушкин заехал с поединка к одному из своих приятелей и оставил ему записку:

Я жив,
Старов
Здоров.
Дуэль не кончен.

Продолжение дуэли друзьям удалось предотвратить. Но у Пушкина было заметно тайное сожаление, что ему не удалось подраться с полковником, известным своей храбростью. Секун-

дант Пушкина, приятель его Н. С. Алексеев, сказал ему, что ведь он дрался же со Старовым, чего ж ему больше. Пушкин с обычной своей резвостью сел Алексееву на колени и возразил:

— Ну, не сердись, не сердись, душа моя!

Вскочил, посмотрел на часы, схватил шапку и ушел.

Кишиневский приятель Пушкина, полковник Липранди, сам имевший в жизни много дуэлей, рассказывает про Пушкина:

"Я знал Пушкина вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, когда он становился лицом к лицу со смертью, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело доходило до барьера, к нему он являлся холодным, как лед. Подобной натуры в таких случаях я встречал очень немного".

О Пушкине говорила вся Россия — столько же о его стихах, сколько и о его личности, о его выходках и остротах. Дерзкий на язык, своевольный, непослушный, остроумный, из-за каждого пустяка готовый на дуэль, он производил фурор. В Петербурге его называли "бес арабский" (бессарабский).

Между тем в душе Пушкина шла глубокая внутренняя работа и начиналась полная переоценка тех моральных и бытовых устоев, на которых он до того строил свою жизнь.

Кружась в вихре петербургских удовольствий, Пушкин почти ничего не читал, не работал над своим развитием и очень этим огорчал своих друзей. "Ах, если бы бездельник этот захотел учиться, — восклицали они, — он был бы человеком выдающимся в нашей литературе!" Но Пушкин бездельничал только первые три года после выхода из лицея, до высылки из Петербурга. Во всю последующую жизнь Пушкин работал над своим образованием и развитием, как никто. Он учился всю жизнь и усердно начал учиться в Кишиневе. В послании к Чаадаеву он писал:

И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений,
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

В Петербурге смысл жизни заключался для Пушкина в безудержном наслаждении жизненными удовольствиями: "Давайте

пить и веселиться, давайте жизнию играть!.. Пусть наша ветреная младость потонет в неге и вине!" Теперь он с брезгливым чувством вспоминал такие свои проповеди и товарищей-собутыльников, "питомцев наслаждений, минутной младости минутных друзей".

Оставя шумный круг безумцев молодых
В изгнании моем я не жалел о них...

Петербургские друзья усердно хлопотали о переводе Пушкина из Кишинева в более культурный центр. Как раз в это время в Одессу был назначен генерал-губернатором граф М. С. Воронцов, человек культурный, европейски образованный. Хлопотами А. И. Тургенева министр иностранных дел перевел Пушкина из Кишинева в Одессу, а Воронцов обещал взять его под свое покровительство и дать его таланту благоприятнейшие условия для развития. Довольный Тургенев писал князю Вяземскому, не так давно высланному за вольномыслие из Царства Польского:

"Кажется, дело пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем, я одного боюсь: тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали; Батюшкова — в Италию, — с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?"

Пушкин с радостью бросил Кишинев и переехал в Одессу. Из глухого провинциального городка он попал в богатый приморский город, кипевший жизнью, носивший совершенно европейский характер. Граф Воронцов принял Пушкина очень ласково, пригласил бывать у него, познакомил со своей красавицей женой Елизаветой Ксаверьевной. Перед Пушкиным раскрылись двери самого изысканного светского общества, которое он всегда любил.

Светская жизнь, прекрасные рестораны, итальянская опера — всему этому Пушкин предался с жадностью изголодавшегося человека. В "Путешествии Онегина" он впоследствии ярко описал свое одесское времяпровождение:

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильной
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,

Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

. . . .

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленной,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркёр выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.

. . . .

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Чтó устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.
Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном.
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в Оперу скорей:
Там упоительный Россини*,
Европы баловень — Орфей**.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет, — они кипят,

---

* Россини — знаменитый итальянский композитор, автор оперы "Севильский цирюльник".

** Орфей — легендарный древнегреческий певец, очаровывающий пением даже зверей и неодушевленную природу.

Они текут, они горят,
Как поцелую молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи
Струи и брызги золотые...
Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?
Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд,
Сыны Авзонии* счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревем речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Всё молчит;
Лишь море Черное шумит...

Морали, о котором в этих стихах вспоминает Пушкин, был араб из Египта или Туниса, бронзовый красавец высокого роста, в белой чалме, красной, шитой золотом куртке, опоясанный турецкой шалью, из-за которой торчали пистолеты. Рассказывали, что он несметно богат и что богатства свои он нажил морским разбоем. Пушкин, любивший все выходившее из рамок обыденности, дружил с Морали.

— У меня лежит к нему душа, — говорил он. — Кто знает, может быть, мой дед с его предком был близкой родней.

И в Одессе Пушкин сделался кумиром молодежи и женщин. Он был очень влюбчив, в Одессе у него был целый ряд романов, он сразу был влюблен в нескольких женщин; как выражался один из его друзей, "предметы его увлечений могли меняться, но страсть оставалась при нем одна и та же".

Материальное положение Пушкина было очень неважное. Он числился при канцелярии графа Воронцова и получал жалования 58 рублей с копейками в месяц. При полном неумении Пушкина беречь деньги и при его широком образе жизни этих денег, конечно, не хватало. Отец ничего не высылал ему, и Пушкин с горечью писал брату Льву: "Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучен, в учи-

* Авзония — Италия.

теля не могу итти... Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, хотя письма его очень любезны..."

Сами обстоятельства толкали Пушкина на путь, совершенно новый и чуждый для тогдашнего писателя-дворянина. В богатой дворянской среде, к которой принадлежал Пушкин, считалось очень зазорным брать деньги за свои литературные произведения. Это значило "торговать своим вдохновением". Пушкин решительно пошел против этого барского предрассудка: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать" — знаменитое его изречение. "Я уже победил, — писал он, — свое отвращение писать и продавать свои стихи ради хлеба насущного; самый большой шаг уже сделан: на стихи, раз написанные, я уже смотрю как на товар, по столько-то за строчку". И с усмешкою говорил по этому поводу обо "всей наготе своего цинизма".

Состав знакомых Пушкина в Одессе по умственному, общественному и образовательному уровню был значительно ниже, чем в Кишиневе. Там вокруг него были Владимир Раевский, Охотников, Липранди, Вельтман, Михаил Орлов. Здесь почти все его знакомые были пустоватые светские люди, чиновники, карьеристы, теснившиеся вокруг графа Воронцова. Выдавался среди знакомых один только полковник Александр Раевский, старший сын генерала Раевского. Пушкин сошелся с Александром Раевским еще на Кавказе и писал про него брату: "Он будет более, нежели известен". Раевский был высок, костляв, с желчно-темным морщинистым лицом, по тонким губам широкого рта пробегала язвительно-насмешливая улыбка. Он был большой умница, но ум его был характера глубоко рассудочного, все разъедающий, совершенно лишенный творчества. Раевский был мелкий и черствый эгоист, ничего не имел в себе романтического, но на Пушкина того времени производил очень сильное впечатление и имел влияние почти гипнотическое. Ведя с ним беседы, Пушкин тушил свечи, чтобы освободиться от действия его насмешливых глаз.

Александра Раевского Пушкин изобразил в стихотворении "Демон":

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;



Н. О. Пушкина
(мать поэта).
Ксавье де Местр. 1800-е гг.



Штриховые рисунки
А. С. Пушкина



С. Л. Пушкин
(отец поэта).
К. Гампельн. 1824



О. С. Павлищева (сестра поэта). Е. А. Плюшар. 1830-е гг.



В. Л. Пушкин (дядя поэта). Ж. Вивьен. 1823 (?)

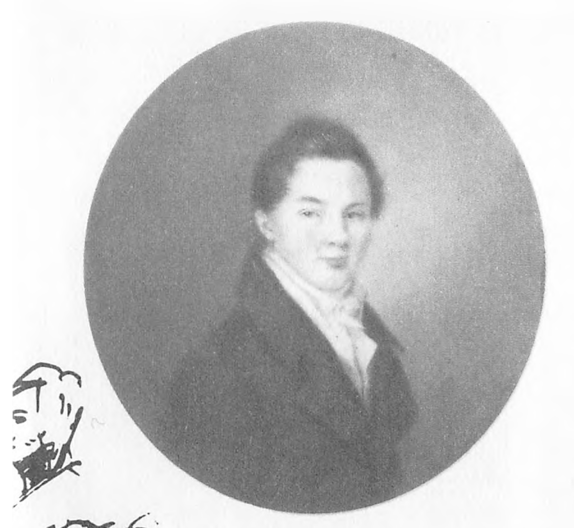


Л. С. Пушкин (брат поэта). А. О. Орловский. Первая половина 1820-х гг.



Царское Село. Лицей.
А. А. Тон. 1822

А. А. Дельвиг.
В. П. Лангер. 1830

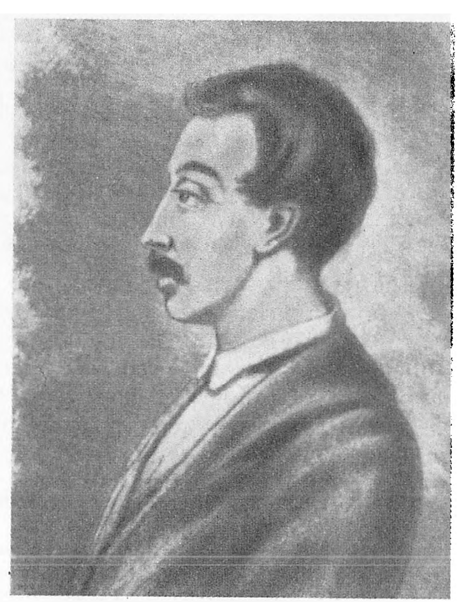


И. И. Пущин.
Ф. Верне. 1817





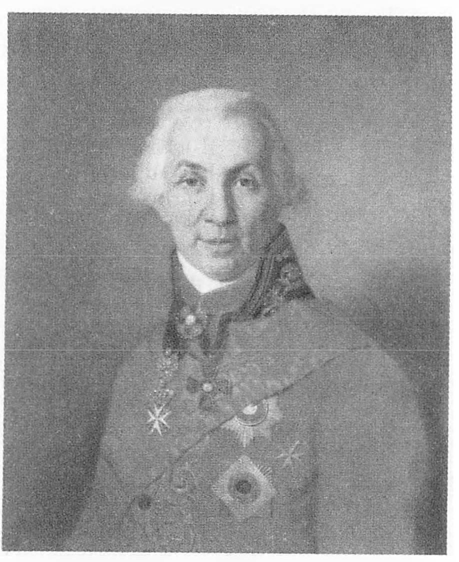
А. М. Горчаков.
Неизвестный художник.
1810-е гг.



В. К. Кюхельбекер.
Гравюра И. И. Матюшкина
с акварели П. Л. Яковлева. 1820-е гг.



Н. М. Карамзин.
А. Г. Венецианов. 1828



Г. Р. Державин.
В. Л. Боровиковский. 1811

Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Разрушительный скептицизм Раевского сыграл, вероятно, свою роль и в разочаровании, которое в это время начал испытывать Пушкин в плодотворности революционных путей действия. На Западе революция была повсюду подавлена, царствовала неистовая реакция, руководимая "Священным союзом"*; многие из энергичнейших декабристов теряли веру в осуществимость своих целей путем военной революции.

Что такое военная революция? Несознательные солдатские массы, руководимые заговорщиками-офицерами, свергают господствующую власть и устанавливают порядок, намеченный заговорщиками. Таким именно путем была введена конституция в Испании, в Неаполе. При первом же напоре реакционных сил солдаты испуганно отошли в сторону, и революция была легко подавлена. Революционеры начинали сознавать, что покорные командирам солдатские массы, идущие против власти без собственного желания, — сила очень ненадежная. Пушкину его роль революционного поэта начинала все более казаться бесплодной, в письмах он пренебрежительно отзывался о своем "либеральном бреде" и писал с горечью:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

* "Священный союз" — союз реакционных монархов, организованный в 1815 году для подавления революционного движения в Европе. Организатором и вдохновителем союза был Александр I.

Пушкин писал на юге очень много. Он в это время, как сам сознается, "с ума сходил от Байрона". Все поэмы, написанные Пушкиным на юге, — "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Братья-разбойники" — пропитаны влиянием Байрона, рисуют мрачных, разочарованных героев с могучими страстями и глубокими переживаниями. Увлечение Байроном в то время было всеобщим.

Поэмы Пушкина, написанные великолепными стихами, полные роскошных, ярко художественных картин, имели успех огромный; критика пела ему восторженные хвалы, публика заучивала поэмы наизусть. Популярность Пушкина росла с каждым годом.

Еще в Кишиневе Пушкин написал антирелигиозную поэму "Гавриилиада". Эта поэма, конечно, не только не могла быть напечатана, но Пушкину нужно было тщательно скрывать свое авторство.

В Одессе Пушкин начал писать одно из самых значительных своих произведений — роман "Евгений Онегин".

Кишиневские друзья, навещавшие Пушкина в Одессе, замечали, что он с каждым месяцем становится мрачнее и раздраженнее. Отношения его с графом Воронцовым не ладились. Граф Воронцов выделялся среди тогдашних русских администраторов своей культурностью, энергией и деловитостью. Новороссийский край обязан ему многими полезнейшими мероприятиями. Но это был интриган и эгоист до мозга костей, холодный и вероломный, с самым мелочным самолюбием, любивший лесть и пресмыкательство. Пушкин числился мелким служащим в канцелярии Воронцова, а между тем вел себя независимо, требовал обращения с собой как с равным, не льстил Воронцову, не восторгался им, как другие служащие — все на подбор прекрасно воспитанные, изящно-почтительные молодые люди. Воронцов начинал обходиться с Пушкиным все холоднее и высокомернее. Он решил указать ему его настоящее место.

В мае 1824 года Воронцов послал Пушкину официальное предписание, как служащему своей канцелярии, отправиться в уезды и собрать сведения о появившейся там саранче, равно как и о мерах, принимаемых к ее уничтожению. Пушкин пришел в бешенство. Никакой действительной службы в канцелярии он не нес, а на получаемые семьсот рублей в год смотрел, по собственному выражению, "не как на жалование чиновника, но как на паек ссыльного невольника". Полученная командировка говорила, что Воронцов хочет превратить его в настоящего чи-

новника и заставить нести службу в его канцелярии, сделав невластным в своих занятиях и времени. Пушкин хотел отказаться от командировки. Друзья уговорили его этого не делать. Пушкин поехал, а воротившись, написал, как рассказывали, такой рапорт Воронцову:

Саранча
Летела, летела —
И села.
Сидела, сидела,
Все съела
И вновь улетела.

Пушкин немедленно подал прошение об отставке и решил жить литературным трудом.

Друзьям он писал:

"Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения начальника, мне надоело, что со мною в моем отечестве обращаются с меньшим уважением, чем с первым английским шалопаем... Воронцов видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое".

Подневольное положение ссыльного, притеснения Воронцова, невозможность свободного творчества из-за цензурного гнета — все это постепенно привело Пушкина к решению бежать из России. В январе 1824 года он писал брату Льву:

"Осталось мне одно — взять трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь становится мне невтерпеж".

Он стал подготовлять побег на корабле в Константинополь.

Некоторые из друзей помогали ему. Но побег не состоялся. Почему? Сам Пушкин так рассказывал об этом, обращаясь с прощальным приветом к покидаемому морю:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован,
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Судя по всем данным, страсть, которая в то время могуче владела Пушкиным, была любовь к графине Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, жене его начальника. И, по-видимому, лю-

бовь эта не была безответной. Воронцов это замечал и проникался еще большей враждою к Пушкину. Доходили до него и ядовитые эпиграммы, которые на его счет писал Пушкин, — в таком, например, роде:

Полу-герой, полу-невежда,
К тому ж еще полу-подлец!..
Но тут однако ж есть надежда,
Что полный будет наконец.

Так как Пушкин числился по министерству иностранных дел, то прошение его об отставке отправлено было в Петербург. Между тем Воронцов не дремал. Одно за другим он слал в Петербург донесения на Пушкина. Пушкин держался в Одессе очень осторожно, и это должен был признать сам Воронцов. Но он старался уверить правительство, что одесское общество крайне для Пушкина опасно, что оно может заразить его "заблуждениями и опасными идеями", что очень полезно было бы удалить Пушкина от лести его поклонников, кружащих ему голову и внушающих молодому человеку мысль, что он замечательный писатель, "в то время как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого можно сказать очень мало, — лорда Байрона".

Пушкин спокойно ждал отставки. А тучи над его головой сгущались все плотнее. Московская полиция перехватила его письмо к приятелю, где Пушкин писал об очень малой убедительности доводов в пользу существования бога и бессмертия души. И вот Воронцов получил из Петербурга бумагу: министр иностранных дел доводил до сведения Воронцова, что государь император на основании всех сведений, полученных им о Пушкине, убеждается, что Пушкин, к несчастию, "слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом выступлении его на общественное поприще".

Предписывалось исключить Пушкина из службы за дурное поведение и без отлагательства выслать в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства.

Пушкин был ошеломлен, когда ему было объявлено царское решение, — ничего такого он не ожидал. И всех решение это поразило и возмутило своей строгостью, в том числе графиню Воронцову. 30 июля 1824 года одесский градоначальник отправил Пушкина в Псковскую губернию.

В Михайловском

Пушкин ехал, по приказу начальства нигде не останавливаясь, и 9 августа прибыл в имение родителей, село Михайловское. Там он застал в сборе все семейство. Отец его пришел в ужас, когда узнал, что сын его приехал как ссыльный, и очень испугался, как бы и ему самому по этому случаю не пришлось испытать каких-нибудь неприятностей.

Над Пушкиным было предписано учредить секретный надзор, но ни один из окрестных помещиков не согласился взять на себя эту обязанность. Тогда губернатор обратился к Сергею Львовичу как к человеку, "известному в губернии как по своему добронравию, так и честности". Сергей Львович поспешил согласиться и обещался иметь "бдительное смотрение и попечение за сыном своим".

Жизнь Пушкина превратилась в ад. Отец шпионил за ним, пилил с утра до вечера, упрекал, что он проповедует безбожие сестре Ольге и брату Льву. Пушкина взяло такое омерзение, что он совершенно перестал бывать дома — все время проводил верхом в поле или у соседней помещицы П. А. Осиповой, а домой приезжал только ночевать.

Вся душа его рвалась на юг, в Одессу. "Бешенство скуки пожирает мое глупое существование, — писал Пушкин одной своей знакомой. — Все, что напоминает мне о море, вызывает у меня грусть, шум падающего ручья буквально доставляет мне страдание; я думаю, что ясное небо заставило бы меня заплакать от бешенства, но славу богу: небо у нас сивое, а луна — точная репа".

Дело тут было, однако, вовсе не в ясности южного неба и не в море. Дело было в той любимой, которую Пушкин оставил в Одессе и к которой горько рвался душою, мучаясь смутной ревностью и не в силах примириться с неожиданной разлукой.

Иногда к Пушкину приходило из Одессы письмо, запечатанное печатью с какими-то странными буквами на неизвестном языке; совсем такая же печать была на перстне Пушкина, с которым он приехал из Одессы и который не снимал с пальца. Когда приходило такое письмо, Пушкин запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого к себе не впускал.

Отношения Пушкина с отцом становились все напряженнее. Он пришел к Сергею Львовичу и попросил разрешения объясниться откровенно. Такая просьба привела отца в негодование, он рассердился, заплакал, закричал. Пушкин молча поклонился, сел верхом и уехал. Отец призвал младшего сына Льва и запре-

тил ему иметь какое-либо общение "с этим чудовищем, с этим сыном, поруганием природы".

Пушкин узнал об этом; голова его закипела. Он пошел к отцу, застал его вместе с матерью и высказал им все, что имел на сердце целых три месяца. Говорил горячо, волнуясь и размахивая руками. Отец выбежал из комнаты и стал кричать, что сын его бил, хотел прибить, замахнулся, мог прибить! Пушкин утверждал, что ничего такого не было. Сергей Львович, узнав об этом, презрительно усмехнулся:

— Экой дурак, в чем оправдывается! Да он бы еще осмелился меня бить! Да я бы связать его велел!.. Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками? Он убил отца словами!

Пушкин сел и написал прошение псковскому губернатору:

"Важные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили его мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей".

Петербургские друзья, узнав об этом прошении, разволновались. Им удалось остановить подачу прошения. Дело кончилось тем, что в половине ноября 1824 года Сергей Львович отказался от взятого им на себя полицейского надзора за сыном и со всей семьей уехал в Петербург.

Пушкин остался в Михайловском один.

Почти два года он провел в деревне в полном уединении со своей старой няней Ариной Родионовной. Утром вставал и брал ледяную ванну, летом купался в речке и потом садился писать. Письменного стола у Пушкина не было, он писал на ободранном ломберном столе, чернильницей служила помадная банка. Вообще обстановка была убогая, у деревянной кровати одной ножки не хватало, ее заменяло полено. Обедал Пушкин поздно, после обеда ездил верхом или стрелял из пистолета в цель: он не забывал об Американце—Толстом и продолжал готовиться к дуэли с ним. Вечером Пушкин играл от скуки сам с собою на бильярде или слушал сказки няни. "И вознаграждаю тем, — писал он друзьям, — недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма... Няня — оригинал няни Татьяны; она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно".

Няня нежно любила Пушкина, болела за него душою, ухаживала за ним, как за ребенком, журила, утешала в горе. Пушкин вспоминает:

Бывало,
Ее простые речи и советы,
И укоризны, полные любовью,
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой, — я тогда еще
Был молод и ожесточен...

Никогда не знавший материнской любви и ласки, Пушкин очень ценил заботливость о нем няни и относился к ней с чисто сыновней нежностью.

В Михайловском няня Арина Родионовна заведовала домашним хозяйством. Была она с полным лицом, вся седая, медлительная в движениях. При случае не отказывалась выпить.

Зимний вечер, за окнами воет вьюга, горит сальная свеча. Сидят они вдвоем — Пушкин на лежанке, няня за прялкой. На душе у Пушкина грустно.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

В праздники Пушкин иногда надевал русскую красную рубаху, подпоясывался ремнем и отправлялся в соседний Святогорский монастырь на ярмарку; сидел с нищими слепцами, слушал и записывал их песни о Лазаре, об Алексее, человеке божием.

С помещиками-соседями Пушкин не знался и вел знакомство только с Прасковьей Александровной Осиповой, помещицей соседнего села Тригорского. Она была женщина уже немолодая, образованная и неглупая. Пушкин очень ее любил и до конца жизни поддерживал с нею дружественные отношения. У Осиповой от первого брака был сын Алексей Вульф, тогда дерптский студент, и две дочери — Анна Николаевна, ровесница Пушкина, и Евпраксия (Зизи); при приезде Пушкина она была четырнадцатилетним подростком и на его глазах расцвела в прелестную девушку. Жили в Тригорском или наезжали туда и другие родственницы. Целый цветник молодых девушек. Пушкин впоследствии так вспоминал их:

...вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами...

Веселый смех, песни, музыка. Пушкин среди этих девушек, влюбленный во всех сразу и сам всеми обожаемый; он сыпал им направо и налево сверкающие стихи, полные хмеля минутной влюбленности.

...по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

Так впоследствии писал он одной из этих барышень.

Однако увлечения эти были поверхностные, больше забава от безделья, и не рассеивали тоски и скуки, которыми томился Пушкин. Он всегда любил шум, движение, большое общество, напряженную умственную атмосферу. Письма его из Михайловского пестрят такими признаниями: "у меня хандра и нет ни одной мысли в голове", "Михайловское душно для меня", "у нас очень дождик шумит, ветер шумит, лес шумит, шумно, а скучно" и т. п. В душе была злоба за непрекращающиеся гонения правительства, перебрасывавшего его с места на место. Он писал своему другу, князю П. А. Вяземскому:

"Грех гонителям моим! И я, как Андрей Шенье*, могу ударить себя в голову и сказать: "кое-что было тут!" Извини эту поэтическую похвальбу и прозаическую хандру".

И поэту Языкову он писал:

...злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.

Условия жизни, созданные Пушкину властью, становились для него все более невыносимыми.

И опять перед Пушкиным, как единственный выход из положения, стало вырисовываться бегство за границу. "Что мне в России делать?" — писал он Плетневу. И Вяземскому писал: "Ты, который не на привязи, — как можешь ты оставаться в России? Мы живем в печальном веке. Мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. Когда-нибудь спросишь с милою улыбкою: где же мой поэт? В нем дарование приметно. Ус-

* Андрей Шенье (Андре Шенье) — французский поэт, казненный во время французской революции, в 1794 году.

лышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится, — ай да умница!"

Пушкин энергично взялся за организацию побега. Ему согласился помогать Алексей Вульф, дерптский студент. У Пушкина была на ноге "аневризма" (расширение вен); он подал прошение о разрешении ему поехать лечиться за границу или, в случае невозможности, — в Дерпт, к знаменитому хирургу Мойеру; оттуда Пушкин рассчитывал пробраться за границу под видом слуги, сопровождающего Алексея Вульфа. Но про болезнь Пушкина узнали его петербургские друзья, узнали родители и поспешили вмешаться. Мать Пушкина подала императору патетическое прошение с просьбой не дать погибнуть ее нежно любимому сыну. Пушкину было разрешено приехать для лечения в Псков, а Мойер, по просьбе Жуковского, согласился приехать в Псков, чтобы сделать Пушкину операцию. Пушкину с трудом удалось отделаться от этого визита. Надежды на побег рухнули.

Иван Пущин, лицейский друг Пушкина, по предписанию тайного общества переехал для революционной работы из Петербурга в Москву. В Москве он служил, как в последнее время и в Петербурге, советником гражданской палаты. В конце 1824 года Пущин собрался на рождество в Петербург и Псков для свидания с родными и решил проведать также Пушкина в его псковской ссылке. На вечере у московского военного генерал-губернатора он сообщил о своем намерении Александру Ивановичу Тургеневу, незадолго до того приехавшему в Москву. Тургенев изумился:

— Как! Вы хотите ехать к Пушкину? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и политическим, и духовным?

— Знаю. Но знаю также, что не могу не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении. Не пустят — уеду назад.

— Не советовал бы. Впрочем, делайте как знаете.

Дядя Пушкина, Василий Львович, пришел в ужас, когда узнал, что Пущин едет к Пушкину. Он тоже всячески старался отговорить его от поездки, со слезами на глазах просил расцеловать племянника, но послать ему с Пущиным письмо воздержался.

В середине января 1825 года Пушкин был разбужен утром звоном колокольчика на дворе и храпением лошадей. Бросился к окну. Мимо во весь дух пронеслась испуганная тройка, ямщика на облучке не было, двое людей в санях изо всей силы натягивали вожжи, стараясь удержать взбесившихся лошадей. В одном из

этих людей Пушкин, не веря глазам, узнал Пущина. Он все забыл; босой, в одной рубашке выскочил на крыльцо. Лошади врезались в огромный сугроб на дворе и стояли, тяжело дыша. От саней к крыльцу бежал Пущин в шубе, осыпанной снегом; следом за ним шел его служитель Алексей. Друзья бросились друг другу в объятия. Пущин схватил Пушкина в охапку и внес в дом. Смотрели друг на друга, целовались, молчали. Пушкин забыл, что он почти голый. Пущин — что весь в снегу. Было около восьми часов утра. Прибежала няня Арина Родионовна. Удивилась, в каком они виде, но сразу поняла, что приехал близкий друг Пушкина, и бросилась обнимать приезжего.

Принесли таз, кувшин. Пущин умывался. Друзья засыпали друг друга вопросами без связи и толка. Наконец понемножку успокоились. Подали кофе. Закурили трубки. Беседа пошла более связная. Пущин рассказал, что когда они, недалеко уже от усадьбы, спускались с горы, сани в ухабе так наклонились набок, что ямщик вылетел из саней. Лошади испугались и понесли в гору, с маху вломились в притворенные ворота, пронеслись через не расчищенный двор, и только огромный сугроб остановил их.

Пущин приглядывался к Пушкину. Наружно он мало изменился, только щеки обросли густыми бакенбардами, но стал серьезнее. С восторгом слушал Пушкин рассказ Пущина о его работе в качестве надворного судьи, об изумлении, которое вызывает у всех его служба в такой всеми презираемой должности. Осенью этого года, в стихотворении "19 октября", Пушкин так отозвался на рассказ Пущина:

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан.

Незаметно разговор перешел на тайное общество. До этого времени Пущин скрывал от Пушкина свое участие в нем. Теперь неясно намекнул, что состоит его членом. Пушкин взволнованно вскочил со стула. Он вспомнил своего кишиневского друга, майора Владимира Раевского: его арестовали еще при Пушкине, пятый год держали в Тираспольской крепости и ничего не могли выпытать.

— Верно, все это в связи с майором Раевским!— воскликнул Пушкин. Потом, успокоившись, прибавил: — Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям.

Подали обедать. Пущин привез с собою три бутылки шампанского. Начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей. Выпили одну бутылку, откупорили вторую. Попотчевали няню.

Пущин привез Пушкину в подарок комедию Грибоедова "Горе от ума", тогда еще не разрешенную к печати и ходившую в списках. После обеда, за чашкою кофе, Пушкин стал читать ее вслух.

Вдруг он выглянул в окно, смутился и торопливо раскрыл толстый том житий святых. В комнату вошел низенький рыжеватый монах и отрекомендовался игуменом Ионой, настоятелем соседнего Святогорского монастыря. Пушкин попросил его сесть. Монах извинился, что помешал их беседе, потом обратился к Пущину:

— Узнал я ненароком, что приехал к Александру Сергеевичу Пущин. Думаю, не его ли превосходительство, генерал Павел Сергеевич Пущин, уроженец великолуцкий? Хорошо знаком, имею сию честь. А это вы...

Ясно было, что настоятелю донесли о приезде Пущина и что монах хитрит. Разговор завязался о том, о сем. Подали чай. Пушкин велел принести рому. Святой отец, видимо, был большой охотник до этого напитка. Выпил два стакана чаю, не забывая о роме, встал, опять начал извиняться, что прервал их товарищескую беседу, и ушел.

Пущину было больно за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Пущин высказал свою досаду, что накликал это посещение. Пушкин пожал плечами:

— Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня. Я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!

И стал продолжать читать "Горе от ума". Вдруг запахло угаром. Пущин, не выносивший угара, вышел узнать, откуда эта беда. Оказалось, няня, думая, что гость останется ночевать, велела протопить внутренние комнаты, которые не отапливались с самого начала зимы. Пущин распорядился открыть трубы, запер дверь в натопленные комнаты, открыл форточку в комнате Пушкина. И тут заметил, какая его комната маленькая, как убого обставлена, и сообразил, что все свое время Пушкин вынужден проводить в одной этой тесной комнатке. Пущину стало очень горько за друга: как хоть в таких пустяках не успокоить его, как не устроить так, чтобы ему было где подвигаться в зимнее ненастье! В зале был бильярд; это могло бы служить для него развлечением. Пущин с досадою упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Заступничество

Пущина оказало действие: после его посещения перестали экономничать дровами.

Время было заполночь. Подали закусить. На прощание хлопнула третья бутылка шампанского. Ямщик уже запряг лошадей, колокольчик брякал у крыльца. На часах ударило три. Друзья чокнулись стаканами, но грустно пилось, как будто оба чувствовали, что пьют вместе в последний раз. Пущин молча набросил шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил ему вслед. Пущин глядел на него, ничего не слыша. Кони рванули. Пушкин стоял на крыльце со свечою в руке. Пущину послышалось:

— Прощай, друг!

Это была их последняя встреча. В конце этого же 1825 года, после восстания 14 декабря, Пущин был арестован и сослан на каторгу. Там в начале 1827 года он получил от Пушкина следующее приветствие:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье!
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Годы одинокой, скудной впечатлениями жизни в деревне оказались очень благоприятными для творчества Пушкина. Он писал много. Бессознательная подражательность исчезала; требования к себе росли; дарование быстро крепло и углублялось. "Я чувствую, — писал Пушкин, — что мои духовные силы достигли полной зрелости, я могу творить".

Совершенно изменилось его отношение к искусству. Раньше творчество было для Пушкина беззаботно-веселой, часто озорной игрой. В посвящении к "Руслану и Людмиле" он называет свою поэму "игривым трудом" и тешит себя надеждой, что девушка с трепетом любви посмотрит украдкой на его "грешные песни". В "Онегине" он вспоминает:

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я Музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,

Грозы полуночных дозоров:
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась —
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

Теперь — теперь он перестает гордиться. Он с болью вспоминает, как неразборчив был в выборе тем и воспеваемых лиц:

Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно;
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?

Искусство встает теперь перед ним во всей своей глубокой серьезности и во всей силе ответственности, налагаемой на художника:

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво...

Полное выражение этот новый взгляд Пушкина на искусство нашел в стихотворении "Пророк", написанном в Михайловском в 1826 году. Под видом библейского пророка Пушкин рисует поэта и глубокое преображение его во время творчества. Отверзаются "вещие" глаза поэта, чутким ухом он улавливает сокровеннейшие звуки жизни, грешный язык, празднословный и лукавый, сменяется мудрым жалом змеи, сердце превращается в пылающий уголь. И бог-искусство приказывает поэту идти и "глаголом жечь сердца людей".

Стихотворение это обычно толкуют в смысле призыва поэта к нравственному учительству. Но Пушкин считал учительство совершенно не входящим в круг истинной поэзии. "Цель поэзии — поэзия", — заявлял он Жуковскому. И через два-три года писал: "Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело. Господи Исусе! Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве — их одна поэтическая сторона". Для Пушкина искусство само по себе, в светлом своем величии и проникновении в глубочайшие тайны мира, представлялось высшею, ни с чем не сравнимою ценностью жизни.

В октябре 1824 года Пушкин окончил в Михайловском поэму "Цыганы", начатую на юге. В это время байронизм был у нас в полном разгаре, и царствованию его предстояло тянуться еще долго. Разочарованный, сильный душою одиночка, презирающий жизнь и человечество, томящийся желанием великой свободы, способный не дрогнуть перед самым ужасным злодейством, испепеленный пламенными страстями, стоял поэтическим героем перед тогдашним читателем.

Нужно ясно представить себе тогдашнее поголовное увлечение подобными карикатурами байроновских героев, чтоб оценить все значение того беспощадного развенчания, которое совершил Пушкин над героем "Цыган" — загадочным, разочарованным, ищущим свободы, а в сущности эгоистическим и мелко мстительным Алеко. Отец зарезанной им жены-цыганки говорит ему:

Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; — оставь же нас,
Прости! да будет мир с тобою.

В Михайловском же Пушкин написал большую вещь, над которой работал долго и любовно, — историческую трагедию "Борис Годунов". Наша литература до того времени не имела трагедий. Театр пробавлялся изделиями "российских Расинов" — ходульными подражаниями ложноклассическим французским образцам, не имевшими никакого художественного значения. Пушкин задался целью повернуть театр на путь, проложенный Шекспиром.

"Твердо уверенный, — пишет он, — что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира". "Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов и в простоте..." "Я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедий Расина". "Дух века требует великих перемен и на сцене драматической".

Осенью 1825 года Пушкин окончил "Бориса". Перечитал его самому себе вслух, бил в ладоши и кричал в восторге:

— Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

"Жуковский говорит, — писал он Вяземскому, — что царь меня простит за трагедию, — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпаком юродивого. Торчат!"

И правда, в трагедии Пушкина было много такого, что при внимательном чтении должно было заставить правительство насторожиться. Прежде всего Борис, взошедший на престол через труп законного наследника, должен был напомнить об Александре I, вступившем на трон через труп убитого с его согласия императора-отца. Но и помимо этого самодержавие — и притом не только Бориса, но и его вполне "законных" предшественников — рисовалось Пушкиным как форма правления, держащаяся насилием.

Борис говорит:

Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и его свирепый внук.

И против Бориса — самозванец. Его посланец Гаврила Пушкин, предок поэта, говорит годуновскому воеводе Басманову:

Перед тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением — да, мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?

В Михайловском Пушкин продолжал писать "Онегина", начатого в Одессе. Закончил третью главу, написал четвертую и пятую. В середине декабря 1825 года в два утра написал поэму "Граф Нулин". Пустенький анекдот, не имеющий серьезного значения, — так и теперь скажет иной. Между тем поэмка эта имела в свое время очень важное значение, — это был первый решительный шаг Пушкина в сторону реализма — изображения жизни в ее подлинном, не приукрашенном виде: "русский француз", вертопрах Нулин, "добродетельная" помещица Наталья Павловна, ее муж, степной собачник, и яркое, лишенное роман-

тических прикрас описание быта. Старозаветная критика встретила поэму яростным воем и насмешками. Пушкин, например, описывает, как Наталья Павловна сидит у окна с романом в руках:

Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали;
Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже:
Казалось, снег итти хотел...

Каким художественно-революционным явлением были для того времени такого рода описания, показывает негодующий и насмешливый отзыв Надеждина в "Вестнике Европы" по поводу приведенного отрывка. "Здесь, — писал Надеждин, — изображена природа во всей наготе своей. Жаль только, что сия мастерская картина не дописана. Неужели в широкой раме черного барского двора не уместились бы две-три хавроньи, кои, разметавшись по-султански на пышных диванах топучей грязи, могли бы даже сообщить нечто занимательное изображенному зрелищу?.. Почему поэт, представляя бабу, идущую развешивать белье через грязный двор, уклонился несколько от верности, позабыв изобразить, как она приподнимала подол своей пестрой понявы? Это едва извинительно в живописце великом и всеобъемлющем!"

19 ноября (по старому стилю) 1825 года неожиданно умер император Александр I. Наследником считался брат его Константин, но он давно уже отрекся от прав на престол. Однако это почему-то хранилось в тайне. Царем должен был сделаться следующий по возрасту брат, Николай. Войска сначала были приведены к присяге Константину, и Николай сам присягнул ему; потом стали приводить к присяге Николаю. Члены тайного общества решили воспользоваться получившимся замешательст-

вом и путем военного переворота достичь ограничения или даже свержения самодержавия. Они внушили войскам, что Константин устранен насильно, и 14 декабря вывели их на Сенатскую площадь против Николая.

На победу они не рассчитывали. Большинство их шло на восстание с настроением, незадолго до того выраженным одним из главных заговорщиков, поэтом К. Ф. Рылеевым. В "Исповеди Наливайки" он писал:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю.

Только таким настроением заговорщиков можно объяснить иначе совершенно непонятное их поведение на Сенатской площади. Построенные в каре (квадратом) мятежные войска бездеятельно стояли с ружьем к ноге до самых сумерек и дали время Николаю подвести верные войска, установить пушки и картечью разгромить мятежников.

"Чем же объясняется нецелесообразное поведение заговорщиков в день четырнадцатого декабря? — пишет Плеханов. — На этот вопрос можно правильно ответить только указанием на то, что они сознательно шли на мученичество. Если смотреть на события 14 декабря как на военную манифестацию, предпринятую людьми, не успевшими приготовиться к серьезной битве и решившимися погибнуть для того, чтобы своею гибелью указать путь будущим поколениям, то мнимая непоследовательность и нецелесообразность их действий очень просто объяснится нежеланием усиливать кровопролитие и увеличивать число жертв. Если же, взглянув на дело с этой точки зрения, мы спросим себя, достигнута ли была главная цель восставших, то мы не колеблясь ответим утвердительно, потому что, — как очень хорошо сказал Герцен, — пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение".

Начались аресты заговорщиков. Учреждена была следственная комиссия, и в ней самое деятельное участие принял сам новый царь.

Пушкин не был привлечен к следствию. Правда, он и не был членом тайного общества. Но почти у всех арестованных находили его революционные стихи, все в один голос показывали, что на формирование их революционных настроений большое влияние оказали стихи Пушкина. На одном собрании южных заговорщиков, где обсуждался вопрос о цареубийстве, чтение пушкинского "Кинжала" вызвало такой энтузиазм, что целый ряд лиц заявил готовность взять на себя убийство царя. На основании всех данных для правительства совершенно ясно вырисовывалась огромная агитационная роль Пушкина в подготовке восстания. Можно удивляться только одному: почему не тронули Пушкина, почему не подвергли его жестокой каре как одного из самых опасных вдохновителей движения? Высказывается предположение, что Карамзин и Жуковский, стараясь спасти Пушкина, подали Николаю мысль — не лучше ли попытаться привлечь Пушкина на свою сторону и использовать его перо на пользу правительству? Николай имел возможность убедиться, какую грозную силу представляет собой Пушкин.

Окончилось следствие. Пятерых главных заговорщиков, в их числе Пестеля и Рылеева, повесили, более сотни сослали в Сибирь на каторгу. Пушкин был знаком с большинством из повешенных, знал многих из сосланных. Расправа с ними произвела на него впечатление потрясающее. "Повешенные повешены, — писал он, — но каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей ужасна".

Еще долго впоследствии Пушкин рисовал в своих черновиках виселицу с пятью трупами и задумчиво приписывал: "И я бы мог..." "И я бы мог..."

3 сентября 1826 года Пушкин проводил вечер у соседок в Тригорском. Стояла чудесная погода. Пушкин был очень весел, гулял с барышнями; в одиннадцатом часу вечера они проводили его по дороге в Михайловское.

А на рассвете в Тригорское прибежала старая няня Пушкина Арина Родионовна, растрепанная, испуганная и рыдающая. Она сообщила, что этой ночью прискакал в Михайловское какой-то не то офицер, не то солдат, забрал Пушкина и куда-то увез с собою. Няню стали расспрашивать, был ли обыск, взяли ли какие-нибудь бумаги.

— Нет, родные, никаких бумаг не взяли и ничего в доме не ворошили. После только я сама кой-то поуничтожила.

— Что же именно?

— Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеич кушать любил, а я так терпеть его не могу; и дух-то от него, от сыра этого немецкого, до того скверный...

Пушкин тем временем мчался в тележке с фельдъегерем в Москву. Ехали день и ночь. 8 сентября приехали.

Царь со всем двором по случаю коронования находился в это время в Москве. Пушкину не дали ни отдохнуть, ни переодеться и побриться; продрогшего, забрызганного грязью, его доставили прямо во дворец и ввели в кабинет к Николаю.

Николай встретил Пушкина очень милостиво. Между ними произошел длинный разговор. Царь спросил:

— Пушкин, принял бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?

Пушкин смело ответил:

— Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня.

Николай спросил, переменился ли его образ мыслей и дает ли он ему слово думать и действовать иначе, если ему дана будет свобода. Пушкин долго молчал, но наконец дал обещание сделаться другим.

Потом царь спросил:

— Что ты теперь пишешь?

— Почти ничего, ваше величество, цензура очень строга.

— Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?

— Цензура не пропускает и самых невинных вещей.

— Ну хорошо, так я сам буду твоим цензором. Присылай мне все, что напишешь.

Николай вывел за руку взволнованного Пушкина из кабинета и сказал толпившимся в приемной царедворцам:

— Господа! Вот вам новый Пушкин. О старом забудем.

Но это были со стороны Николая только слова. Все поведение Пушкина ясно показало царю, что он вовсе не стал "новым": не унижается, не отрекается от прошлого, не клеймит проклятиями сообщников, не бросается в благодарном порыве навстречу прощению, а колеблется, раздумывает... Было ясно, что из него никогда не выйдет Державин, Карамзин или Жуковский, никогда с искренним обожанием он не преклонится перед "священною особою" государя императора и никогда нельзя будет спокойно положиться на него.

Под царской опекой

Пушкин получил свободу и остался жить в Москве.

Немедленно по приезде он поручил своему приятелю Соболевскому отправиться к Американцу — Толстому, к дуэли с которым готовился так долго и тщательно. Соболевский должен был передать Толстому от Пушкина вызов на дуэль. К счастью, Толстого в то время в Москве не оказалось. А затем приятелям удалось помирить врагов.

Москва встретила Пушкина восторженно. Когда он в первый раз появился в театре, по всем рядам пронесся гул, повторявший его имя; все взоры, все бинокли были обращены на него, никто не смотрел на сцену. На собраниях и балах всеобщее внимание устремлялось на Пушкина, дамы кольцом окружали его, без перерыва выбирали в котильоне и мазурке. По утрам приемная Пушкина была полна посетителей. Его знал весь город, все им интересовались. Самые выдающиеся люди считали за честь познакомиться с ним.

12 октября, днем, Пушкин читал у Веневитиновых, в Кривоколенном переулке близ Мясницкой, свою трагедию "Борис Годунов". Слушать его собрались молодые московские писатели и журналисты. Один из них, профессор истории М. П. Погодин, так вспоминает про это чтение: "Какое действие произвело оно на всех нас, передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией. Наконец, надо себе представить саму фигуру Пушкина. Ожидавшийся нами величавый жрец высокого искусства, — это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем поэтическую, увлекательную речь!

Первые явления выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила... А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков,

Да ниспошлет господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной...

мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла...

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью на Волге на востроносой своей лодке, предисловие к "Руслану и Людмиле": "У лукоморья дуб зеленый"... О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм".

Последующие годы Пушкин жил то в Москве, то в Петербурге. Он с упоением отдавался удовольствиям большого города. Без устали танцевал на балах, участвовал в кутежах.

Это, однако, не мешало ему работать очень много. Одна за другою писались главы "Евгения Онегина". В слякотную осень 1828 года Пушкин в две-три недели написал всю "Полтаву". Писал он ее действительно "и звуков, и смятенья полн". Писал дни напролет. Стихи грезились ему даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда его прохватывал голод, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и там, он ел наскоро, что попало, и убегал домой записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Мысли, которые не успевали укладываться в стихи, он записывал прозою. Но потом тщательно все отделывал, зачеркивал, снова писал, снова зачеркивал. Вообще над произведениями своими Пушкин работал очень много.

Наружно Пушкин производил в это время впечатление человека, беспечно наслаждающегося жизнью. В обществе он попрежнему был веселым, озорным шалуном с звонким, заразительным хохотом и поражал всех неожиданными выходками. Но

в стихах его звучали глубоко пессимистические ноты. "Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?" "Холодный ключ забвенья, — он слаще всех жар сердца утолит" и т. п. В письмах его прорывались признания в глубокой тоске, владеющей им. Один из друзей Пушкина рассказывает: "Среди всех светских развлечений Пушкин порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая тяготили и душили его".

После возвращения своего из ссылки Пушкин держался по отношению к царю и правительству так, что ни в чем не мог бы вызвать упрека. Все донесения о нем секретных агентов были в таком роде: "Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть". Начальник жандармов Бенкендорф доносил императору: "Пушкин говорил в Английском клубе с восторгом о вашем величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье вашего величества".

И все донесения в таком роде.

До сих пор исследователи затрудняются определить, был ли в то время искренен переход Пушкина на сторону самодержавия, или у него была тут тонкая политическая игра.

Пушкин очень болезненно переживал перелом, происходивший в это время в его общественно-политических взглядах. Душа разрывалась в противоречиях. Он благоговейно преклонялся перед подвигом декабристов, горько болел за сосланных на каторгу, слал им в Сибирь ободряющий привет:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч ваш отдадут.

Рисовал себя в виде певца Ариона*, спасшегося от общего кораблекрушения:

Погиб и кормщик, и пловец —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Но для прежних гимнов у него теперь не было веры. Дело декабристов он считал безнадежно проигранным и самодержавие непоколебимо прочным. Приходилось принять самодержавие как факт; говоря словами Пушкина, "понять необходимость и простить оный в душе своей". И он старался уверить себя, что развертывавшиеся на его глазах проявления черной деятельности самодержавия — только случайные уклонения, что самодержавие способно сыграть в жизни страны некоторую культурную и организующую роль. В стихотворении "Стансы" он обращался к Николаю, не боясь прогневить его заступничеством за "бунтовщиков", и как бы намечал программу, осуществления которой он ждет от самодержавия:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

---

* Арион — древнегреческий поэт и музыкант. Мотив этого стихотворения взят из легенды об Арионе.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Как бы то ни было, но Пушкин держался по отношению к самодержавию в то время терпимо. Однако Николай относился к нему с глубочайшим недоверием. Во втором стихотворении "Стансы" Пушкин писал о царе:

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою...

Очень скоро Пушкину пришлось убедиться в совершенной призрачности тех "милостей", которые ему наобещал Николай. Милости эти, оказывалось, отнимали у Пушкина даже те права, которыми пользовался любой обыватель.

Посредником между Пушкиным и царем был жандармский генерал Бенкендорф, начальник знаменитого Третьего отделения* собственной его величества канцелярии — самый приближенный к царю человек. В Москве Пушкин прочел в кругу друзей своего "Бориса Годунова". От Бенкендорфа немедленно пришло указание, что без предварительного просмотра царем Пушкин не имеет права каким бы то ни было путем "распространять" свои произведения. Выходило, что Пушкин, будто бы поставленный в привилегированное сравнительно с другими положение, не мог даже прочесть своего произведения друзьям без предварительного разрешения!

Не желая затруднять царя, Пушкин несколько мелких своих стихотворений представил в общую цензуру. Бенкендорф поспешил уведомить его, что все произведения "блистательного пера вашего" должны раньше представляться ему на просмотр. Решив приступить к печатанию "Бориса Годунова", Пушкин послал свою пьесу на цензуру императору. Вскоре он получил от Бенкендорфа извещение, что император с большим удовольствием прочитал пьесу и на докладной записке о ней изволил написать:

"Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта".

Невежественный царь рекомендовал поэту в корне переработать гениальное произведение по его указаниям. Весь комизм этой дурацкой рекомендации мы оценим, когда вспомним, что

* Третье отделение императорской канцелярии заведовало государственной полицией и корпусом жандармов. Во главе его стоял шеф жандармов Бенкендорф.

главной целью Пушкина при писании "Бориса Годунова" была как раз реформа нашего театра. В недавнее время выяснилось, что Николай даже не прочел пьесы, Бенкендорф дал ее на отзыв в свою канцелярию; судя по всем данным, отзыв написал доносчик — журналист Булгарин, состоявший на службе в Третьем отделении. Этот-то отзыв, с рекомендацией переделать трагедию в роман, Николай и повторил в своей резолюции. Пушкин с горькой иронией ответил Бенкендорфу: "Согласен, что моя драматическая поэма более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь-император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное".

Совет самодержца есть приказание: напечатание пьесы пришлось отложить.

Пушкин готов был серьезно думать, что Николай почтил в нем вдохновенье и хотел освободить его мысль. В действительности же Николай хорошо помнил, что у каждого декабриста находили революционные стихи Пушкина, и единственная его цель была наложить на мысль Пушкина самые крепкие путы. Бенкендорф в одном письме к царю цинично выразил общую их мысль: "Пушкин — порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно".

Так началась опека жандарма и его злобного повелителя над гениальным поэтом, длившаяся всю жизнь Пушкина. Опекалась не только его литературная деятельность, но и каждый шаг его жизни. Официально Пушкин был совершенно свободен; но оказывалось, что даже из города в город он не имел права переехать без разрешения Бенкендорфа. Попросился Пушкин приехать из Москвы в Петербург. Бенкендорф разрешил, но предостерегающе прибавил: "Его величество не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано". Из Петербурга Пушкин поехал в Москву. Новый грозный запрос Бенкендорфа: "Поступок ваш принуждает меня просить вас уведомить меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову". И все время в таком роде. Получаешь как будто личное оскорбление, читая эти высокомерные запросы тупого жандарма гениальному поэту, словно озорному мальчишке.

Одно за другим возникали секретные следствия над Пушкиным. В его стихотворении "Андрей Шенье", описывавшем казнь поэта Шенье во время французской революции, цензурою не был пропущен один отрывок; кто-то этому отрывку дал заглавие "На

14 декабря". Два офицера, у которых найдены были списки, были привлечены к следствию. Привлечен был к делу и Пушкин, ему был учинен целый ряд допросов. Дело тянулось около двух лет. Пушкину наконец удалось доказать, что отрывок не имеет никакого отношения к декабрьским событиям и написан задолго до 14 декабря. В результате ему было строжайше запрещено "выпускать в публику" свои сочинения без предварительного разрешения цензуры, а сам он был отдан под секретный надзор полиции.

Не успело закончиться это дело, как новое было поднято против Пушкина, еще более серьезное. До правительства дошла наконец написанная Пушкиным в Кишиневе поэма "Гаврилиада", высмеивавшая евангельскую легенду о происхождении Христа. За такое богохульство Пушкину могло грозить вечное заточение в какой-нибудь из самых страшных монастырских тюрем. На многочисленных допросах Пушкин упорно отрицал свое авторство, но на душе его было очень неспокойно. Из стихотворения "Предчувствие" можно видеть, как устал в это время Пушкин от непрерывных преследований:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливой бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду...

Однако в конце концов по причинам, не вполне выясненным, дело было прекращено.

Поездка на Кавказ

К концу двадцатых годов близкие стали замечать в характере Пушкина некоторую перемену. Он менее охотно выезжал в свет, начал чувствовать потребность в своем угле, в семейной жизни.

В 1828 году на одном из московских балов он познакомился с шестнадцатилетней девушкой Натальей Николаевной Гончаровой. Это была московская барышня, все образование которой

заключалось только в умении хорошо говорить по-французски и прекрасно танцевать. Но была она красоты изумительной. Пушкин страстно влюбился в нее, был представлен ее родителям, стал бывать у Гончаровых. Рассказывают, что в это время Наталья Николаевна даже не читала Пушкина, вообще же всю жизнь была к поэзии глубоко равнодушна. Никакого духовного общения с нею у Пушкина не могло быть. Он созерцал ее, "благоговея богомольно перед святыней красоты", горел любовью, но чувствовал, что девушка к нему равнодушна, что ему нечем ее заинтересовать и увлечь, и был с нею застенчив, робок, как в первый раз влюбленный мальчик.

И вообще в семье Гончаровых он ощущал холод и стеснение. Матери, Наталье Ивановне, Пушкин не нравился. Ему не раз случалось проявлять вольнодумное отношение к религии и к умершему императору Александру I, а Наталья Ивановна была очень религиозна и к Александру относилась с благоговением. Несмотря на все это, Пушкин в конце апреля 1829 года посватался за Наталью Николаевну. Напрямик ему не отказали, но ответили, что надо подождать и посмотреть, что Наташа еще очень молода и т. п.

В ту же ночь Пушкин уехал на Кавказ в действующую армию.

В это время шла война России с Турцией. На кавказском фронте главнокомандующий Паскевич вторгся в пределы Турции и наступал на крепость Арзерум. В его армии служил командиром Нижегородского драгунского полка старинный друг Пушкина Николай Николаевич Раевский-младший, а адъютантом при Раевском состоял брат Пушкина, Лев. В конце мая Пушкин приехал в Тифлис, пожил там две недели и отправился нагонять армию. Догнал, представился Паскевичу и поселился в палатке Раевского.

Пушкин рвался принять участие в сражении. Очень скоро случай представился. Турецкая кавалерия напала на русские аванпосты. Услышав про это, Пушкин выбежал из палатки, вскочил на коня и умчался. Обеспокоенный Раевский послал двух своих офицеров отыскать Пушкина. Шла схватка казаков с турецкими наездниками, во фланг туркам скакали драгуны. Посланные офицеры увидели, что Пушкин отделился от драгун и, с пикой в руке, один, бешено мчится навстречу скачущим на него турецким всадникам. Подоспевший резерв из уланов заставил турок отступить. Посланные офицеры насильно вывели Пушкина из передовой цепи. Он остался этим очень недоволен.

Больше видеть сражение Пушкину не удалось. Турки при первом натиске обращались в бегство.

Пушкин из себя выходил, что турки не хотят принимать сражение.

Лагерная жизнь очень понравилась Пушкину. "Пушка, — рассказывает он, — подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских".

Разъезжал Пушкин на казацкой лошади, с нагайкой в руке. В черном сюртуке и с цилиндром на голове Пушкин представлял среди военных очень необычное зрелище. Солдаты считали его иноземным попом.

Армия дошла до Арзерума и 27 июня 1829 года взяла его без всякого сопротивления. Пушкин прожил в Арзеруме больше трех недель.

В городе появилась чума. Он решил уехать.

Паскевич удерживал Пушкина, предлагал быть свидетелем дальнейших предприятий. Но, видимо, Пушкину был уже совершенно ясен характер этих предприятий, и он распрощался с Паскевичем.

Возвращение

Было утро. У Гончаровых дети сидели в столовой за чаем, мать еще спала. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетела из прихожей калоша. Это Пушкин так торопливо раздевался. Он вошел и тотчас же спросил Наталью Николаевну. Но она не посмела выйти без разрешения матери. Разбудили Наталью Ивановну. Она приняла Пушкина в постели, — приняла молчаливо и очень холодно. С Наташей Пушкину удалось увидеться, но она отнеслась к нему тоже холодно и невнимательно. Пушкин оробел. У него не хватило решимости объясниться. И он уехал в Петербург со смертью в душе.

Порывался уехать куда-нибудь подальше, просился во Францию, в Италию. Если туда нельзя, то в Китай, — как раз в это время туда отправлялась русская миссия. И писал:

Поедем, я готов: куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса* не поет уже ночной гребец.

* Тассо — итальянский поэт.

Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную деву,
Или к ее ногам, ее младому гневу,
Как дань привычную, любовь я принесу?

В выезде из России Пушкину было отказано. Бенкендорф ему писал: "Государь-император не удостоил снизойти на вашу просьбу, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий".

Еще пятнадцатилетним мальчиком Пушкин писал, обращаясь к своей музе: "Что было бы со мною, богиня, без тебя?" И теперь, как всегда, от непрерывных тягот и дрязг жизни Пушкин спасался в поэтическом творчестве, в нем обретал он подлинную жизнь и подлинное счастье, которых у него так мало было в обыденной действительности. Он описывает, как венецианский гондольер плывет в вечерних сумерках по взморью и поет:

Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и тихой музы полн,
Умеет услаждать свой путь над бездной волн.
На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокой,
Как он, без отзыва, утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

Впоследствии в повести "Египетские ночи" Пушкин вывел великосветского поэта Чарского, под именем которого изобразил самого себя. Он рассказывает про Чарского:

"Чарский признавался искренним своим друзьям, что только во время писания он и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь".

Творчество давало Пушкину самое полное удовлетворение, творчество было для него самым нужным и самым ценным, что только могла дать жизнь. Есть оно, — и все остальное так неважно: признание людское, слава!

В связи с этим понятна та страстность, с какою Пушкин отстаивал право поэта на полную свободу творчества, не подчиняющегося никаким законам, никаким указаниям и требованиям.

...ветру и орлу
И сердцу девы нет закона —
Гордись, таков и ты, поэт,
И для тебя закона нет.

Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем,
Перед распутьями земными
Проходишь ты, уныл и нем.
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни нужд, ни хохота, ни рева,
Ни удивленья, ни труда.
Глупец кричит: "куда? куда?
Дорога здесь". Но ты не слышишь;
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные; твой труд
Тебе награда; им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

И с вызовом Пушкин провозглашает свою формулу призвания поэта, очень характерную для тогдашних его настроений:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Этой формулой он, как двойным щитом, одинаково защищал себя от требований как слева, так и справа: слева от него продолжали ждать революционных песен, — но для этого теперь у Пушкина не было ни веры, ни огня; справа от него требовали воспевания царя и всякого рода официальных торжеств, — для этого у Пушкина не было никакой охоты.

Было еще одно обстоятельство, которое побуждало Пушкина уходить от "толпы" и замыкаться в себе.

Чем больше мужало и углублялось его творчество, чем дальше уходил он вперед, тем меньше начинала его понимать критика, тем холоднее начинали относиться читатели.

Началось это уже с "Цыган" — с первого же произведения, в котором Пушкин выступил вполне оригинальным творцом. Оно было еще встречено общими похвалами, но в этих похвалах было что-то робкое, нерешительное.

"Мы хорошо помним это время, — рассказывает Белинский, — помним, как многие были неприятно разочарованы "Цыгана-

ми" и спорили, что "Кавказский пленник" и "Бахчисарайский фонтан" гораздо выше новой поэмы. Это значило, что поэт вдруг перерос свою публику и одним орлиным взмахом очутился на высоте, недоступной для большинства".

Теперь каждый шаг Пушкина вперед в области художественного творчества был новым падением его славы.

"Полтава", эта грандиозная картина борьбы России со Швецией:

> ...Когда Россия молодая,
> В бореньях силы напрягая,
> Мужала с гением Петра...

"Полтава" была встречена публикою холодно, и "Северная пчела", орган Булгарина, злорадно писала: "Холодный прием, оказанный публикою "Полтаве", служит ясным доказательством, что очарование имен исчезло".

Равнодушно был встречен "Борис Годунов", в 1830 году наконец вышедший в свет.

О нем писали: "Поэзия есть творчество; а здесь нет ни одного оригинального создания. Борис и Шуйский переложены только в стихи из певучей прозы Карамзина". О седьмой главе "Онегина", одной из лучших глав романа, заявляли: "полное падение!" О "Графе Нулине": "Это есть прыщик на лице вдовствующей русской литературы" и т. п.

Здесь, может быть, была еще доля личного или группового пристрастия.

Но и ближайшие друзья Пушкина, горячо его любившие и ценившие, стали отставать от него в такой мере, что нам сейчас это совершенно невозможно понять.

Жуковский, например, писал Пушкину по поводу "Цыган": "Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих "Цыган". Но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь о себе оставить отечеству?"

А два близких друга Пушкина, Соболевский и Вульф, видели пустенькие альбомные стишки, свидетельствующие о падении таланта Пушкина, в одном из перлов пушкинской лирики — в стихотворении "Я вас любил; любовь еще, быть может..."

Накрепко замкнувшись в холодном и молчаливом одиночестве, Пушкин писал:

> Поэт! не дорожи любовию народной.
> Восторженных похвал пройдет минутный шум;
> Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
> Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум.
Не требуя наград за подвиг благородной.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

И около этого же времени, в проекте предисловия к "Борису Годунову", Пушкин писал: "Теперь уже не благосклонной улыбки моды я ищу. Я добровольно выхожу из ряда ее любимцев, принося ей глубокую мою благодарность за все то расположение, с которым она принимала мои слабые опыты в течение десяти лет моей жизни".

Раннею весной 1830 года один из московских знакомых Пушкина заговорил на балу с Натальей Николаевной Гончаровой и ее матерью о Пушкине. Мать и дочь отозвались о Пушкине благосклонно и просили ему кланяться. Пушкин ожил духом, мигом собрался и покатил в Москву. Он посетил Гончаровых. Его приняли ласково. Он снова стал бывать у них и 6 апреля вторично сделал предложение. Почему изменилось у Гончаровых отношение к Пушкину, почему так торопились выдать замуж семнадцатилетнюю красавицу с самыми заманчивыми возможностями впереди, — мы не знаем. Но предложение Пушкина было принято.

Совершилось то, чего с такою пылкостью и тоскою добивался Пушкин целых полтора года. Но на душе у него было смутно и нерадостно. Прежде всего он ясно сознавал, что невеста его не любит. "Я могу надеяться, — писал он, — со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. В ее согласии отдать мне свою руку я могу видеть только свидетельство спокойного равнодушия". И Пушкин с тревогою задавал себе вопросы: сохранит ли его жена свое "спокойное равнодушие" среди окружающих красавицу удивления, поклонения, искушений? Не явится ли у нее сожаление, что она пошла за него? Порою Пушкина охватывал страх перед тем, на что он идет, и у многих друзей было впечатление, что он был бы рад, если бы свадьба расстроилась.

В Болдине

6 мая 1830 года произошла официальная помолвка Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой. Отец Пушкина по случаю его женитьбы выделил ему из своих нижегородских поместий двести незаложенных крестьянских "душ" села Кистенева. В начале осени Пушкин поехал в Нижегородскую губернию, чтобы ввестись во владение имением и устроить имущественные свои дела. Он рассчитывал пробыть там совсем недолго. Ехал он со смутным чувством: отношения его с будущей тещей не ладились, она устраивала ему бешеные сцены. Пушкин уезжал, даже не зная, не расстроилась ли и сама свадьба. Он писал другу своему Плетневу: "Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска... Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери, — отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения, — словом, если я не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие... Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью".

Между тем вверх по Волге поднималась холера. Когда он приехал в Болдино, главное село отцовских нижегородских поместий, окрестные деревни оцеплялись караулами, повсюду учреждались карантины. Народ роптал, там и тут вспыхивали бунты. 16 сентября Пушкин был введен во владение подаренной ему отцом частью Кистенева.

Шли неделя за неделей, месяц за месяцем, а Пушкин все сидел в Болдине. Холера распространялась, подходила к Москве, карантины преграждали все дороги, сама Москва была оцеплена военными кордонами, говорили, что холера уже в Москве. Пушкин сильно беспокоился за невесту, за ее здоровье и безопасность; к тому же до него доходили слухи, будто свадьба расстраивается, будто Наталья Николаевна выходит замуж за другого. Он рвался в Москву, два раза выезжал из Болдина, надеясь пробраться через карантины, но оба раза пришлось воротиться.

Стояла ненастная осень — слякоть, грязь, из окладных туч сеял холодный дождь, выл по ночам ветер. Странным образом осень всегда действовала на Пушкина оживляюще и бодряще, она была самым любимым его временем года.

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь.
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм...

Осенью ему также всего лучше и всего легче писалось. Значительнейшие произведения Пушкина почти все написаны осенью. И чем хуже, чем ненастнее была осень, тем для Пушкина было лучше. Он писал из Болдина Плетневу: "Осень чудная: и дождь, и снег, и по колено грязь". В эту болдинскую осень прилив творчества у Пушкина был совершенно необыкновенный — творчество било из него неиссякающим фонтаном. За три месяца пребывания в Болдине Пушкин написал "маленькие трагедии": "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Пир во время чумы", "Каменный гость"; написал все "Повести Белкина", "Домик в Коломне", около тридцати мелких стихотворений. Не веришь глазам, когда просматриваешь хронологию написания этих произведений: 5 октября написан "Домик в Коломне", 12—14-го — "Выстрел", 20-го окончена "Метель", 23-го окончен "Скупой рыцарь", 26-го окончен "Моцарт и Сальери" и т. д. Правда, многие из этих вещей существовали уже раньше в замыслах или в первоначальных набросках, но это не уменьшает исключительности творческой энергии, проявленной Пушкиным в эту, как он сам назвал ее, "детородную осень".

Изумительны не только количество и высокое качество написанного в это время Пушкиным, но и та легкость, с какою он переключался из одного настроения в совершенно другое. Прозрачно-веселые рассказы, как "Барышня-крестьянка" или "Домик в Коломне", чередовались с глубоко серьезными драмами, как "Скупой рыцарь" или "Моцарт и Сальери", с жутким "Пиром во время чумы".

Когда же он думал об ожидающей его в будущем жизни, на душе у него становилось нерадостно. Он писал в "Элегии":

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть — на мой закат печальной
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

В Болдине же Пушкиным написаны две последние, заключительные главы "Евгения Онегина". По подсчету Пушкина, роман этот писался больше семи лет. Выходил он в свет отдельными главами, по мере написания.

"Онегин" — крупнейшее произведение Пушкина, наиболее широкое по охвату жизни и по выявлению чувств, дум и настроений самого поэта. Нигде так полно и всесторонне не отразилась душа Пушкина, как в тех высоколирических отступлениях романа, которые многими простодушными читателями воспринимаются как "болтовня", только задерживающая рассказ.

В романе дана широкая картина эпохи конца десятых и начала двадцатых годов; в ней отображены и Петербург, и Москва, и провинция.

Сам Онегин является первым в той галерее образов, в которых вставшая на ноги русская литература стала отображать настроения, переживания и стремления своего времени (Печорин, Рудин, Базаров и т. д.). В первых главах романа Пушкин сам находился под обаянием образа Онегина, рисовал его с видимым сочувствием и готов был видеть в нем чуть ли не лучшего представителя своего времени. Такое отношение автора к Онегину вызвало решительный протест со стороны действительно лучших людей того времени — декабристов. Бестужев-Марлинский писал Пушкину: "Я вижу франта, который душою и телом предан моде; вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных приборов". В дальнейших главах Пушкин все более отрицательно начинает относиться к своему герою и кончает полным его развенчанием. Он отмечает полнейшую неорганичность, наносность всех настроений Онегина, его готовность менять свое обличье в соответствии с модой, именно так же, как "туалетные приборы": он одинаково способен стать и космополитом*, и патриотом, и ни во что не верующим Гарольдом, и фанатически верующим квакером**, и даже просто ханжою. Что

* Космополит — человек, считающий своим отечеством весь мир.
** Квакеры — религиозная секта в Англии и Америке.

ж он? — спрашивает Пушкин устами Татьяны, начинающей отрезвляться от слепого увлечения своим романтическим героем.

Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

Пушкиным в Болдине была написана еще десятая глава "Онегина", которую он тогда же сжег. В этой главе описывалось декабристское движение, и к нему какую-то прикосновенность должен был иметь Онегин. Какую, мы не знаем.

В оценке своего героя Пушкин оказался гораздо трезвее, нежели некоторые позднейшие критики, которые в этом человеке, не способном ни к упорному труду, ни к порыву, ни подвигу, хотели видеть сильную натуру, которую только условия времени лишили возможности приложить свои богатые силы к делу. Сверстники Онегина — Пестель, Владимир Раевский, Охотников, Якушкин, Пущин, Рылеев — знали, к чему приложить свои силы.

Онегину в романе противопоставлена Татьяна. Пушкин любит ее всею душою. "Татьяны милый идеал", — говорит он о ней. В этой большой своей любви к Татьяне Пушкин так же разошелся с позднейшими критиками, как и в резко отрицательном отношении к Евгению. В последнем объяснении Татьяны с Онегиным критики центральное место видели в словах Татьяны:

Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

В действительности Татьяна отвергает любовь Онегина вовсе не по этой причине.

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
. . . .
Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной Молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете

Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

Она плачет — отчего? От обиды. Все ее женское достоинство возмущено не любовью Онегина, а характером этой любви, мелкостью ее. Она понимает, что стала теперь нравиться Онегину не потому, что сделалась лучше, а потому, что вправлена в блестящую раму, что теперь связь с нею могла бы принести ему в обществе соблазнительную честь. И понимает, что у него и в мыслях нет звать ее уйти к нему как к любимому и другу; ему нужна тайная связь, нужна блестящая любовница. А на это Татьяна не хочет идти. И, чтобы оборвать все дальнейшие разговоры, она решительно заявляет:

Но я другому отдана;
я буду век ему верна.

Правильно говорит Достоевский: "Если бы Татьяна даже стала свободною, если бы умер ее муж и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера. Ведь она же видит, кто он такой?"

Образ Татьяны — первый образ в галерее образов хорошей русской женщины, которые впоследствии дали в своих романах Тургенев, Лев Толстой, Гончаров и др.

В это же время окончательно закрепляется переход Пушкина к реалистическому описанию жизни. Теперь ему не нужны

избранные красоты, даваемые жизнью в редких, исключительных случаях, он теперь умеет находить красоту и значительность в родной, обыденной действительности, повседневно окружающей человека. В "Путешествии Онегина" Пушкин вспоминает:

В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
. . . .
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

После женитьбы

Только к декабрю Пушкину наконец удалось выбраться из Болдина. 5 декабря он был в Москве. Будущую тещу свою он нашел опять за что-то на него озлобленной. "Насилу с нею сладил, — писал Пушкин Плетневу, — но, слава богу, сладил". Но стычки и взаимные колкости продолжались.

18 января 1831 года Пушкина поразил жестокий удар: он узнал, что в Петербурге умер поэт А. А. Дельвиг — лучший его друг еще с лицейской скамьи.

"Грустно, тоска, — писал Пушкин Плетневу. — Вот первая смерть, мною оплаканная. Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Вчера провел я день с Нащокиным (московский друг Пушкина), — говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! Согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров — и постараемся быть живы".

Чем ближе была свадьба, тем грустнее становилось у Пушкина на душе. За неделю до свадьбы он писал одному из старых своих друзей:

"Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. "Счастье — только на избитых тропах". В тридцать лет люди обыкновенно женятся, я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью".

Рассказывают, что было еще одно письмо Пушкина, до нас не дошедшее, написанное почти накануне свадьбы. Там Пушкин прямо написал, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке.

Однажды у пушкинского друга Нащокина собрались цыганки. Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье. Но у той было свое сердечное горе, она не подумала и спела хоть и подблюдную, но грустную песню и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукою за голову и зарыдал. И сказал:

— Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!

И поспешно уехал, ни с кем не простившись.

Накануне свадьбы Пушкин устроил у себя "мальчишник" для ближайших друзей — прощание с холостой жизнью. Он был на этой пирушке так грустен, что всем стало неловко: прощание с молодостью больше походило на похороны.

Свадьба произошла 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской (теперь — улица Герцена). Пушкин, в противоположность последним дням, был весел, радостен, любезен с друзьями, смеялся. Но во время обряда, при обмене колец, кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свечка. Суеверный Пушкин побледнел и прошептал:

— Все — плохие предзнаменования!

Пушкин рассчитывал остаться жить с женою в Москве. Они занимали уютно меблированную квартиру на Арбате. Дом этот сохранился и до настоящего времени; его номер — 53. К дому прибита мемориальная доска.

"Я женат — и счастлив, — писал Пушкин Плетневу. — Одно желание мое — чтоб ничего в жизни моей не изменилось:

лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился".

Но стычки с тещей все усиливались. Наталья Ивановна наговаривала дочери на Пушкина, всячески чернила его. Такие начались дрязги, что Пушкину стало невмочь.

Он ликвидировал свою московскую квартиру и в середине мая уехал с женою в Петербург. Там он и решил поселиться. На лето же нанял дачу в Царском Селе под Петербургом.

Из Царского Села он писал Нащокину: "Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской; насилу до нас и вести доходят".

Каждое утро Пушкин ходил купаться, потом, напившись чаю, ложился у себя в комнате и писал. Вечером катался с женою на дрожках или гулял с нею по царскосельскому парку. Пушкин любил жену. Но никакого духовного общения у них не было и не могло быть. Наталью Николаевну по-настоящему интересовали только наряды и успехи в свете. В напряженной творческой и умственной жизни мужа она неспособна была принимать никакого участия. Полный еще творческого волнения, он приходил к ней прочесть новые свои стихи, а она восклицала:

— Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!

К поэзии и литературе она вообще была глубоко равнодушна. Однажды — это было уже позднее — поэт Баратынский спросил, не помешает ли он ей, если в ее присутствии прочтет Пушкину новые свои стихи. Наталья Николаевна любезно ответила:

— Читайте, пожалуйста! Я не слушаю.

Холера, замершая было к зиме, с наступлением весны стала свирепствовать с новой силой и надвинулась на Петербург. Император Николай с дворцом переехал в Царское Село. "Царское Село закипело и превратилось в столицу", — писал Пушкин Плетневу.

Однажды в царскосельском парке Пушкин повстречался с Николаем. Николай обошелся с Пушкиным очень милостиво, расспрашивал об его делах и между прочим задал вопрос, почему он не служит? Пушкин ответил, что готов, но что, кроме литературной службы, никакой не знает. Тогда царь предложил ему заняться писанием истории Петра I. Пушкин радостно писал Плетневу:

"Царь взял меня на службу, но не канцелярскую, или придворную, или военную, — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это

очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: "Так как он женат и небогат, то нужно позаботиться, чтоб у него была каша в горшке". Ей-богу, он очень со мною мил".

Красавица жена Пушкина очень понравилась царице; Николай уже раньше, в бытность свою в Москве, встречал на празднествах Наталью Николаевну, когда она была еще девушкой, и находил ее очень милой и интересной. Императрица выразила желание, чтоб Наталья Николаевна бывала при дворе.

Осенью 1831 года Пушкин переселился из Царского Села в Петербург. Он был официально зачислен в Государственную коллегию иностранных дел, произведен вскоре в следующий чин, и ему было назначено жалованье — пять тысяч рублей в год. Но для теперешних потребностей Пушкина этого было слишком мало. Женясь, он думал издерживать втрое против прежнего, вышло — вдесятеро. Теперешний характер его жизни сравнительно с прежним значительно изменился. Двор был в восторге от красоты его жены; Наталья Николаевна стала вскоре самой модной женщиной петербургского высшего света. А светской женщине-красавице необходимы элегантные наряды, приличный выезд, поместительная квартира, дача на модных островах. Бюджет получился совершенно фантастический: Пушкину было необходимо иметь в год двадцать пять — тридцать тысяч рублей...

Жизнь Натальи Николаевны проходила в непрерывных увеселениях, празднествах и балах. Она возвращалась домой в четыре-пять часов утра, вставала поздно; обедала в восемь вечера; после обеда Наталья Николаевна переодевалась и опять уезжала. Ее сопровождал муж. Давно уже для Пушкина отошла пора, когда он сам увлекался танцами. Но нельзя же было жене выезжать одной. И все вечера Пушкин проводил на балах: стоял у стены, вяло глядел на танцующих, ел мороженое и зевал. Однажды он со вздохом сказал своей знакомой:

Неволя, неволя, боярский двор!
Стоя наешься, сидя наспишься!

Друзья с растущей горестью наблюдали, в каких ужасных для творчества условиях жил теперь Пушкин. Гоголь писал: "Его нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит всю жизнь свою". И сам Пушкин с грустью писал своему московскому другу Нащокину:

"Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писания. Кружусь в свете, жена моя в большой моде, — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения".

Для новых трудов не было уединения; для напечатания трудов, уже написанных, то и дело вставали препятствия, вытекавшие из высочайшей "милости", оказанной Пушкину, — права представлять свои произведения на цензуру царю. Весною 1832 года Пушкин вдруг получил запрос от Бенкендорфа с требованием объяснения, по какому случаю помещено в альманахе "Северные цветы" несколько его стихотворений "без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения". Стихи были напечатаны с разрешения цензуры. Пушкин ответил: "Я всегда твердо был уверен, что высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и права, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры". В черновике прошения Пушкина к Бенкендорфу находим такое ходатайство: "Осмеливаюсь просить об одной милости: вперед иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к обыкновенной цензуре". Вот уже о какой милости приходилось ходатайствовать Пушкину!

Вследствие трудности творческой работы в условиях петербургской жизни Пушкин усиленно работал в архивах, собирая материалы для порученной ему царем истории Петра I. Но от подготовительной работы к истории Петра его отвлекла другая историческая работа. Пушкина заинтересовал Пугачев, вождь казацко-крестьянского восстания в восемнадцатом веке. В то же время явилась мысль написать и роман из времен пугачевщины. Для этого Пушкину нужно было посетить местности восточной России, где действовал Пугачев.

Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему отпуск для поездки. Последовал запрос от имени императора: "Что побуждает вас к поездке и по какой причине хотите вы оставить занятия, здесь на вас возложенные?" Упоминать о Пугачеве Пушкин, конечно, поостерегся. Вот что он ответил, вот как принужден был мотивировать великий поэт свое желание делать настоящее свое дело, мотивировать перед императором, который будто бы "почтил в нем вдохновенье". "В продолжение двух последних лет, — писал Пушкин, — занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия (!!), но что делать? Они одни доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге, где труды мои, благодаря государя, имеют цель более

важную и полезную (!). Может быть, государю угодно будет знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии".

Пушкин получил отпуск на четыре месяца и 17 июля 1833 года выехал из Петербурга. А вслед за ним поплыли к начальникам губерний, которые должен был посетить Пушкин, секретные предписания "учинить надлежащее распоряжение в учреждении за титулярным советником Пушкиным во время его пребывания секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его".

Пушкин посетил Казань, Оренбург, Уральск. Расспрашивал старожилов о Пугачеве, осматривал места военных действий. Из Оренбурга он съездил в станицу Берды, бывшую столицу Пугачева. Пушкина сопровождал молодой доктор В. И. Даль, будущий писатель и автор "Толкового русского словаря". Он между прочим рассказал Пушкину, что, овладев станицей, Пугачев при большом стечении народа посетил церковь, вошел в алтарь, сел на церковный престол и важно сказал:

— Давно я не сидел на престоле!

(Пугачев, как известно, выдавал себя за императора Петра III.)

Он думал, что церковный престол — это тот "престол", на котором сидят цари.

Пушкин много этому смеялся.

В дороге он хорошо и задушевно разговаривал с Далем. Между прочим сказал ему:

— О, вы увидите: я еще много сделаю! Ведь даром, что товарищи мои все поседели да оплешивели, а я только что перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я.

В Бердах Пушкин отыскал старуху, семидесятипятилетнюю казачку, которая лично знала Пугачева. Он просидел с нею целое утро, расспрашивал ее, слушал ее песни и на прощание дал ей золотой червонец.

Гости уехали. Бердинские обыватели пребывали в недоумении: для чего приезжий человек с таким жаром расспрашивал о разбойнике, за что дал старухе червонец? Дело подозрительное, как бы не нажить беды! Снарядили подводу в Оренбург, представили по начальству старуху с червонцем и доложили:

"Вчера приезжал какой-то чужой господин. Приметами: собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, подбивал

под пугачевщину и дарил золотом; должно быть, антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти".

Как всегда во время путешествия, Пушкин чувствовал себя хорошо и бодро. Он писал жене: "Уже чувствую, что дурь на меня находит, я и в коляске сочиняю: что же будет в постели?" 1 октября 1833 года он приехал к себе в Болдино и засел писать. Просыпался в семь часов утра, пил кофе и, лежа в постели, писал до трех часов. Потом ездил верхом, в пять часов брал ванну, обедал картофелем и гречневой кашей, до девяти часов читал и ложился спать. Сложилась чуть-чуть подходящая обстановка, и творчество снова забило ключом. "Расписался и уже написал пропасть", — довольный, писал он жене.

За полтора месяца пребывания в Болдине Пушкин написал "Сказку о рыбаке и рыбке", "Сказку о мертвой царевне", "Анджело", перевел из Мицкевича две баллады, закончил историю Пугачева и написал два самых выдающихся своих произведения за последние годы жизни: поэму "Медный всадник" и повесть "Пиковая дама". По исполнению оба эти творения представляют высочайшие вершины пушкинского мастерства. Сильный, кованый, звукописующий стих "Медного всадника" изумителен даже при сравнении с прежним стихом самого Пушкина. Изящная, без единого лишнего слова проза "Пиковой дамы" выше всего, что до тех пор было у нас писано прозой. Столь же значительны обе вещи и по содержанию. В поэме "Медный всадник" Пушкин касается темы о праве при осуществлении широких государственных задач не считаться с интересами каждой отдельной личности. В "Пиковой даме", на основе фантастической фабулы, дана яркая картина петербургского великосветского общества с центральной фигурой бедного офицера Германа, о котором Достоевский писал: "Колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, — тип из петербургского периода!"

Из Болдина Пушкин писал жене: "Женка, женка! Я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши, — для чего? — Для тебя, женка: чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности и т. п.". Здесь Пушкин имел в виду обстоятельство, последние годы сильно его мучившее: император Николай все усиленнее начинал ухаживать за Натальей Николаевной; танцевал с нею на балах, за ужином садился возле нее. Обычные царедворцы считали за великую честь для своих жен и дочерей благосклонность императора, — за честь для них и за столь же великую выгоду

для себя. Пушкин был другого склада и ничего в этом не мог видеть, кроме величайшего позора для себя и жены. И настойчиво просил жену "не кокетничать" с царем и держаться от него подальше.

В ноябре 1833 года Пушкин воротился в Петербург.

В придворном плену

В Аничковом дворце устраивались интимные царские вечера, куда принято было приглашать только лиц с придворным званием. Желая открыть Наталье Николаевне доступ на эти вечера, Николай под Новый, 1834 год подписал указ: "Служащего в министерстве иностранных дел титулярного советника Александра Пушкина всемилостивейше пожаловали мы в звание камер-юнкера двора нашего". Пожалованием Пушкина в камер-юнкеры Николай сразу достиг двух целей: сделал для себя возможным частые встречи с Натальей Николаевной и глубоко унизил Пушкина, которого в душе ненавидел: в камер-юнкеры жаловались обыкновенно очень молодые люди, и тридцатипятилетний, уже седеющий Пушкин должен был производить в их толпе очень смешное впечатление.

Пушкин, узнав о пожаловании, пришел в бешенство. Друзьям пришлось отливать его холодной водой. Вне себя, с пылающим лицом и пеной у рта, он хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю. Причину своего пожалования он понимал очень хорошо и осторожно записал в дневнике: "Я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору (разумей: императору) хотелось, чтоб Наталья Николаевна танцевала в Аничковом". Наталья Николаевна была в восхищении, что ей открылся доступ ко двору.

Новое звание доставляло Пушкину много неприятностей. Он не знал и не хотел знать тонкостей придворного этикета и постоянно навлекал на себя неудовольствие царя: то придет на придворный бал в мундире, когда все гости во фраках, то — треугольной шляпе, тогда как в Аничков дворец полагалось приезжать в круглых. Не ходил к обедне в придворную церковь и за это получал головомойки от обер-камергера, начальствовавшего над камер-юнкерами.

Расходы еще увеличились. А тут еще новое осложнение: родители Пушкина своей расточительностью и бесхозяйственностью довели себя до крайнего стеснения; ему пришлось взять на себя управление разоренными поместьями отца и назначить родителям содержание.

Невесело и смутно было на душе у Пушкина. Он никому не жаловался на свою тяжелую жизнь, но на лице его друзья часто читали мрачное беспокойство. Придет, печально ходит по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторяет:

— Грустно! Тоска!

Шутка, острое слово, веселый анекдот на минуту рассмешат его, он громко захохочет, сверкая белоснежными зубами. Вдруг замолчит, остановится у камина и, шевеля руками в карманах, опять запоет протяжно:

— Грустно! Тоска!

Теперь почти никогда его не видали веселым и беззаботным.

Редко-редко просыпался в нем прежний шутник и озорник.

Однажды в Петербурге зашел он к друзьям, никого не застал дома.

В зале был большой камин, а на столе стояла тарелка с орехами. Возвращаются хозяева и видят: Пушкин, скорчившись обезьяной, сидит в камине и щелкает орехи.

Писательское одиночество Пушкина все увеличивалось. Строгая и сдержанная простота его поэзии, сжатая чеканность прозы не удовлетворяли большинство тогдашних читателей. Публика с упоением зачитывалась эффектно трескучими стихами Бенедиктова, цветистой прозой Марлинского и равнодушно проходила мимо Пушкина. Критика учла это отношение публики и с еще большей несдержанностью стала нападать на Пушкина.

В настоящее время просто не веришь глазам, перечитывая тогдашние отзывы о гениальном поэте в самом расцвете его творчества. "Евгений Онегин", — писал один журнал, — есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том, о сем, вставленных в одну раму, из которых автор не составит ничего, имеющего свое отдельное значение". Другой журнал писал: "Те, кои думали видеть в мыльных пузырьках, пускаемых затейливым воображением Пушкина, роскошные огни высокой поэтической фантасмагории, наконец, должны признать себя жалко обманувшимися". "Блестящее воображение Пушкина, — замечал третий журнал, — еще не увяло, но осыпается цветами, лишающимися постепенно более и более своей прежней благовонной свежести".

А Пушкин рос вверх и вширь, с каждым годом становился к себе строже и взыскательнее. Это был человек глубоко оригинальный, "сам" до мозга костей воплощавший в себе русскую национальную стихию, как никто другой. Гоголь писал: "Никто из поэтов наших не может более Пушкина назваться националь-

ным; это право решительно принадлежит ему. В нем заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами всего своего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами".

Глубоко одинок был Пушкин и в "свете". Граф В. А. Соллогуб рассказывает:

"Главное несчастье Пушкина заключалось в том, что он жил в Петербурге, и жил светскою жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел какое-то непостижимое пристрастие. Когда при разъездах кричали: "Карету Пушкина! — Какого Пушкина? — Сочинителя!" — Пушкин обижался, конечно не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию... В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых".

Эпиграммы были жесткие, и простить их было нелегко.

Не торговал мой дед блинами.
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов...

Здесь Пушкин высмеивал темное происхождение знатнейших современных ему фамилий — светлейших князей Меншиковых, князей Безбородко, графов Разумовских, графов Кутайсовых. Таких обид в свете не забывают.

Еще более жестокую обиду нанес Пушкин министру народного просвещения С. С. Уварову. Это был человек подлый, искательный и жадный. Опасно заболел его родственник граф Д. Н. Шереметев, один из богатейших людей России. Решив, что Шереметеву не поправиться, Уваров, как один из наследников, поспешил опечатать имущество умирающего, а Шереметев взял

да и выздоровел. Происшествие это вызвало в Петербурге большой шум. Пушкин напечатал в московском журнале стихотворение — "подражание латинскому" — "На выздоровление Лукулла"*. В нем он очень прозрачно рассказал случай с Шереметевым и Уваровым, и все их узнали.

...наследник твой,
Как ворон к мертвечине падкой,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.

Он мнил: "теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож,
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!"

Но ты воскрес. Твои друзья,
В ладони хлопая, ликуют;
Рабы, как добрая семья,
Друг друга в радости целуют;
Бодрится врач, подняв очки;
Гробовый мастер взоры клонит;
А вместе с ним приказчик гонит
Наследника в толчки.

Понятно, что после этого Уваров стал ярым врагом Пушкина.

На масленой неделе 1834 года жена Пушкина заболела и, поправившись, уехала до осени со всеми детьми в Калужскую губернию, к своему брату. Пушкин остался в Петербурге один наблюдать за печатанием "Истории пугачевского бунта". Вдруг он получил встревоженное письмо от Жуковского из Царского Села, что какое-то письмо Пушкина стало известно императору и тот очень сердился. Оказалось, что московская почта распечатала письмо Пушкина к жене и переслала его в Третье отделение. В письме этом Пушкин писал, что не намерен являться на торжественное празднование совершеннолетия наследника

---

* Лукулл — римский патриций. Богатства его пиршества вошли в пословицу.

престола, и довольно непочтительно отзывался о своем камер-юнкерстве. Жуковскому удалось уладить дело.

Пушкин записал в дневнике: "Все успокоилось. Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью, — но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! — простодушно прибавлял Пушкин. — Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать к царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться! Что ни говори, мудрено быть самодержавным".

Пушкин начинал подумывать об отставке. Он писал жене: "С твоего позволения надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию... Неприятна зависимость; особенно, когда лет двадцать человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя. Я не должен был вступать на службу и, что хуже еще, опутать себя денежными обязательствами. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения... Петербург пуст, все на дачах, а я сижу дома до четырех часов и пишу. Обедаю у Дюме (ресторан). Вечером в клобе. Вот и весь мой день. Для развлечения вздумал было я в клобе играть, но принужден был остановиться. Игра волнует меня, а желчь не унимается".

25 июня Пушкин подал Бенкендорфу прошение: "Ввиду того, что семейные обстоятельства требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вынужден выйти в отставку и умоляю ваше превосходительство получить для меня разрешение на это. Как последней милости, я просил бы, чтобы я не был лишен всемилостивейше данного мне права посещать архивы". В ответ Пушкин получил от Бенкендорфа ледяное извещение, что его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел удовлетворить просьбу Пушкина об отставке, в праве же посещать архивы отказал, "так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностью начальства".

Царь сообщил о просьбе Пушкина Жуковскому. Жуковский всполошился. Он ничего не знал о письме Пушкина и только спросил царя, нельзя ли это как-нибудь поправить. Царь ответил:

— Почему же нельзя? Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое.

Жуковский был прекрасный поэт и человек добрейшей души, очень отзывчивый. Но он давно уже целиком погряз в тине придворной жизни, на царя смотрел с обожанием и царское благоволение считал чуть не самой важной ценностью жизни. Место он занимал высокое — был воспитателем наследника престола, жил во дворце, получал сорок тысяч жалованья. Царь его любил, хотя морщился от постоянных его ходатайств за опальных писателей и друзей. Жуковский стал бомбардировать Пушкина из Царского Села письмами, где убеждал его взять назад свою просьбу. "Глупость досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость! Вот что бы я теперь на твоем месте сделал (ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули мое сердце): я написал бы к нему письмо, в котором бы обвинил себя за сделанную глупость; и все это сказал бы с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает. Если не воспользуешься этою возможностью, то будешь то щетинистое животное, которое своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека".

Пушкин написал Бенкендорфу, что берет свою просьбу обратно, и выразил сожаление, что "необдуманное письмо мое могло показаться безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели государем".

Бенкендорф показал письмо Жуковскому. Жуковский опять пришел в ужас, попросил Бенкендорфа подождать с передачей письма царю, а Пушкину написал: "Я, право, не понимаю, что с тобою сделалось: ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Письмо твое так сухо, что оно может показаться государю новою неприличностью. Разве ты разучился писать? Разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренно хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя. Что ж тут думать? Напиши то, что скажет сердце. А тут, право, есть о чем разговориться".

Пушкин в горьком недоумении ответил Жуковскому: "Я, право, сам не понимаю, что со мною делается. Итти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие, — какое тут преступление, какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком

случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня на службе. Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? В глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? Хорошо; да в чем?.. Не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье".

И написал третье.

Наконец царь положил гнев на милость и написал Бенкендорфу: "Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства".

Само по себе совершенно невозможно понять, в чем же состояло преступление Пушкина; за что царь грозил ему какими-то карами. Как и в области цензуры, царское благоволение лишало Пушкина права, которым в то время пользовался всякий самый мелкий чиновник, — права выйти в отставку. Причину подобного отношения к Пушкину ясно выразил Бенкендорф в письме к царю: "Лучше, чтоб он был на службе, нежели предоставлен самому себе". Нужно было держать Пушкина у себя на виду, под занесенной лапой, из которой при малейшем движении Пушкина высовывались бы угрожающие когти.

В отчаянии Пушкин писал жене: "Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!"

Почему отношение правительства к Пушкину было таким враждебным и подозрительным? Пушкин по самому существу своему был совершенно неприемлем для самодержавия. Самодержавие умело ценить шедшие ему на службу культурные силы. Сумароков, Державин, Карамзин, Дмитриев, Жуковский усердно работали над созданием лучезарного поэтического ореола вокруг самодержавия и поэтому пользовались вниманием и почетом со стороны правительства, получали чины, ордена, пенсии. А что до того, что Пушкин "признавал" самодержавие? Нужно было не признавать его, а восторженно любить и восхвалять — без критики, без сдержанности и без оглядки. А для чего нужен был Николаю "просто" гениальный поэт, творящий "просто" гениальные произведения? Пушкин не умещался в рамках николаевского самодержавия не как враг его, не как революционер, а как огромное культурное явление, переросшее его рамки. Также и в рамках придворно-светской жизни Пушкин не умещался — опять-таки не как отрицатель ее, не как революци-

онер, а как глубоко культурный, полный достоинства человек, органически неспособный стать царедворцем-холопом. Царь это видел и чувствовал Пушкина "чужим".

И правда: можно ли было считать Пушкина "своим", можно ли было вполне доверять ему? В "Стансах" к императору заявляет о своих верноподданнических чувствах, а рядом с этим пишет стихотворение "Анчар"; отвратительная картина владычества человека над людьми слишком легко наводила мысль на самодержавие:

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек...

Могли бы такую вещь написать "ангел" Карамзин (так называл его Николай) или действительно всей душою верноподданный Жуковский? Пушкин пишет патриотические оды, а рядом с этим в убийственнейших памфлетах шельмует таких усердных царских слуг, как министр Уваров. Пишет Пушкин историю Пугачева, выводит его же и в повести "Капитанская дочка". Все как будто по-должному: называет Пугачева злодеем, сочувственно рисует дворян, не изменяющих воинскому долгу и за это принимающих от Пугачева смерть. Однако по поводу "Истории пугачевского бунта" полуказенный журнал "Сын отечества" разочарованно писал:

"Многие надеялись и были в том уверены, что знаменитый наш поэт нарисует нам сей кровавый эпизод царствования Екатерины Великой кистью Байрона, подарит нас картиною ужасною, от которой, как от взгляда пугачевского, не одна дама упадет в обморок... Г-ну Пушкину не угодно было взглянуть на свое творение с надлежащей точки зрения и покрыть его колоритом пугачевщины и всех ужасов сего страшного периода времени".

В "Капитанской дочке" же Пушкин изображал Пугачева бесстрашным и великодушным, крепко помнящим сделанное ему добро, окружал его романтическим ореолом ярко и сильно живущего человека.

"— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: "Скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на́-все только тридцать три года?" — "Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной". Орел подумал: давай попробуем и мы

питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон: чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живою кровью, а там что бог даст!"

В Пушкине крепко жили два свойства, определявших основное направление его пути сквозь временные зигзаги и повороты. Эти свойства были: неукротимая мятежность и глубокая честность искания. Мятежность эта даже в период наиболее консервативных политических установок Пушкина неодолимо тянула его к людям протеста везде, где он их находил, — к Степану Разину, к Пугачеву, к Дубровскому, к Кирджали. Честность же искания не давала Пушкину остановиться на месте и непрерывно заставляла его идти дальше. Это искание привело Пушкина в последние два-три года жизни к так мало еще отмеченному глубочайшему перевороту в некоторых самых основных взглядах его на задачи искусства и на жизненное призвание поэта. В 1827 году Пушкин с презрением отворачивался от "черни" и находил для нее достаточными "бичи, темницы, топоры"; он убежденно провозглашал право поэта стоять выше всяких "житейских волнений и битв". Но в то еще время в одном неотделанном черновике он в раздумье набрасывал такие строки:

Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями.
Владея смехом и слезами,
Приправя горькой правдой ложь,
Он вкус притупленный щекотит
И к славе спесь бояр охотит.
Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы.
Меж тем, за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, толкаемый слугами,
Поодаль слушает певца.

Теперь этот толкаемый слугами народ, почтительно слушающий поэта у черного крыльца, встает перед Пушкиным новым, самым желанным слушателем. За полгода до смерти он пишет свой "Памятник" — изумительный по совершенно новому для Пушкина подходу к задачам поэзии и по оценке собственных своих поэтических заслуг. По форме стихотворение является подчеркнутым подражанием одноименному стихотворению Державина. Державин в своем "Памятнике" перечисляет заслуги, которые, по его мнению, дают ему право на память в потомстве.

Заслуги эти певец "богоподобной Фелицы" — Екатерины II — видел в том,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

Так обосновывал свои права на посмертную славу крупнейший поэт времен Екатерины. Подчеркнуто противопоставляя себя ему, вот как обосновывал свои права на славу Пушкин. Он гордится, что к памятнику его не зарастет народная тропа и что памятник этот непокорною главою вознесся выше всяких царских памятников. И за что ждет он признания от народа?

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Строки эти вызывают справедливое недоумение исследователей. Они заявляют: всего Пушкина мы тут не можем видеть, он неизмеримо шире и глубже того образа и тех второстепенных заслуг, которые он себе приписывает в "Памятнике". Как мог он из всех своих многочисленных художественных достижений выдвинуть на первый план оду "Вольность" с "Кинжалом" да "Стансы", в которых призывает Николая оказать милость сосланным на каторгу декабристам? Еще большее недоумение вызывает заключительная строфа "Памятника":

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.

Поэт в гордом сознании заслуг говорит о своей посмертной славе в народе, и вдруг: "хвалу и клевету приемли равнодушно". При чем тут клевета? О ней ведь и речи не было. Зачем было с удовлетворением говорить о своей будущей всенародной славе, если поэт хочет относиться к хвалам равнодушно? "Не оспоривай глупца".

В чем? Откуда вдруг глупец?

Заключительная строфа "Памятника" делается понятною и вполне уместною, если в стихотворении мы будем видеть не только подведение Пушкиным итогов прежней своей поэтической деятельности, а и решительное заявление о переходе его на совершенно новые поэтические позиции. Пробуждение добрых

чувств, восславление свободы, призыв милости к падшим — вот что всего более начинает теперь ценить Пушкин в своей прошлой деятельности и вот в чем он усматривает "божие веление" для деятельности будущей. Вступая на этот новый путь, он готов к насмешкам глупца, к обиде и клевете, ему не нужны на этом пути ни хвалы, ни венец.

Пушкин ищет теперь сближения с Белинским; тайно от своих аристократических друзей посылает ему свой журнал "Современник", собирается пригласить его сотрудничать у него в журнале.

В поэзии Пушкина начинают звучать давно им забытые звуки. В каком-то публичном месте была выставлена картина, изображавшая распятие. Картина вызвала большой наплыв публики. К ней для охраны порядка были приставлены часовые. В стихотворении, вызывающе озаглавленном "Мирская власть", Пушкин с негодованием спрашивает:

К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей? —
Иль мните важности придать царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

Совершенно некрасовские звуки.

Пушкин начинает писать драму из времен феодального рыцарства с грандиозным замыслом — показать разгром рыцарского дворянства тогдашней демократией — крестьянством и растущим городским мещанством. Написаны были только начальные сцены, но до нас дошел конспект с планом всей трагедии. Горожанин Франц, сын суконщика, поднимает среди крестьян восстание против рыцарей, крестьяне разбиты, раненый Франц попадает в плен. Рыцари пируют. Узнают, что Франц, которого они решили повесить, — певец-миннезингер. Приказывают привести его. Франц поет. Песня его трогает красавицу Клотильду, невесту владельца замка Ротенфельда. Она просит Ротенфельда исполнить ее просьбу. Рыцарь галантно соглашается. Клотильда просит помиловать Франца. Приходится исполнить ее просьбу. "Так и быть, — говорит Ротенфельд, — мы его не повесим, но

запрем его в тюрьму, и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся". Здесь оканчиваются написанные сцены. В дальнейшем действие должно было развертываться так. Монах-алхимик Бертольд Шварц, посаженный в тюрьму по обвинению в колдовстве, изобретает в тюрьме порох. Восстание крестьян, осада замка. Владелец замка, неуязвимый в своих стальных латах, убит пулей; несокрушимые стены замка поднимаются на воздух и разлетаются, взорванные Бертольдом. Франц освобожден. На хвосте дьявола является Фауст. "Изобретение книгопечатания — своего рода артиллерия". Этой фразой кончается конспект драмы.

На старый привилегированный мир, закованный в сталь, огороженный крепкими стенами, буйно встают новые силы — энтузиазм угнетенных, усовершенствованная техника, широкое просвещение. И сталь пробита, неприступные стены рушатся, и все старое гибнет.

Материальное положение Пушкина запутывалось все больше. Пребывание в Петербурге, требования, которые предъявляли придворная жизнь и светские успехи его жены, были ему совершенно не по средствам. Пушкин должал направо и налево, брал взаймы у приятелей и малознакомых. Он был должен в книжные магазины, каретнику, модисткам, даже в мелочную лавку, даже собственному камердинеру. Кредиторы осаждали его квартиру, засыпали оскорбительными письмами с требованием уплаты.

Летом 1835 года Пушкин опять сделал попытку вырваться из Петербурга. Он писал Бенкендорфу: "Я вижу себя вынужденным положить конец тратам, которые ведут только к долгам и которые готовят мне будущее, полное беспокойства и затруднений, если не нищеты и отчаяния. Три или четыре года пребывания в деревне мне доставят снова возможность возвратиться в Петербург и взяться за занятия, которыми я обязан доброте его величества".

Царь снова отказал и только разрешил выдать Пушкину взаймы тридцать тысяч рублей, а в погашение их удерживать его жалованье. Деньги пошли на уплату самых насущных долгов, жалованье Пушкин перестал получать, и единственным источником дохода остался для него литературный труд. Но вечные заботы и неприятности, среди которых теперь жил Пушкин, работать ему не давали. "Здесь, в Петербурге, — писал он отцу, — я ничего не делаю, как только раздражаюсь до желчи".

Перестало писаться и в деревне, куда обычно Пушкин уезжал осенью для работы. Поехал он было в 1835 году на осень в Михайловское, прожил месяц — и писал жене:

"Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу — через пень-колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен".

В другом письме к жене он писал:

"О чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения, он его уже с половины промотал; ваше имение на волоске от погибели. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода тридцать тысяч... Государь заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, и не вижу ничего в будущем... Что из этого будет? Господь ведает!"

И страстно, сосредоточенно, как узник в тюрьме, он мечтал о свободе, о родных полях. И писал, обращаясь к жене:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит,
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Но Наталья Николаевна этому "побегу" совершенно не сочувствовала. Она терпеть не могла деревни, за всю жизнь с Пушкиным ни разу даже не побывала ни в Михайловском, ни в Болдине. На лето они нанимали дорогую дачу на каком-нибудь из модных петербургских островов, где можно было жить той же шумной и веселой светской жизнью, как зимою. Успехи Натальи Николаевны в свете непрерывно шли в гору. Теперь уже не Пушкин освещал ее своею славою, а она — первейшая, всех собою восхищавшая красавица — его, скромного титулярного советника и "сочинителя".

Гостившая в Петербурге одна деревенская знакомая Пушкина писала в провинцию сестре: "Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже; об жене его гораздо больше говорят еще, чем об нем; от времени до времени постоянно слышу, как кто-нибудь кричит об ее красоте".

Домашним хозяйством Наталья Николаевна совершенно не занималась, также и детьми. Балы, обеды, портнихи и модные магазины занимали все ее время. Пушкин жил дома беспризор-

но, без заботливого женского глаза. Один современник рассказывает, как резало ему глаза во время прогулки по Невскому проспекту, что на старенькой бекеше Пушкина сзади на талии недоставало пуговки. "Отсутствие этой пуговки, — пишет он, — меня каждый раз смущало, когда я встречал Пушкина и видел это. Ясно, что около него не было ухода". А художник Карл Брюллов вспоминал, как однажды вечером Пушкин затащил его к себе. Жены, по обыкновению, не было дома. Дети уже спали. Пушкин их будил и выносил к Брюллову поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовало картину натянутого семейного счастья. С обычной своей грубоватостью Брюллов воскликнул:

— На кой чорт ты женился!

В 1834 году в Петербург приехал молодой француз, барон Жорж Дантес, приверженец бурбонской династии. После июльской революции 1830 года, свергшей Бурбонов, он не пожелал остаться служить во Франции. В Петербурге Дантес благодаря своим связям был принят прямо офицером в первейший из всех гвардейских кавалерийских полков — кавалергардский. В высшем свете он сразу занял очень заметное положение. Высокого роста, красавец с дерзкими выпуклыми глазами, самоуверенный, веселый, остроумный, он везде был желанным гостем.

Пушкин познакомился с Дантесом вскоре после приезда его в Петербург. Французская живость, веселость и остроумие Дантеса понравились Пушкину. Дантес стал бывать у него в доме. Был он радушно принят и в семействах, близких к Пушкину, — у Карамзиных, Вяземских.

Встречались часто. Дантес влюбился в жену Пушкина. Ей он тоже очень понравился. Дантес умел разговаривать так, что ей с ним было весело; ему, как и ей, не было решительно никакого дела до всяких этих стихов, литератур, журналов, политик, которые так занимали ее мужа. Обоих подхватил горячий вихрь, головы затуманились влюбленностью.

Дантес неотступно следовал за Натальей Николаевной, являлся всюду, где бывала она, на балах танцевал только с нею. Летом 1836 года, после одного или двух общественных балов на модных минеральных водах на Елагином острове, весь светский Петербург определенно заговорил об ухаживаниях Дантеса за женою Пушкина. У Пушкина было объяснение с Натальей Николаевной, он отказал Дантесу от дома. Но влюбленные продолжали видеться у общих знакомых и на великосветских балах.

Княгиня В. Ф. Вяземская, жена поэта, предупреждала Наталью Николаевну о последствиях, к каким может повести ее поведение с Дантесом.

— Я люблю вас, как дочь. Подумайте, чем это может кончиться.

Наталья Николаевна беззаботно отвечала:

— Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду.

Над головою Пушкина, как влипчивая осенняя муха, все назойливее начинало летать ужасное слово "рогоносец".

На одном балу молодой негодяй, косолапый князь Долгоруков, подмигивая приятелям на Дантеса, поднимал сзади головы Пушкина пальцы, расставленные как рога.

Драма назревала быстро. Однажды студент Павел Вяземский, сын поэта, шел по Невскому с Натальей Николаевной, ее сестрой Екатериной и Дантесом. (С 1834 года с Пушкиными жили две старшие незамужние сестры Натальи Николаевны, Екатерина и Александрина Гончаровы.) "В это время, — рассказывает Вяземский, — Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы".

Пушкин доверял жене и не сомневался в ее верности. Но его приводила в бешенство та роль "рогоносца", которую ему злорадно стали приписывать в свете. А говорили там не об одном Дантесе. Царь Николай по-прежнему настойчиво, у всех на глазах продолжал ухаживать за Натальей Николаевной. Пушкин рассказывал другу своему Нащокину, что Николай, как офицеришка, ухаживает за его женою, нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены.

Утром 4 ноября 1836 года Пушкин получил по городской почте написанный на французском языке измененным почерком безыменный пасквиль такого содержания:

"Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Н. Нарышкина, единогласно избрали Александра Пушкина заместителем великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена".

Такие же письма были разосланы и многим знакомым Пушкина. Д. Н. Нарышкин был муж красавицы Марии Антоновны, находившейся в долголетней связи с императором Алексан-

дром I. Жалуя Пушкина в заместители Нарышкина, пасквиль совершенно ясно намекал, что считает положение Пушкина по отношению к Николаю таким же, как положение Нарышкина по отношению к Александру. Теперь выяснено, что пасквиль был написал князем Долгоруким; но за его спиною стояла целая шайка великосветских врагов Пушкина, в том числе, по-видимому, и Уваров, министр народного просвещения, высмеянный Пушкиным в сатире "На выздоровление Лукулла". Но Пушкин почему-то заподозрил в посылке пасквиля голландского посланника Геккерена. Геккерен был развратник и злой сплетник. Он страстно любил Дантеса и полгода назад усыновил его, так что Дантес звался теперь бароном Геккереном. Вызвать на дуэль посланника Пушкин считал неудобным и послал вызов Дантесу.

Старый Геккерен очень испугался последствий, которые могла иметь для карьеры его и его приемного сына предстоящая дуэль. В Дантеса давно уже была влюблена старшая сестра Натальи Николаевны, Екатерина Гончарова. Теперь, чтобы выпутаться из неприятного положения, в которое их поставил вызов Пушкина, Геккерены заявили, что Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее сестрою и готов на ней жениться. Пушкин взял свой вызов обратно.

10 января 1837 года произошла свадьба Дантеса с Гончаровой. Таким образом Дантес сделался родственником Пушкина. Он явился к нему со свадебным визитом, но Пушкин его не принял и велел передать, что не желает иметь с ним никаких отношений.

Однако они постоянно встречались на великосветских балах и у общих знакомых. Дантес продолжал ухаживать за Натальей Николаевной с еще большей настойчивостью, доходившей до наглости. Бешенство Пушкина его забавляло, и он в его присутствии ухаживал за Натальей Николаевной с особенным усердием. На ужинах громогласно пил за ее здоровье. Отпускал шуточки. Поведение Дантеса было прямо вызывающее.

Получалось впечатление, как будто он хочет показать, что женился не из боязни дуэли и что если его поведение не нравится Пушкину, то он готов принять все последствия этого.

Пушкин дошел почти до сумасшествия. Постоянно получались новые безыменные письма. Пушкин целыми днями разъезжал по городу, загонял несколько месячных парных извозчиков, либо, запершись в кабинете, бегал из угла в угол и кусал ногти. При звонке в прихожей выбегал и кричал прислуге:

— Если письмо по городской почте, не принимать!

А сам вырывал письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там громко кричал что-то по-французски. Дочь Карамзина,

княгиня Е. Н. Мещерская, приехав из-за границы в Петербург, была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и судорожными движениями, которые начинались на его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы. Близкие, дальние, прислуга — все видели, что с Пушкиным творится что-то чудовищное. Одна Наталья Николаевна ничего не замечала и продолжала держаться с Дантесом по-прежнему.

А он все больше наглел и делался все назойливее. Однажды приятельница Натальи Николаевны, Идалия Полетика, пригласила ее к себе. Хозяйки не оказалось дома, Наталью Николаевну встретил Дантес. Он умолял ее ответить на его любовь, грозил тут же на ее глазах застрелиться. Наталье Николаевне еле удалось вырваться.

Старый Геккерен, оставшись наедине с Натальей Николаевной, изображал на лице отчаяние и шептал ей:

— Возвратите мне моего сына. Когда же вы склонитесь на его любовь?

Мера переполнилась. 26 января 1837 года Пушкин отправил старшему Геккерену письмо, полное самых ужасных оскорблений. "Я принужден сознаться, господин барон, — писал Пушкин, — что роль ваша была не особенно прилична. Вы, представитель коронованной главы, — вы отечески служили сводником вашему сыну. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; вы ей бормотали: "возвратите мне моего сына!" Я не желаю, чтобы моя жена продолжала слушать ваши родительские увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын осмеливался разговаривать с моею женою и разыгрывать перед ней самоотвержение и любовь, тогда как он только подлец и шалопай..."

После такого письма дуэль сделалась неизбежной. Этого-то и добивался Пушкин: другого выхода из запутавшегося положения он не видел. По соглашению Геккерена с Дантесом, вызов Пушкину послал Дантес. Получив вызов, Пушкин сразу успокоился. Дуэль была назначена на следующий же день. Секундант Дантеса, атташе при французском посольстве виконт д'Аршиак известил Пушкина, что он будет ждать у себя до одиннадцати часов вечера, а после этого — на балу у графини Разумовской "лицо, которому поручено будет вести дело, долженствующее окончиться завтра", то есть секунданта Пушкина.

Но тут для деликатного Пушкина возникло большое затруднение: по русским законам, суровому наказанию подвергались не только непосредственные участники дуэли, но и секунданты.

Пушкину не хотелось подвергать неприятностям кого-либо из своих друзей.

Вечером он приехал на бал к Разумовской очень веселый, без признака задумчивости. Танцевал, шутил с друзьями, — никому, глядя на него, и в голову бы не пришло, что завтра его ждет кровавый поединок, на котором один из участников должен пасть. Пушкин переговорил с д'Аршиаком, обещал свести его со своим секундантом. Тут же на балу он обратился к советнику английского посольства Мегенесу, очень им уважаемому за честный нрав, и попросил его быть секундантом: иностранцу Мегенесу не грозила такая кара, как русскому. Мегенес пожелал знать причину дуэли. Пушкин не захотел ее сообщить, и англичанин отказался.

Пушкин уехал с бала, так и не раздобыв секунданта.

Дуэль и смерть

Наутро Пушкин встал рано. Был по-вчерашнему весел и облегченно спокоен. Напился чаю и сел писать. Пришло письмо от д'Аршиака. Он просил Пушкина прислать своего секунданта для переговоров. Но Пушкин все еще никого не нашел. Он ответил, что пусть сам Дантес выберет ему секунданта, если видит в том надобность, — "я заранее принимаю его, если бы даже это был его егерь". Д'Аршиак решительно отверг это действительно неслыханное предложение и заявил, что всякое дальнейшее промедление будет им рассматриваться как попытка Пушкина уклониться от дуэли. Делать нечего — Пушкин скрепя сердце отправился искать секунданта.

На Пантелеймоновской улице он случайно встретил своего лицейского товарища, подполковника инженерных войск К. К. Данзаса, и попросил его быть секундантом. Данзас с готовностью согласился. Он поехал к д'Аршиаку, они вдвоем выработали условия дуэли: стреляться на пистолетах, расстояние между барьерами десять шагов, противники становятся от барьеров за пять шагов назад; по данному сигналу, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, они могут пустить в дело свое оружие.

Данзас привез Пушкину письменные условия дуэли. Пушкин не стал их читать, согласился на все и послал Данзаса купить пистолеты. А сам весело сел заниматься делами своего журнала "Современник". Открыл книжку Ишимовой "История России в рассказах для детей" и зачитался ею.

К условленному часу он сошелся с Данзасом в кондитерской Вольфа на углу Невского проспекта. Они сели в сани и поехали к назначенному месту встречи — к Комендантской даче на Черной речке.

Приехали одновременно с противниками. Пошли в рощу, выбрали полянку. Она была покрыта сугробами снега. Оба секунданта и Дантес стали протаптывать в снегу широкую тропинку, по которой должны были сходиться противники. Пушкин, закутавшись в медвежью шубу, сидел на сугробе и нетерпеливо ждал. Секунданты отмерили на тропинке шаги, в качестве барьеров положили на снег свои шубы и начали заряжать пистолеты. Пушкин нетерпеливо спросил:

— Ну, что же? Кончили?

Все было готово. Противников расставили по местам, вручили им пистолеты. Данзас подал сигнал, махнув шляпой.

Пушкин быстро подошел к барьеру, остановился и стал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя одного шага до барьера, выстрелил. Пушкин упал на шинель, служившую барьером. Он лежал неподвижно, лицом вниз. Секунданты и Дантес кинулись к нему. Пушкин очнулся, поднял голову и сказал:

— Подождите. Я чувствую в себе достаточно силы, чтобы сделать выстрел.

Дантес возвратился на свое место, стал боком и прикрыл грудь правой рукой. Пушкин приподнялся на коленях и, полулежа, опершись левой рукой о лежавшую жердь, стал целиться. Целился долго. Раздался выстрел. Дантес упал. Пушкин бросил вверх пистолет и закричал:

— Браво!

И опять без чувств упал на снег. Однако Дантеса сбила с ног только сильная контузия: пуля пробила мясистые части руки и попала в пуговицу брюк; эта пуговица спасла его.

Придя в себя, Пушкин спросил д'Аршиака:

— Убил я его?

— Нет, вы его ранили.

— Странно, — сказал Пушкин. — Я думал, мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет... Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем.

Общими усилиями секунданты усадили Пушкина в сани. У Комендантской дачи они нашли карету, присланную на всякий случай Геккереном. Дантес и д'Аршиак предложили Данзасу воспользоваться каретой для Пушкина. Данзас принял предложение. Не сказав Пушкину, чья карета, он усадил в нее Пушкина и поехал с ним в город.

Наталья Николаевна недавно воротилась с прогулки вместе с сестрою Александриною и ждала Пушкина к обеду. Вдруг вошел без доклада Данзас и, стараясь быть спокойным, сообщил, что Пушкин сейчас стрелялся с Дантесом и ранен, но очень легко.

Наталья Николаевна бросилась в переднюю, куда уже вносили на руках Пушкина. Она упала в обморок.

Пушкина уложили на диван в его кабинете. Очнувшаяся жена хотела войти, но Пушкин громким голосом закричал:

— Не входи!

Он не хотел, чтобы она увидала его рану, и позвал ее только тогда, когда уже был раздет и уложен.

Кинулись за докторами. Известных врачей никого не застали дома, привезли двух первых попавшихся. Пушкин пожал им руки и сказал:

— Плохо со мною! — И спросил: — Что вы думаете о моей ране? Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу, дорогою шло много крови.

Рана была в живот. Пуля ушибла кишки, раздробила крестец и засела в нем.

— Скажите мне откровенно, как вы находите мою рану? — спросил Пушкин.

— Не могу скрывать, — ответил доктор, — что рана ваша опасна.

— Скажите мне — смертельная?

— Считаю долгом не скрывать от вас этого.

— Спасибо. Вы поступили со мною честно. — Он потер рукою лоб. — Нужно устроить свои домашние дела. — Взглянул на книги, длинными рядами стоявшие на полках, и сказал: — Прощайте, друзья!

Один за другим съезжались доктора, съезжались друзья Пушкина — Жуковский, Плетнев, Вяземский, А. И. Тургенев. Пушкин страдал сильно, но часто спрашивал про жену:

— Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском.

И ей самой он сказал:

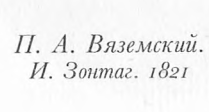
— Не упрекай себя за мою смерть. Это — дело, которое касалось меня одного.

Лейб-хирурга Арендта он просил передать императору просьбу не преследовать Данзаса за участие в дуэли. Данзас от него не отходил. Он сказал Пушкину, что хочет вызвать Дантеса на дуэль, чтобы отомстить за него. Пушкин поморщился:

— Нет, нет! Мир, мир.

Петербург. Аничков мост.
М.-Ф. Дамам-Демартре. 1813





П. А. Вяземский.
И. Зонтаг. 1821

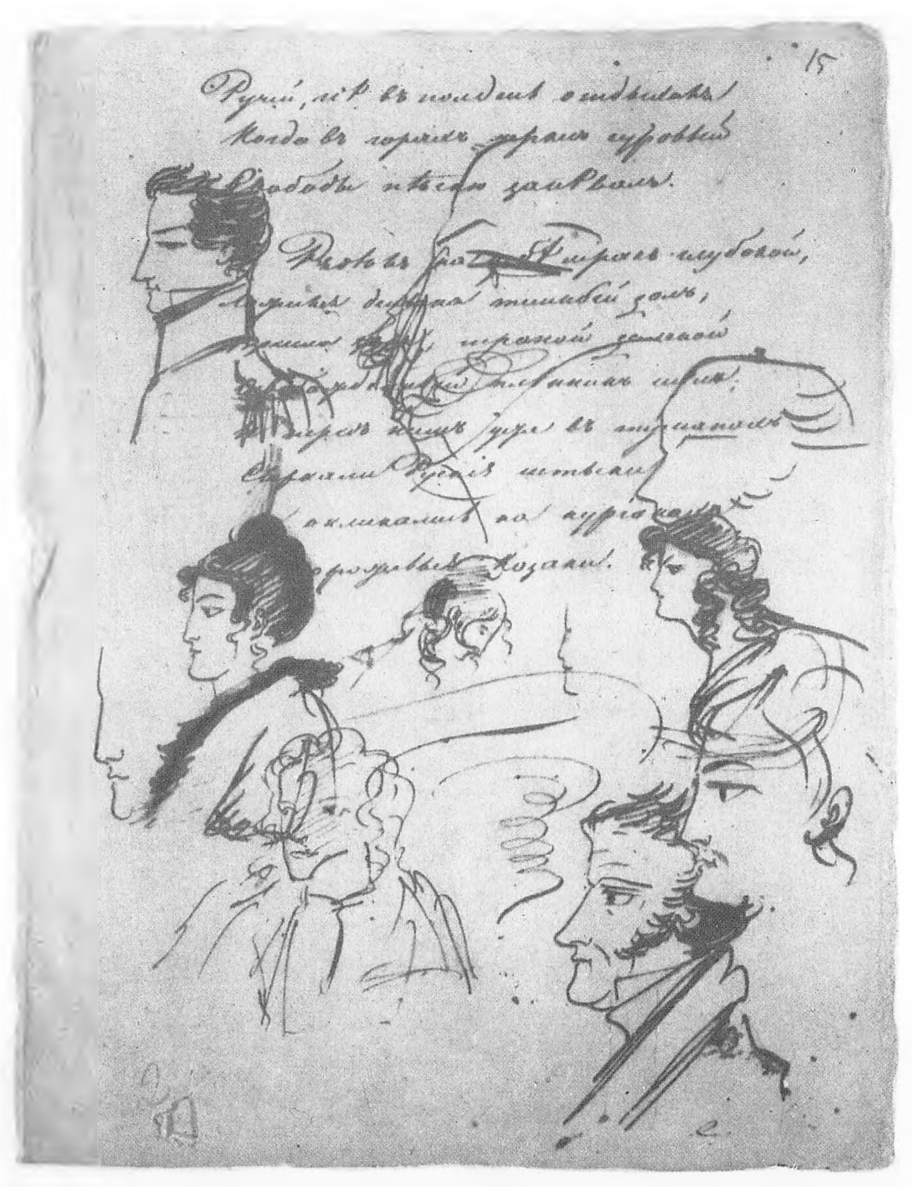


Крым. Гурзуф.
К. Ф. Кюгельген. 1824



В. А. Жуковский.
О. Эстеррейх. 1820





Александр, Екатерина, Елена, Мария, Николай Раевские и автопортрет в беловой рукописи поэмы "Кавказский пленник". 1821



Е. К. Воронцова.
Ж. Э. Тельчер. 1830 (?)



М. С. Воронцов.
К. Гампельн. 1820-е гг.

Одесса.
П. Мейер с оригинала К. Бассоли. 1830-е гг.

Злоба и бешенство, которыми он непрерывно кипел последние месяцы, теперь исчезли: он стал спокоен, кроток и умиротворен. У некоторых друзей было впечатление, что Пушкин искал смерти и был рад ей, как разрешению своего безвыходного положения.

В брюшной полости Пушкина были осколки кости, кишечник ушиблен. В таких случаях первое требование лечения — дать кишечнику полный покой, остановить движение его опиумом. Между тем, по совершенно непонятным причинам, лейб-хирург Арендт назначил больному клизму. Последствия получились ужасные. Глаза Пушкина стали дикими и, казалось, готовы были выскочить из орбит, лицо покрылось холодным потом, руки похолодели. Несмотря на все усилия воли, он кричал так, что всех привел в ужас. Испуганный камердинер сообщил Данзасу, что Пушкин велел ему подать ящик письменного стола и уйти, а в ящике этом пистолеты. Данзас поспешил к Пушкину и отобрал у него пистолет, который тот успел спрятать под одеяло. Пушкин сознался, что хотел застрелиться, потому что страдания стали невыносимы.

К утру боли несколько уменьшились, и Пушкин овладел собою. И уж до самой смерти ни одним стоном, ни одним криком не выдал своих страданий. Доктор Арендт с изумлением говорил: "Я был в тридцати сражениях, я видел много умирающих, но мало видел подобного". А Плетнев рассказывает: "Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим".

У крыльца пушкинской квартиры была давка. Знакомые и незнакомые толпились у входа, непрерывно сыпались вопросы: "Что Пушкин? Легче ли ему? Есть ли надежда?" Какой-то старичок говорил с удивлением:

— Господи боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!

Густые толпы загораживали всю улицу перед квартирой Пушкина, к крыльцу невозможно было протискаться. Но великосветских людей тут не было. Саксонский посланник в донесении своему правительству писал: "Только немногие из лиц высшего общества окружали смертный одр поэта, в то время как нидерландское посольство (где жил Дантес) атаковывалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека".

Пушкин слабел с каждым часом. Смерть приближалась, и он ясно сознавал это. Друзья говорили ему:

— Все мы надеемся, не отчаивайся и ты.
Пушкин отвечал:
— Нет, мне здесь не житье. Я умру, да, видно, уж так и надо.
Около полудня 29 января Пушкин попросил дать зеркало, посмотрелся в него и махнул рукой. Пульс падал и вскоре совершенно исчез. Руки начали стыть. Вдруг Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, он сказал внятно:
— Позовите жену, пусть она меня покормит.
Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья мужа, поднесла ему ложечку, другую и приникла лицом к его лбу. Он тихо погладил ее по голове и сказал:
— Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо!
Пушкин стал впадать в полузабытье. При нем все время находился В. И. Даль, врач и писатель, которого Пушкин любил. Умирающий несколько раз подавал ему руку, сжимал ее и говорил:
— Ну, подымай же меня. Пойдем, да выше, выше, — ну, пойдем!
Пришел в себя, сказал:
— Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко, — и голова закружилась.
Несколько раз пристально всматривался в Даля и спрашивал:
— Кто это? Ты?
— Я, друг мой.
— Что это я не мог тебя узнать.
Помолчал, закрыв глаза, опять стал искать руку Даля, потянул ее и сказал:
— Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!
Начиналась агония. Пушкин попросил повернуть его на правый бок. Даль и Данзас осторожно подняли его под мышки и подложили за спину подушку. Вдруг, будто проснувшись, Пушкин быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:
— Кончена жизнь!
Даль недослышал и ответил:
— Да, кончено. Мы тебя поворотили.
Пушкин повторил внятно:
— Жизнь кончена.
Дыханье становилось все медленнее. Последний вздох. Жизнь отлетела. Присутствующие во всю жизнь не могли забыть величавого, блаженного спокойствия, которое разлилось по лицу умершего Пушкина.

На набережной Мойки, перед домом, где умер Пушкин, творилось что-то, для того времени совершенно необычайное. Как волны прилива, росли и росли толпы народа, желавшие поклониться праху Пушкина. По показаниям очевидцев, у гроба Пушкина перебывало от тридцати до пятидесяти тысяч человек. Со всех концов города тянулись к Мойке экипажи. Извозчиков нанимали, просто говоря: "К Пушкину". Дочь историка Карамзина, княгиня Е. Н. Мещерская, рассказывает: "Множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пестрою толпою вокруг гроба Пушкина. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху Пушкина. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь и сожалел о краткости его блестящего поприща".

Все очевидцы дружно указывают на то, что отмечает княгиня Мещерская: у гроба Пушкина отсутствовало высшее дворянство, воздававшиеся ему почести были чисто "плебейские"; к гробу теснились студенты, люди свободных профессий, чиновники низшего разряда, купцы, "простонародье" — тот только еще возникавший слой радикальной демократии, который вскоре получил название "разночинцы". На похоронах Пушкина этот слой впервые выступил на общественную арену и дал себя почувствовать как общественная сила.

Последние годы Пушкин жил в кольце ужасающего одиночества — общественного, морального, культурного, литературного, семейного. "Живи один!" — горько говорил он себе. Он и не подозревал, сколько тысяч, сколько десятков тысяч у него было горячих, искренних друзей за пределами того кольца, в котором он томился и погибал.

Смерть дала всем им почувствовать великую, незаменимую ценность и нужность Пушкина. И они громко, решительно, не словами, а всеми своими действиями сказали:

— Пушкин — наш!

В толпе шли взволнованные разговоры об иностранцах, убивших великого поэта России; говорили, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить. Говорили и вообще об иностранцах, стоявших во главе правительства. Один из русских сановников получил анонимное письмо*, в котором прямо говорилось об "умышленном, обдуманном убийстве Пушкина". "Дальнейшее пренебрежение царя к своим

* Анонимное письмо — письмо без подписи.

верным подданным, — писал автор, — увеличивающиеся злоупотребления во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная недостойным лицам, стая немцев — все, все порождает более и более ропот и неудовольствие в публике и в самом народе!.. Вас просят представить его величеству о необходимости поступить с желанием общим, иначе мы горько поплатимся за оскорбление народное, и вскоре!"

Появилось негодующее стихотворение тогда почти еще неизвестного поэта Лермонтова — огненная поэтическая прокламация. Стихи с необычайною быстротою распространялись в списках, и все повторяли за Лермонтовым:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!
Но есть и божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный судия, он ждет,
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Как видим, негодование не распространялось на самого императора. Но раскаты этого негодования гремели уже над головами ближайших его сотрудников, в самой непосредственной близости к императору. Дело принимало нешуточный оборот.

Бурный взрыв общественного негодования изумил и испугал Николая. Вначале он равнодушно отнесся к смерти Пушкина и вполне оправдывал поведение Дантеса. Напор снизу заставил императора понять, что дело шло не о ничтожном "сочинителе", нечиновном камер-юнкере его двора, а о человеке, высоко ценимом самыми широкими кругами страны. Волей-неволей пришлось перестроить свое отношение к случившемуся, пришлось притвориться, что и им самим смерть Пушкина расценивается как великая национальная потеря. Дантес был разжалован в солдаты, и как иностранный подданный, выслан из России, Геккерен, по требованию Николая, отозван нидерландским правительством с поста посланника.

С другой стороны, Николай поспешил преградить все пути к проявлению бурно закипавшего общественного негодования. Газетам строжайше было приказано при сообщении о смерти Пушкина "соблюдать надлежащую умеренность и тон прили-

чия". Одна газета получила выговор за заметку, в которой писалось, что "солнце нашей поэзии закатилось" и что Пушкин "скончался в середине своего великого поприща". В соседних с квартирой Пушкина домах были расставлены военные пикеты, у подъезда и в самой квартире сновали шпионы.

В ночь перед выносом тела, с 30 на 31 января, когда толпа разошлась и в квартире сидели только несколько ближайших друзей Пушкина, явились жандармы во главе с генералом Дубельтом, начальником штаба корпуса жандармов. Они перенесли гроб не в Исаакиевский собор, где назавтра было назначено отпевание, а в Конюшенную церковь. В день отпевания подступы к церкви были оцеплены полицией и пропускались только приглашенные. Отпели, поставили гроб в церковный подвал.

В полночь со 2 на 3 февраля к церкви подъехали дроги и две кибитки. В одной кибитке сидел жандармский офицер, в другой — друг Пушкина А. И. Тургенев, которому было поручено проводить тело в Псковскую губернию до места погребения в Святогорском монастыре, недалеко от пушкинской деревни Михайловское. Поставили гроб на дроги и помчались во весь опор из города. Псковскому губернатору заранее было послано высочайшее приказание при проезде гроба "воспретить всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию".

Своеобразная похоронная процессия мчалась по снежным равнинам на курьерских, днем и ночью; как будто преступники спешили, тайно от всех, привести к концу свое черное дело.

После смерти

Приложив все силы, чтобы затравить насмерть величайшего человека своего царствования, император Николай охотно пошел навстречу просьбе Жуковского обеспечить семью Пушкина. Этим он давал повод восхвалять его за великодушие, а Наталье Николаевне, конечно, очень охотно готов был прийти на помощь. Одному приближенному император сказал:

— Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина! Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?

Однако семью Пушкина обеспечил щедро: велел заплатить все долги (их оказалось около ста двадцати тысяч рублей), назначил крупную пенсию вдове и дочерям до замужества,

сыновьям до поступления на службу; кроме того, велел единовременно выдать вдове десять тысяч рублей и издать на казенный счет в ее пользу сочинения мужа.

В большей или меньшей степени все винили Наталью Николаевну в смерти Пушкина. Ей тяжело было встречаться с людьми. И она поспешила уехать из Петербурга. Гроб Пушкина еще стоял в квартире, а уже шла спешная укладка посуды, платья и мебели. 16 февраля Наталья Николаевна уехала с детьми в Калужскую губернию, в имение старшего своего брата Д. Н. Гончарова "Полотняный Завод". С нею поехала ее незамужняя сестра Александрина, заведовавшая в их доме хозяйством и воспитанием детей. Александрина была единственная в семье Гончаровых, которая высоко ценила Пушкина и всем сердцем любила его.

О муже Наталья Николаевна печалилась недолго. Уже 8 апреля сын историка Карамзина писал матери: "То, что вы мне говорили о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всей души желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро". А отец Пушкина, посетив в начале осени свою невестку, нашел, что ее сестра Александрина гораздо больше огорчена смертью Пушкина, чем Наталья Николаевна.

Наталья Николаевна два года прожила в "Полотняном Заводе". После блестящей петербургской жизни деревенская жизнь казалась ей скучною и однообразною. Жена брата держалась с нею бестактно, постоянно подчеркивала, что хозяйка тут она, что гостьи должны ценить всякое ее одолжение. Наталья Николаевна грустила, нередко прихварывала и целыми неделями не выходила из своих комнат.

В 1839 году Наталья Николаевна с семьей и сестрой Александриной воротилась в Петербург. Она поселилась вдали от центра, на Аптекарском острове, и стала вести жизнь самую уединенную. Друзья Пушкина — Карамзины, Вяземские, Жуковский, Плетнев — проведывали ее. В сочельник рождества 1841 года Наталья Николаевна покупала в английском магазине игрушки на елку для своих детей. Там она неожиданно встретилась с императором — он тоже заехал в магазин купить игрушки для елки своим детям. Николай сразу узнал Наталью Николаевну, очень милостиво беседовал с нею, а вслед за этим выразил фрейлине Е. И. Загряжской, тетке Натальи Николаевны, желание, чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила украшением придворных балов.

Для Натальи Николаевны началась прежняя блестящая жизнь, беспрерывные балы и увеселения, всеобщие восторги от ее

красоты, всеобщая влюбленность. Летом 1844 года она вышла замуж за кавалерийского генерала П. П. Ланского. Он был красавец, в светском кругу утонченно вежливый человек, а на плац-параде — свирепый николаевский генерал, за малейшую провинность подвергавший солдат самым бесчеловечным истязаниям. Умерла Наталья Николаевна 26 ноября 1863 года.

Дело о дуэли Дантеса-Геккерена с Пушкиным рассматривалось военным судом. Постановлено было разжаловать Дантеса в солдаты, лишив чинов и дворянского достоинства. "Преступный же поступок самого камер-юнкера Пушкина, — добавлял приговор суда, — подлежавшего равному с подсудимым Геккереном наказанию, по случаю его смерти предать забвению". Император утвердил приговор, но приказал "рядового Геккерена, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты".

В середине марта 1837 года Дантес в солдатской шинели был отвезен жандармами до границы. Вскоре вслед за ним, устроив свои дела, выехали беременная его жена Екатерина Николаевна и приемный его отец Геккерен. Старик Геккерен собирался поехать только в отпуск; в прощальной аудиенции император ему отказал и прислал в подарок табакерку. Табакерки дарились посланникам, только когда они окончательно покидали свой пост; присылкой табакерки Николай дал понять Геккерену, что больше не желает видеть его у себя посланником Голландии, и Геккерену пришлось уехать совсем.

Дальнейшая карьера Дантеса сложилась очень для него удачно. Он всегда умел великолепно устраивать свои дела. После февральской революции, когда президентом Французской республики стал Луи-Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона, Дантес был в числе правых депутатов, способствовавших государственному перевороту 1851 года; в результате этого переворота Луи-Наполеон стал императором Наполеоном III. В награду за свои услуги Дантес получил от императора звание сенатора с жалованьем в тридцать тысяч франков.

Дантес был ловкий делец, участвовал в разных промышленных и финансовых аферах, был одним из основателей парижского газового общества, нажил крупное состояние. После свержения Наполеона поселился в своем родовом имении Зульце в Эльзасе. Умер в глубокой старости, восьмидесяти трех лет, окруженный детьми, внуками и правнуками.

Романтически настроенным людям очень хотелось думать, что убийство Пушкина несмываемым черным пятном лежало на

совести Дантеса, что он до конца жизни мучился сознанием совершенного им преступления. На известной картине Наумова "Дуэль Пушкина" подавленный Дантес, низко опустив голову, медленно уходит вдаль от раненного им Пушкина. Некоторые русские, встречавшиеся с Дантесом за границей, рассказывали, как горячо оправдывался перед ними Дантес, как уверял, что даже не подозревал, на кого он поднимал руку, что был вынужден к поединку, что целил Пушкину в ноги, что убийство Пушкина жестоко мучит его совесть и т. п. В действительности Дантес вспоминал о случившемся без всяких мучений; он заявлял, что иначе поступить не мог, что действовал вполне сообразно с долгом чести, что Пушкин сам был виноват и что если бы не он убил Пушкина, то Пушкин убил бы его.

Человек и художник

Пушкин был некрасив. Наружность его на большинстве портретов сильно приукрашена. По поводу известного его портрета, писанного Кипренским, Пушкин писал Кипренскому:

Себя, как в зеркале, я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

В одном юношеском стихотворении Пушкин характеризует себя: "потомок негров безобразный". И незадолго до смерти писал о своем "арапском безобразии". Прадед Пушкина по матери, как мы знаем, был абиссинец. В Пушкине его происхождение сказывалось круто курчавыми волосами, оскалом ослепительно белых зубов, общим "африканским" видом лица и необычайной для европейца живостью движений.

Роста он был небольшого, но сложен крепко и соразмерно, любил много ходить, прекрасно фехтовал, хорошо стрелял в цель. Волосы были каштанового цвета, глаза синие — быстрые и проницательные. Обыкновенно носил бакенбарды.

В обычном разговоре, особенно в малознакомом обществе, Пушкин часто с трудом подыскивал слова, был вял и часто даже скучен. Но когда воодушевлялся, он весь преображался: лицо, озаренное внутренним светом, становилось прекрасно, глаза загорались, как звезды, разговор делался блестящим и увлекательным.

Эта изумительная внутренняя красота пушкинского лица лучше всего схвачена в портрете его, сделанном Томасом Райтом (1837 год).

Смех Пушкина, громкий, заливчатый, заражал своей веселостью и был пленителен.

Писатель Хомяков утверждал, что смех Пушкина был не менее увлекателен, чем его стихи.

Этот веселый смех Пушкина, так же как и жизнерадостная поэзия его, многих, подобно Брюллову, вводил в заблуждение и заставлял думать, что Пушкин был очень жизнерадостный, веселый и счастливый человек. Это глубоко неверно. Драматург барон Е. Ф. Розен сообщает: "Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти; чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха. В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и как будто бы ему самому при этом невесело на душе". Сам Пушкин говорил журналисту Ксенофонту Полевому, что в основании характер его грустный, меланхолический и если он иногда бывает в веселом расположении духа, то редко и недолго. Письма Пушкина были полны жалоб на хандру, скуку, тоску; только очень редко прорываются жизнерадостные нотки. "Я мнителен и хандрлив (каково словечко?)", — пишет он. Свой нрав Пушкин характеризует как "неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый".

И нервная организация Пушкина и условия его жизни заключали в себе очень мало данных для жизнерадостности. Мало для нее было данных и в классовом положении Пушкина — в его принадлежности к разорявшемуся среднепоместному дворянству. Сила Пушкина была не в органической жизнерадостности, а в том, что он не давал мрачным и упадочным настроениям овладеть его творчеством, что он умел силой творчества преображать жизнь в радость и светлую красоту.

Интересно наблюдать, как первоначальные грустные и темные настроения, вызывавшиеся жизнью, Пушкин переплавлял в своем творчестве в ясное приветствование жизни. В сентябре 1835 года он писал жене из псковской деревни: "В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уж не пляшу... Все кругом меня говорит, что я старею..."

Это эгоистическое, темное, как руда, живое чувство досады старости на молодую жизнь переплавляется огнем творчества в светлое, как золото, примиренное благословение идущей на смену молодой жизни:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

Пушкин не любил Петербурга, находил его "душным для поэта", скучным, нагоняющим тоску. Но в "Медном всаднике" он сумел увидеть в том же Петербурге своеобразную, пленительную красоту и дал нам почувствовать эту красоту:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла...

Кипящий страстями, безудержно отдающийся минутным настроениям в жизни, Пушкин в творчестве был глубоко человечен, мудр и спокоен, "выше мира и страстей".

Перед женитьбой он писал матери своей невесты: "Бог свидетель, я готов умереть ради нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, эта мысль — мучение адское!" А в творчестве своем Пушкин, глядя на пленившую его девушку, от всей души готов

...благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцем ей желать все блага жизни сей,
Веселья, мир души, беспечные досуги,
Все — даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.

В жизни ревнивый до бешенства, Пушкин устами старого цыгана в "Цыганах" так описывает ревность:

...вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

Гоголь пишет: "Даже и в те поры, когда Пушкин метался сам в чаду страстей, поэзия была для него святыней, — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей. А между тем все там — история его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышал одно только благоухание; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание, того никто не мог услышать".

Искусство действительно было для Пушкина святыней, храмом, в который он входил с глубочайшим благоговением.

Служенье муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво.

Когда Пушкин говорит об искусстве, все время у него: "святая лира", "божественный глагол", "алтарь, где твой огонь горит"; вдохновение — это "приближение бога".

Расскажем, как работал Пушкин. Всего чаще писал он осенью. Чем ненастнее, чем слякотнее была осень, тем для него было лучше. Писал обыкновенно по утрам, лежа в постели, и опускал исписанные листки прямо на пол. Но иногда на него налетал такой бурный вихрь вдохновения, что он писал дни напролет, еле успевая поесть, что попадало под руку, и даже ночью грезил стихами. Так, например, была написана "Полтава".

Состояние вдохновения, которое владело им в часы творчества, Пушкин описывает так:

...яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья.
. . . .
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.

Процесс пробуждения вдохновения Пушкин с чисто научной точностью описывает в стихотворении "Осень" (1833):

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем,
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Пушкин обыкновенно творил с пером в руке. Черновики его хранят живые следы бурно клокочущего вдохновения. Он захлебывается под напором нахлынувших мыслей, образов, эпитетов. Напишет слово или фразу — сейчас же нервно-торопливо зачеркивает, пишет сверху новый вариант, опять зачеркивает; так опять и опять. Слов не дописывает, иногда набрасывает одни только заключительные рифмы стихов и пишет дальше. Вдруг волна вдохновения отхлынула. Пауза. Медленно накопляется творческая энергия для новой волны. Перо задумчиво набрасывает рядом с написанным рисунки, большею частью имеющие отношение к теме стихов. Нарастает новая волна. Набежала. И опять, обгоняя друг друга, на бумагу ложатся новые слова и стихи.

...Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов...

Однако не для всего, что Пушкин писал даже в художественных произведениях, он считал нужным дожидаться вдохновения. Вдохновение он берег для наиболее ответственных мест. По поводу "Бориса Годунова" он писал другу: "Я пишу и думаю. Большинство сцен требует только рассуждения; когда я дохожу до сцены, требующей вдохновения, я пережидаю или перескакиваю через нее".

Иногда на Пушкина находило вдохновение, когда не было возможности сейчас же заносить сочиненное на бумагу, напри-

мер в дороге или на прогулке. Сцену свидания Димитрия с Марией у фонтана в "Борисе Годунове" Пушкин сочинил, возвращаясь верхом от соседей. Приехав домой, он не нашел пера, чернила высохли, это его раздосадовало, и он только через две-три недели собрался записать сцену, когда многое уже забыл. Друзьям, восхищавшимся ею, Пушкин говорил, что первоначальная сцена, совершенно уже оконченная в уме, была несравненно прекраснее написанной.

Интересно, что содержание произведения Пушкин предварительно записывал иногда прозою, — не только план большого целого произведения, но и содержание отдельных кусков его в таких подробностях, каких, казалось бы, истинный поэт никак не мог бы предварительно набрасывать прозою. Вот, например, предварительный прозаический набросок письма Татьяны к Онегину:

"Я знаю, что вы презираете... я долго хотела молчать, и думала, что все увижу... Я ничего не хочу — хочу вас видеть, — у меня нет никого, придите... Вы должны быть и то, и то; если нет, меня бог обманул. Зачем я вас увидела, но теперь уже поздно. Я не перечитываю письма..."

Исчерканный и перечерканный черновик Пушкин тщательно переписывал набело и при этом его перерабатывал. И сейчас же опять начинал черкать и переправлять беловик, который вскоре превращался в новый черновик. Пушкин опять его переписывал. Часто после этого откладывал написанное, иногда очень надолго; бывало, что он возвращался к нему только через несколько лет. После смерти Пушкина найдено было огромное количество стихотворений, казалось бы, безупречных. Но Пушкин не считал еще их законченными, не отдавал в печать — они ждали дальнейшей отделки.

Та легкость и простота, которой мы изумляемся в стихах Пушкина, была плодом огромнейшего, никому со стороны не видного труда. "Без труда нет истинно великого", — говорил Пушкин.

С такой же строгой требовательностью, как к творчеству, Пушкин относился и к своему самообразованию. Он был одним из образованнейших людей своего времени и с порицанием отзывался о современных ему писателях:

— Мало у нас писателей, которые бы учились; большая часть только разучиваются.

Сам он часто последние деньги тратил на книги и сравнивал себя со стекольщиком, который разоряется на покупку нужных для его ремесла алмазов.

Про огромную работу Пушкина над своим развитием мало кто знал. Как и в лицейские времена, он не любил выказывать своих знаний, и многие, знавшие Пушкина не близко, считали его лентяем, неспособным ни на какой усидчивый труд. Между тем трудоспособность его была огромна. Уже взрослым он хорошо изучил латинский язык, который в лицее знал очень плохо, изучил английский, итальянский языки; только немецкий почему-то ему не давался.

— Никак не могу с ним сладить, — говорил он. — Выучусь, и опять все забуду: это случалось уже не раз.

Многосторонности и глубине лингвистических* знаний Пушкина дивились специалисты. О разговорах Пушкина на исторические темы мало к нему расположенный журналист Ксенофонт Полевой замечает: "Если бы записан был хоть один такой разговор Пушкина, перед ним показались бы бледны профессорские речи Вильмена и Гизо". "Когда говорил он о политике внешней и отечественной, — рассказывает знаменитый польский поэт Мицкевич, — можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентских прений".

Был он очень умен. Рассказывают, будто после встречи с Пушкиным, возвращенным из ссылки, император Николай сказал одному из приближенных:

— Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?

И на вопросительное недоумение собеседника царь назвал Пушкина. Анекдот малодостоверный. Да и не так уж компетентен был Николай в суждении об умственных способностях человека. Но и умнейшие друзья Пушкина пасовали перед его умом. "Бог всем дал орехи, а Пушкину ядра", — писал в дневнике историк Погодин. Ни Жуковский, ни Вяземский спорить с Пушкиным не могли — он забивал их совершенно. Вяземскому очень не хотелось, чтобы Пушкин был умнее его; он надуется и молчит. А Жуковский смеется:

— Ты, брат Пушкин, чорт тебя знает, какой ты, — ведь вот я чувствую, что вздор говоришь, а переспорить тебя не умею, так ты нас обоих в дураках и записываешь.

Интересно, что при таком уме Пушкин был очень суеверен.

Он боялся тринадцати человек за столом, трех горящих свечей, просыпанной соли, встречи со священником, перебежавшего дорогу зайца. В сентябре 1833 года, во время поездки своей на

* Лингвистика — наука о языке.

восток, он писал жене из Симбирска: "Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Чорт его побери, дорого бы я дал, чтобы его затравить. На третьей станции стали мне закладывать лошадей, — гляжу: нет ямщиков, — один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой. Повезли меня обратно — я заснул — просыпаюсь утром — что же? не отъехал я и пяти верст. Гора — лошади не везут... наконец взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой: уж этого зайца я бы отыскал".

У Пушкина было отсутствие того, что французы называют "завистью мастера". Он так любил искусство, что всякая удача товарища-писателя вызывала у него искреннейшую радость. Про стихи Баратынского при нем нельзя было говорить дурного, от Языкова он был в восхищении, Дельвига ставил незаслуженно высоко; горячо приветствовал выступление Гоголя; как известно, он ему даже уступил сюжеты "Ревизора" и "Мертвых душ". Молодые писатели встречали у него чисто товарищеский прием и энергичную поддержку. Поэт Кольцов с робостью явился к Пушкину и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона. Пушкин крепко пожал ему руку и заговорил как с давним знакомым, как с равным себе. Молодой поэт Губер перевел первую часть гетевского "Фауста". Цензура запретила перевод. Губер в отчаянии сжег его. Пушкин узнал про это, отыскал Губера, отправился к нему на квартиру и уговорил снова взяться за перевод.

Каждую переведенную сцену Губер приносил Пушкину, читал ему, Пушкин делал свои замечания и подбодрял Губера работать дальше.

Любовь Пушкина к искусству сказывалась и в том, что, в противоположность большинству новаторов, он с большим почтением относился к своим предшественникам, нисколько при этом не скрывая от себя их недостатков. О Державине, например, он в частном письме писал Дельвигу: "Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, — ни даже о правилах стихосложения".

Однако, когда близкий Пушкину журнал получил статью одного из своих сотрудников, где о Державине говорилось недостаточно почтительно, Пушкин настоял, чтобы отзыв о Державине был выброшен из статьи. "Державин всё — Державин, — писал он редактору. — Имя его нам уже дорого... И вообще

— не должно говорить о Державине таким тоном, каким говорят об N. N., об S. S.". А когда А. Бестужев неблагоприятно отозвался о поэзии Жуковского, Пушкин возмутился. "Зачем кусать нам груди кормилицы нашей, потому что зубки прорезались? — писал он. — Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности".

Пушкин питал непреодолимое отвращение ко всему показному.

В декабре 1824 года произошло знаменитое наводнение в Петербурге. Пушкин по этому поводу писал из деревни брату: "Этот потоп мне с ума нейдет... Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного. Ничуть не забавно стоять в "Инвалиде" наряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым". На чужое горе он вообще был отзывчив. Прочел в газетах объявление, что какой-то слепой поп перевел библейскую книгу Сираха и издает по подписке, — и, сам нуждаясь в деньгах, поручает брату подписаться на несколько экземпляров. Бедному не подавал меньше двадцати пяти рублей.

Всю жизнь в Пушкине было очень много чего-то совершенно детского. "Славный муж по зрелости таланта и вместе мальчик по образу жизни и поступкам", — характеризует его один современник. Уже женатым, приедет в Тригорское, сидят в гостиной. Пушкин шутит, смеется. На столе горят свечи. Вдруг Пушкин прыг с дивана через стол, свечи валятся. Барышни его говорят:

— Пушкин, что вы шалите так, пора остепениться!

А он только смеется. В Тригорском часто влезал в открытое окно. "Кажется, во все окна перелазил", — вспоминает одна из тригорских обитательниц.

Дети его очень любили, он разговаривал и играл с ними не с снисходительностью взрослых, а сам становился с ними ребенком, всей душой участвовал в их играх, никакой не преследуя педагогики. Он, например, обучил боксу шестилетнего Павла Вяземского, сына поэта; мальчик так увлекся наукой, преподанной ему знаменитым другом, что на танцевальных детских вечерах вызывал всех драться с ним, а если отказывались, колотил по всем правилам. Однажды княгиня Вяземская, воротившись домой, застала Пушкина с Павлом; они барахтались и плевали друг в друга.

И, как ребенок, Пушкин совершенно не умел взвешивать последствия своих поступков. Еще в лицее, как мы видели, он изобидит насмешками товарища, а когда получит отпор, мучится

и страдает. Так же и впоследствии. Стрельнет убийственнейшей эпиграммой в Воронцова, Уварова или Дондукова-Корсакова, а потом возмущается, что могущественные враги преследуют его и притесняют.

Мицкевич рассказывает: "Я довольно близко и довольно долго знал Пушкина; находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний и благородный. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил; все, что было в нем хорошего, возникало из сердца".

Дворянско-крепостническая среда, в которой вырос Пушкин, ее нравы и предрассудки наложили на него глубокую печать. Он до конца жизни не мог отделаться от гордости своим древнедворянским родом, был очень чувствителен, когда ему казалось, что кто-нибудь задел его "честь", и вызывал иногда на дуэль по самым пустяковым поводам. Было приспособленчество, была детская неспособность отстаивать свои интересы.

Но исключительно благородная красота души Пушкина пламенными языками то и дело прорывалась в жизни сквозь наносную грязь, ярким огнем пылала в его творчестве и ослепительным светом вспыхнула в его смерти.

Конечно, жена его сильно была виновата в его смерти; послушайся она предостерегающих советов, почувствуй, что творится в душе мужа, пойми, какой она давала повод высшему свету злорадно изливать на голову Пушкина поток грязнейших сплетен, — и Пушкин бы не погиб.

И так естественно было бы, если бы Пушкин на смертном одре попрекнул Наталью Николаевну за ее поведение — "ведь говорил я тебе!" — или по крайней мере великодушно простил бы ее.

Но он все время настойчиво и убеждающе твердил ей одно — что ей не в чем винить себя, что во всем случившемся она ни при чем, — и жестоко волновался, чтобы кто не обвинил в случившемся жену.

"Право, это было больше чем благородство, — пишет сестра Пушкина, — это было величие души, это было лучше, чем простить".

Когда Пушкин выступил на литературное поприще, русская литература была подобно неуклюжему подростку, который часто говорит с чужого голоса и может возбуждать к себе интерес больше в собственном семействе.

Когда Пушкин ушел из жизни, русская литература была вполне сложившимся существом, со своим оригинальным лицом, с твердо звучащим голосом, с обещанием самого блестящего дальнейшего расцвета.

Одно за другим являлись яркие, оригинальные молодые дарования: Баратынский, Языков, Полежаев, Лермонтов, Тютчев, Гоголь. "Пушкин, — говорит Гоголь, — был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты".

Вся последующая литература шла от Пушкина как от своего основоположника и учителя. Крупнейший, непосредственный преемник Пушкина — Гоголь так отозвался на смерть Пушкина: "Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что у меня хорошего, всем этим я обязан ему... О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение!"

Пушкина как бесспорнейшего своего учителя благоговейно чтили Тургенев, Лев Толстой, Достоевский, Гончаров, Островский, Некрасов, Фет — вся наша литература вплоть до Чехова и символистов, Есенина и Маяковского.

Пушкин оказал огромное влияние не только на русскую, но и на мировую литературу.

Он не был таким учителем, у которого ученики взяли то, что им было нужно, и пошли дальше, не оглядываясь на оставленного сзади старика, — учителем, какими, например, для самого Пушкина были Державин, Батюшков, Жуковский. Пушкин был и остается учителем как непревзойденный мастер; над ним до сих пор ломают головы, тщетно стараясь открыть законы и тайны несравненного звучания его стиха.

Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

Какой писарь, воспевая возлюбленную, не употребляет этого избитого выражения "дивный"? В приведенных же стихах Пушкина мы не знаем что — ритм ли, расстановка ли слов, расстановка ли самых букв, еще ли что, — но что-то наполняет это опошленное слово "дивный" совершенно свежей, нетронутой красотой, и мы его читаем у Пушкина, как будто оно употреблено им первым в первый раз.

Пушкину не нужно изобретать лишних новых слов, чтобы изобразить самые тонкие оттенки мысли, — он умеет достигать этого простой комбинацией слов, давно известных:

Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя.

Он двумя-тремя фразами умеет нарисовать исчерпывающий образ:

Лишь путешественник залетный,
Блестящий лондонский нахал
Полу-улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной;
И быстро обмененный взор
Ему был общий приговор.

Сжатость его изумительна. Татьяна тайно через няню послала Онегину письмо.

Но день протек, и нет ответа.
Другой настал: всё нет, как нет.
Бледна как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?

Татьяна ждет не самого Онегина, а ответа от него. Но — она "с утра одета": этой одной короткой фразой Пушкин показывает, что в душе Таня ждет не ответа от Онегина, а приезда его самого.

Пушкин, начиная рассказ, сразу умеет ввести читателя в суть дела.

Льву Толстому случайно попался том прозы Пушкина, он машинально раскрыл его на отрывке начатой повести "Гости съезжались на дачу". Прочел первые строчки и невольно продолжал чтение.

— Вот прелесть-то! — воскликнул Толстой. — Вот как нам писать. Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу.

И в тот же вечер так начал "Анну Каренину": "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой" и т. д.

По поводу пушкинских "Повестей Белкина" Толстой около того же времени писал: "Я с восторгом, мною давно уже не испытываемым, читал это последнее время повести Белкина,

в седьмой раз в моей жизни. Писателю надо не переставая изучать это сокровище.

Я на днях это сделал и не могу передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение".

Прошло более ста лет со смерти Пушкина. Пало самодержавие, затравившее и убившее его, пал весь строй, где одни люди работали и страдали, а другие ничего не делали и блаженствовали.

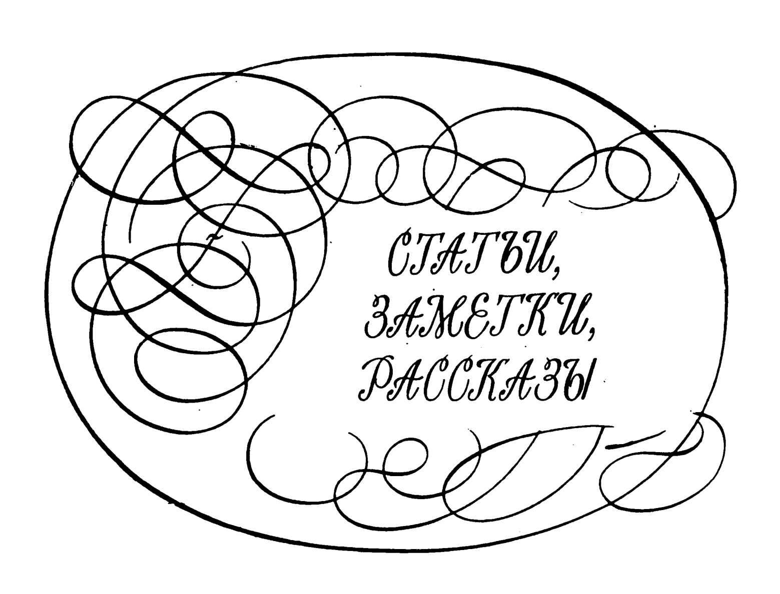
Всеобщая любовь к Пушкину с каждым годом растет, он всем стал нужен и незаменимо дорог. Нужен и дорог за свою неукротимую мятежность, за неослабевающее искание, за радость и красоту, которою он напитывает жизнь, за глубокую человечность и культурность, за несравнимую музыку его слова, за благородную ясность и простоту речи.

Народная тропа, о которой мечтал Пушкин, превратилась в широкую, плотно утоптанную дорогу.

Книги Пушкина выходят в миллионах экземпляров и моментально всасываются читательскими массами, как ведро воды сухими песками пустыни. Его знают все. Он переведен на языки самых отсталых когда-то народностей Советского Союза. Сбылось предсказание Пушкина:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.


III


СТАТЬИ,
ЗАМЕТКИ,
РАССКАЗЫ



Поэт

∾

В двух планах

Статьи о Пушкине

∾

В защиту Пушкина

∾

"За то, что живой"

∾

Две дуэли

∾

Около Пушкина

∾

"Второклассный Дон-Жуан"

∾

Литературные записи

Моцарт и Сальери

∾

"Великим хочешь быть, — умей сжиматься..."

∾

Александр Сергеевич Пушкин

ПОЭТ

(Комментарии)

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется...

I

Нереида
(1820)

1

Зеленые и лиловые полосы тянулись по матовому утреннему морю. Тепло было, сухо. В прибрежной масличной роще, прижавшись к серому стволу, молодой человек с курчавою, в крутых завитках, головою стоял и жадно глядел вправо: меж двух невысоких лавровых кустов голубел выгиб бухты, мелкие волны, вдруг становясь белыми, поспешно выбегали одна за другой на пепельно-серую гальку. В бухте купалась девушка.

Она стояла спиною к нему. Белели наклоненные плечи, вздымались тихо зеленоватые волны, и в них вздымались концы распущенных черных волос. Девушка повернулась, робко окинула взглядом берег. Молодой человек еще теснее прильнул к стволу. Она наклонила голову набок и стала выжимать из волос воду. Видел он молодую девическую грудь, прелестные, тонкие руки. Звенело в ушах, сердце билось крепкими толчками. Полная губа оттопырилась. Выпуклые глаза налились кровью и с свирепою похотью дикаря впились в нагое, худощавое тело с недоразвитою грудью.

Если бы она увидела, если бы увидел его один из ее братьев, — какой был бы позор! Какой позор был бы! Он жил в их семье, с ними, и милый цветник этих прелестных девушек-сестер ароматом

небывалой поэзии наполнял его жизнь в Гурзуфе. Если бы увидели!..

Но мысли об этом не было, ни о чем не было мысли. Тайная красота девического тела, неожиданно открывшаяся глазам, горячим трепетом заполняла пьяную от страсти душу. Щелкнул под ногами сучок, он сжался, воровато оглянулся и опять вонзился взглядом в нее. А она уж выходила из воды. И все больше открывалась запретная красота, ни разу еще не тронутая мужским взглядом.

Он задергался, как припадочный, и слабо застонал в бешенстве бесстыдного желания.

2

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж олив, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

II

Бахчисарайский фонтан

(1820)

1

Разговаривая по-французски, они вошли в тихий, полукрытый двор с темно-красными четырехугольными колоннами. Раевский молодцевато шел, шпоры его звякали по каменным плитам. Рядом вяло брел Пушкин, с желтым, осунувшимся лицом, зябко кутаясь в плащ.

Раевский звучным своим голосом сказал:

— Вон фонтан, о котором мы вам рассказывали. Сестры назвали его — "фонтан слез".

— Это? — безразлично спросил Пушкин и взглянул грустными, больными глазами, затуманенными лихорадкою.

В сумрачном углу двора, сбоку, безвкусно была вделана в голую стену мраморная плита, ярко расписанная вверху. На плите были мраморные чашечки; из заржавой железной трубки по каплям падала вода, вниз от чашечек тянулись по мрамору черно-зеленые пятна плесени; капли вяло ползли, смачивая плесень.

Пушкин брезгливо оскалил белые зубы, от которых еще желтее показалось его лицо.

— Что за безвкусие! Как можно было запихать фонтан в этот угол!

Раевский ответил:

— Он раньше был там, на горке, у мавзолея Керим-Гирея. Сюда его перенесли при Екатерине.

Пушкин выругался сквозь зубы.

Стояла сыроватая прохлада, как в подвале, желтые листья валялись на плитах, в щели меж плит пробивался матово-зеленый, узорчатый чистотел. А над крышею дворцового крыльца, в зное синего неба, зеленели верхушки двух пирамидальных тополей. От сырости, от неуютной некрасивости двора, похожего на пустую оранжерею, потянуло под горячее, греющее солнце.

Пушкин сказал:

— Довольно, уйдем.

Раевский с неумолимою улыбкою взял его под локоть.

— Ну, уж нет! Раз пришли, нужно осмотреть все.

И почти насильно потащил Пушкина по ветхой лестнице вверх.

(Письмо Пушкина к бар. А. А. Дельвигу в декабре 1823 г.)

2

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
　Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...
　Фонтан любви, фонтан печальной!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной,
Но о Марии ты молчал...
　Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
　Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?
Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

III

Гений чистой красоты

(1825)

I

После вечернего чая они сидели вдвоем на приступочке деревенской террасы. К вечеру слаще пахли левкои. Серебром поблескивал пруд, и глухо грохотали внизу возы со снопами по бревенчатому мосту. Очень было тихо.

Каждый день он был другой, совсем непохожий на прежнего. На днях он читал им новую свою поэму, — и как будто молодой бог пришел к ним, нездешним светом лучились ясные звезды глаз, и нечеловеческая красота была в лице. А сейчас сидел он — застенчивый и колючий, такой необычный в смуглом безобразии горбоносого, полногубого лица, с крутыми кольцами волос. Обезьяна или черт.

Она говорила по-французски задушевным своим голосом:

— Завтра я уезжаю от тетушки. И никогда, никогда я не забуду вас, никогда не забуду вашего чтения и этих очаровательных "Цыганов", и даже этой большой черной тетради, по которой вы читали. Никогда я никого не слушала с таким восхищением.

Его губы передернулись, и он нетерпеливо ответил:

— Ах, оставьте! Не говорите мне о восхищении. Что это за чувство — восхищение! Говорите мне о любви — вот чего я жажду. И, во всяком случае, не говорите мне о стихах!

— Но почему же, если они мне так нравятся? Я думаю, всякий поэт должен быть рад и горд, что его стихи восхищают слушателей.

— M-me Керн, не наивничайте.

— Не понимаю вас.

— Зачем вы прикидываетесь наивной? Ведь вы вовсе не наивны.

Она лукаво спросила:

— Вы уж так хорошо узнали мой характер?

— При чем тут характер! Не хочу его и узнавать... Разве хорошенькие женщины должны иметь характер? Существенное, это — глаза, зубы, руки и ножки; я бы еще прибавил — сердце, но ваша кузина Аннета слишком опошлила это слово.

— Пушкин, не представляйтесь таким циником. Я о вас гораздо лучшего мнения.

Он злился и жадно смотрел на ее прекрасное лицо с девически чистым овалом, на трогательный, полуоткрытый ротик, на карие глаза; в них была тайная грусть и в то же время волновавшая душу тревожная, неутоленная страстность. Злило его, что в глазах этих, когда она смотрела на него, было что-то лукаво-ускользающее, и в ласковых, задушевных речах — осторожная граница, за которую она не переступала.

А полная грудь над тонким станом дразнила. И он хорошо знал, что она вовсе не недоступна: молоденькою шестнадцатилетнею девочкою была она выдана отцом за старого генерала, грубого, развратного и пошлого, и уехала от него, и жила теперь с приятелем Пушкина, хорольским помещиком Родзянком, большим циником и плохим поэтом. Эту зиму у Пушкина была игривая переписка с ним и с нею, и еще в мае он получил письмо от Родзянка, с приписками г-жи Керн, прерывавшими письмо, где он жаловался, что она вздумала мириться с мужем. "Снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал. Тогда можно было извниться молодостию и неопытностию, а теперь чем? Ради бога, будь посредником". И Анна Петровна, отняв у него перо, продолжала: "Ей-богу, я этих строк не читала!" А он следом: "но заставила их прочесть себе десять раз".

Пушкин спросил:

— Вы будете писать Родзянку?

— Да.

— Тогда перешлите ему и мой ответ на ваше с ним письмо. — Он протянул ей сложенный вчетверо листок и прибавил с странною улыбкою: — Можете прочесть — здесь и про вас.

Она развернула.

— Ах, стихи!

Глаза загорелись тщеславным любопытством. Она стала читать.

Ты обещал о романтизме,
О сем парнасском афеизме,
Потолковать еще со мной,
Полтавских Муз поведать тайны,
А пишешь лишь о ней одной!..
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, ты влюблен, Пирон Украйны!

Анна Петровна, прищурившись, читала вполголоса, а он с тою же странною улыбкою следил за нею.

Ты прав: что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной, —
Поговорим опять об ней.
Хвалю, мой друг, ее охоту...

Она запнулась и покраснела. Дальше стала читать молча и все больше краснела, а он с острым, озорным наслаждением смотрел на ее милое, девически-смущенное лицо.

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу.
Не наведет она зевоту.
Дай Бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту.
Но несогласен я с тобой,
Не одобряю я развода;
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А, во-вторых, замечу я, —
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы;
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы...

Она растерянно взглянула, — и показалось ей, как будто похотливый сатир смотрит на нее из кустов во время купанья.

Звякнула дверь террасы, из гостиной донесся голос тетушки Прасковьи Александровны. Анна Петровна поспешно сложила записку и сунула за корсаж, к которому приколота была веточка гелиотропа. Они встали.

Отужинали шумно и весело. Лунный свет был за окнами, в них широко вливался запах спелой ржи. На потолке чернели стаи заснувших мух. Босые девки толпились в прихожей.

Анна Петровна пела, а дочь хозяйки, Анна Николаевна, аккомпанировала на рояле.

Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной...

Голос у нее был небольшой, но нежный, и звучала в нем та же задушевность, как и в речи. И губы при пении не складывались в смешное о, как у заправских певиц. Пушкин сидел глубоко в диване, не отводил от нее глаз, как влюбленный мальчик.

Все вливает тайно радость,
Чувствам снится дивный мир;
Сердце бьется; мчится младость
На любви весенний пир.

Сухой блеск лунной ночи за окнами; посеребренные вершины дерев с черными тенями; и милый, чистый облик женщины, как-будто пришедшей из другого мира, где все красота, свет и радость — и целомудренная чистота. "Чувствам снится дивный мир..." Мир этот спускался в жизнь и всю ее преображал, и гармонические волны, колыхавшиеся в душе, ширились, разливались вокруг, все претворяли в светлую, чистую и легкую радость.

Не мила ей прелесть ночи,
Душен свежий ветерок,
И задумчивые очи
Смотрят томно на восток.

Все шумно аплодировали. Только Пушкин смирно сидел в уголке, опустив курчавую голову. Сын хозяйки, дерптский студент Алексей Вульф, ленивою походкою подошел к Анне Петровне и своим особенным, уверенным во власти над женщинами голосом похвалил ее пение. И ее глаза, когда она смотрела на студента, засветились радостно-покорным, отдающимся выражением, и улыбка была особенная, с какою она не смотрела на поэта. Но Пушкин этого не видел.

Хозяйка Прасковья Александровна, маленькая женщина с красивым лицом и сильно выступающею нижнею губою, захлопала в ладоши.

— Mesdames et messieurs! Мне пришла в голову мысль. Посмотрите, какая божественная ночь! Велим запрячь лошадей и проедемся в Михайловское, к Александру Сергеевичу... Пушкин, вы нас примете?

Пушкин вскочил с дивана, запрыгал и в бешеной радости захлопал в ладоши.

У крыльца позвякивали бубенчики двух экипажей. Пушкин подсаживал Анну Петровну в тарантас. Над черными липами стоял яркий месяц. Прасковья Александровна сказала дочери:

— Annette! Ты сядешь с Анной Петровной, и Пушкин с вами. А мы с Алексеем в пролетку.

Пушкин досадливо прикусил губу: попечительная Прасковья Александровна не хотела оставить его наедине с Анной Петровной.

Подросток Зизи с золотыми волосами говорила обиженно:

— Maman! Позвольте же и мне ехать. Вот видите, есть лишнее место.

Но Прасковья Александровна властным голосом, которого дочери привыкли слушаться, ответила:

— Ты останешься дома. Тебе пора спать.

— Трогай!

Весело звенели бубенчики, тарантас плавно катился по накатанной дороге. Пушкин сидел на узенькой передней скамеечке. Широкий запах спелой ржи плыл навстречу, пахло кожей, дегтем и конским потом, это говорило о дороге и далях. На жнивьях темнели копны.

Пушкин, блестя глазами, наклонился к Аннне Петровне и сказал вполголоса:

— Я торжествую. Я воображаю себе, как будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а я вас увожу... Помните нашу первую встречу в Петербурге? Когда вы после ужина уезжали в карете с вашим кузеном — как я ему завидовал, что с вами он... Вы были слишком блистательны!

— А вы были довольно смешной и дерзкий мальчик.

— Да? — Пушкин засмеялся своим раскатистым, звонким смехом. — Я и теперь остался таким же... Посмотрите кругом, — как хорошо! Как прекрасна луна!

Анна Петровна протянула с лукавым удивлением:

— Луна — прекрасна? Вы же ее постоянно называете глупою!

— Что она глупа, это бесспорно, — вглядитесь в нее... — И он ласкающим голосом сказал тише: — Но я люблю ее, когда она освещает прекрасное лицо.

Из-под смутной тени шляпы на Анну Петровну близко смотрели сверхъестественно-живые, упоенно-радостные глаза.

Сердце бьется, мчится младость
На любви весенний пир... —

продекламировал Пушкин.

Спутница их, Анна Николаевна, молчала, прижавшись в угол тарантаса, и, по привычке часто помаргивая, страдающими глазами глядела в сухо-серебристые дали полей. Между нею и Пушкиным было так много! Больше, чем кто-нибудь мог знать. А он ее совсем не замечал и не думал, как ей должно быть больно. Он так ничего не хотел знать и помнить, что все эти недели эгоистически делился с нею своими восторгами по поводу ее кузины.

Колеса шуршали в песке дороги. Лошади во весь дух мчались в гору. Проскакали через молчаливый крестьянский поселок и вкатили в широкий двор Михайловской усадьбы. Два огромных волкодава с густым, грозным лаем бросились навстречу.

Маленький, крытый тесом барский дом, а по другую сторону двора, за сквериком, — вековой парк в лунном сиянии, черный внутри.

Анна Петровна воскликнула:

— Ах, какая прелесть!

— Пойдемте, я вам покажу парк!

Они пошли к калитке, с черною крапивою у плетня. Волкодавы неуспокоенно лаяли, махая хвостами, и ласкались к Пушкину. Анна Николаевна осталась стоять у тарантаса.

Пушкин с Анной Петровной вошли в парк. Лунные узоры дрожали на аллее, поперек тянулись корни. Анна Петровна спотыкалась и невольно прижималась к спутнику, он вздрагивал и молчал.

Со стороны двора донеслось:

— Ау!!

По аллее шла подъехавшая Прасковья Александровна с сыном и дочерью. Она вздыхала и в сантиментальном восхищении повторяла:

— Боже, как очаровательно! Как божественно!.. — И вдруг сказала: — Мой дорогой Пушкин, окажите честь вашему саду, покажите его мадам Керн.

Она в душе ревновала Пушкина, но завтра Анна Петровна все равно уезжала и у Прасковьи Александровны был хитрый расчет: чтобы дочь ее, Анна Николаевна, почувствовала, как мало думает о ней Пушкин.

Пушкин поспешно подал руку Анне Петровне, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Они пошли быстро, быстро. Пушкин, наклонившись, зашептал взволнованно:

— Вот, я увез вас от Александра Полторацкого, а он там остался на крыльце...

И он говорил, говорил, она слушала, подняв брови, с глазами, тщеславно улыбавшимися про себя.

— Всегда буду помнить ту нашу первую встречу. С первого взгляда вы тогда поразили меня, как только вошли к Олениным с вашим мужем. С вашим мужем... Как можно быть вашим мужем? я никак не могу себе этого представить, как не могу представить себе рая... И у вас был тогда такой девственный вид! И не правда ли, вы несли на себе какой-то тяжелый крест, — да?

— Да. Это правда. — Она вздохнула. — Я и теперь его несу.

— Я знаю. Но вы смелы... Да, да, вы смелы в действиях, хотя и робки в манерах. Вы сбросите этот крест... Вы молоды, вы прекрасны, еще целая жизнь перед вами...

Она опять споткнулась о тянувшийся поперек аллеи выступ корня, ее бедро, обжигая, коснулось его бедра, он крепко прижал ее локоть к своему боку. И, продолжая прижимать, повернул в темную боковую аллею, поросшую снытью. Темнота радостно сближала, тело мучительно-сладко ощущало прикосновение полного, прелестного женского локтя.

Блестящими глазами он вглядывался в ее смутно улыбавшееся лицо.

— Как к вашей красоте идет запах гелиотропа! — Он наклонился к ее груди и стал нюхать цветок. В разрезе платья белела полная шея с чуть обозначившимся вторым подбородком. Она стыдливо отстранилась.

— Подарите мне на память эту веточку!

— Не слишком ли это много?

— Даже это — много? Даже это? Мучительница вы!

— Ну, хорошо...

Он, задыхаясь, сказал:

— Позвольте, я сам сниму...

Она, улыбаясь, отвела его руку, протянувшуюся к ее груди.

— Господин Пушкин!.. Нате, и будьте скромны.

Он жадно целовал цветок и жадно смотрел на нее глазами, светящимися, как у кошки на добычу.

— Через цветок я целую ту прекрасную грудь богини, которую он украшал, и завидую, почему я сам не был этим цветком...

(Письма Пушкина к А. П. Керн в 1825 г. — Воспоминания А. П. Марковой-Виноградской. Л. Н. Майков. "Пушкин", 1899)

2

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья,
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

IV

Счастливец с первых дней

(1825)

1

Не успел еще казачок доложить, как сейчас же вслед за ним в комнату бурно ворвался Пушкин и стиснул товарища в объятиях. Молодой князь, в малиновом шлафроке, поднялся с дивана, на котором лежал с французскою книгою. Пушкин прыгал, сыпал вопросами, хохотал и тормошил приятеля. Крутился по комнате вихрь, звенящий смехом, сверкающий ослепительными улыбками.

Красавец князь благодушно улыбался, оправлял съехавшие на середину носа золотые очки и говорил по-французски:

— Все тот же! Всегда неизменно тот же!

Пушкин торопливо раскрыл на столе одну книгу, другую, заглянул в газету, — он все время был в движении, как ртуть, только что вылитая на стол. И в то же время говорил:

— Узнал, что ты у нас здесь, в Псковской губернии, — прискакал. Чего это ты лежал? Болен, что ли?

— Был довольно сильно болен. Лечился в Спа. Утомление. А здесь вот заехал к дяденьке — немножко прихворнул. Пустяки.

Угомонившийся Пушкин сел по-турецки на диван, в ногах князя, и сказал любовно:

— Ну, рассказывай, моя радость, что ты? Как? Преуспеваешь на службе?

— Пожаловаться не могу.

С тем наслаждением, с каким удачливые и самолюбивые люди говорят о себе, князь стал рассказывать о служебных своих успехах. Пушкин кивал головою и радостно улыбался.

— Шагаешь, моя милая! Молодец! Двадцать шесть лет — и надворный советник, камер-юнкер, Анна на шее, Владимир.

— Это что! Не это важно. Важно, что я назначен первым секретарем при лондонском посольстве, — вот это, дорогой друг, редкая удача. — Красивое лицо его озарилось светом приятных воспоминаний. — В Лайбахе встретил меня на улице его величество, государь император. Подозвал к себе. "Ты просишься, Горчаков, в Англию. И прекрасно. Я отправлю тебя туда секретарем нашего посольства". — Он с вескою раздельностью повторил эти незначащие слова, видно, дорожил в них каждым звуком.

— А не все равно — в Лондон или еще куда?

— Нет. В наше посольство в Лондоне посылаются только самые талантливые и избранные чиновники. Это была моя давнишняя, затаенная мысль, но я не смел и мечтать о ней.

В живых глазах Пушкина мелькнула язвительно-добродушная насмешка.

— Ну, раз сам просил царя, — значит, смел мечтать и не очень затаивал свою мысль.

Князь усмехнулся и сказал по-русски:

— Милой друг! Дитя не плачет, мать не разумеет...

Как воспитанный человек, князь понимал, что нельзя говорить все только о своих делах, и от интересных разговоров о себе он перешел к неинтересным разговорам о приятеле.

— Ну, а ты как?

Лицо Пушкина потемнело.

— Вот уж второй год вынужден сидеть у себя в деревне...

— Знаю, знаю. Слышал от дядюшки. И князь Петр Андреич сказывал в Москве... охота тебе, братец! Велика радость, что мальчишки-прапорщики рукоплещут. "Гонимый властью..." Нам ли в России этим гордиться и любоваться?

Пушкин раздраженно возразил:

— Из чего ты заключил, что я любуюсь? Кто это тебе вбил в голову, Вяземский? Ох, душа моя, меня тошнит, но — предлагаемое да едят... Есть чему радоваться! Гонят пять лет сряду, замарали по службе выключкою, сослали в глухую деревню за две строчки перехваченного письма...

Князь неодобрительно качал головою.

— Любезный друг! Без вины этого бы делать не стали. Сам знаешь, что виноват. Было бы тебе заняться серьезно службою, как я тебе давно советовал. С твоим пером...

— Мое перо не для этого. И я рад, что оно хоть малость служит другим целям.

С ненавистью Пушкин стал говорить о царе, о всеобщем возмущении, которое вызывает его двуличность и дружба с Аракчеевым. Кипящая злоба прибойными волнами выплескивалась из души. Князь морщился и поглядывал на дверь.

— ...Терпение приходит к концу. Везде растут тайные общества, все честные граждане вступают в них...

Горчаков холодно возразил:

— Благие цели никогда не достигаются тайными происками. И чего я уже совсем не могу себе представить, это того, чтобы кто-нибудь из питомцев нашего лицея позволил себе поступить в такое общество.

Вспомнился Пушкину приезжавший к нему этою зимою Пущин, строгие глаза его, светившиеся сосредоточенною готовностью на жертву. Он спросил с едкою насмешкою:

— Почему ты этого не можешь представить?

— Питомцам лицея, основанного императором Александром Павловичем, не подобает ни прямо, ни косвенно идти против августейшего основателя того заведения, которому мы всем обязаны.

Пушкин вскочил с дивана и пружинистою своею походкою быстро зашагал по комнате, прикусив дергающиеся губы.

И этот сухой, самодовольный чиновник, этот двадцатишестилетний старичок был когда-то его кумиром! Как Пушкин вос-

хищался в лицее его красотою, светским изяществом и остроумием, успехами у женщин, даже эгоизмом его — уверенным в себе эгоизмом неизменного удачника. И как он весь теперь ссохся, выдохся!

Позвали обедать. Облик Пушкина резко изменился: он съежился, осел, потускнел. Дядюшка Горчакова, предводитель дворянства Пещуров, любезно разговаривал с Пушкиным, а он отвечал неловко, напряженно усмехался, краснел, как мелкопоместный недоросль, попавший в хорошее общество. Он злился на себя, но не мог справиться: маленький какой-нибудь душевный толчок — и вдруг настроение резко менялось у него, и он уж был над ним не властен.

После обеда ему хотелось уехать, но неловко было: при приезде он сказал Горчакову, что приехал к нему до вечера. Они пошли назад в комнату, отведенную для Горчакова. Князь извинился и прилег по нездоровью на диван.

Пушкин привез с собой несколько сцен из начатой им большой драмы. Чтоб заполнить время, он предложил Горчакову их прочесть и сейчас же разозлился на себя, зачем это он.

— Драму? Вот как! Это весьма интересно. Пробуешь себя в новом роде?

Такой был противно-снисходительный тон, что Пушкину захотелось запустить в него свертком. Чувствовалось — себя и свое дело Горчаков считал неизмеримо выше тех пустячков, которыми занимался Пушкин. Настолько выше, что охотно даже готов был унизить себя в этой области.

— Прочти, прочти! — покровительственно говорил он, примащивая подушку себе под голову.. — Как Мольер читал свои комедии кухарке своей, так вот и ты мне.

Кусая губы, Пушкин стал читать — вяло, монотонно, без подъема. Одну сцену прочел. Другую. Постепенно начал разгораться.

Баба *(с ребенком)*.

Ну что ж? Как надо плакать,
Так и затих! Вот я тебя!.. Вот бука!
Плачь, баловень!

(Бросает его об земь, ребенок пищит.)

Ну, то-то же!

Один.

Все плачут;
Заплачем, брат, и мы!

Другой.

Я силюсь, брат,
Да не могу.

Первый.

Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.

Другой.

Нет, я слюной намажу.
Что там еще?..

Князь зашевелился и приподнялся на диване.

— Погоди... Что это? Любезный друг! Что это у тебя тут?Cслю... э...cслю-юни?

— Ну да! А что же? — с нетерпением возразил Пушкин.

— "Слюни"... Фи! Разве же можно?! Какая изысканная грубость! Для чего это? Такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона и слога, которым писана сцена. Вычеркни, братец, эти слюни. Ну к чему они тут?

Пушкин смотрел в сторону, быстро барабаня пальцами по столу.

— А посмотри у Шекспира, — и не такие еще выражения попадаются.

Горчаков сказал учительным тоном:

— Шекспир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени.

Совсем пусто и скучно стало в душе Пушкина. И драма его показалась ему серой, бездарной, ненужной... Но он все-таки возразил:

— Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если может избежать грубостей. Если же нет, то зачем стараться заменить их чем-нибудь другим?

Князь горячился и продолжал доказывать ненужность и неприличие слюней. Пушкин помолчал и устало ответил:

— Хорошо. Я переделаю... Ну, мне пора.

Он встал прощаться.

(Письма Пушкина к кн. Вяземскому в сентябре 1825 г. — Канцлер князь Горчаков о Пушкине. Рус. Арх., 1883, II, 205—206)

2

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе, — фортуны блеск холодной
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись;
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

("19 октября 1825 г.")

V

Живая грамота

(1826)

I

Он вложил письмо в конверт, надписал адрес. Зажег шипящим серничком сальную свечу и стал топить сургуч.

Няня медленно своею походкою вошла и сказала:

— Батюшка Александр Сергеич, поди, простись с девкою. Сейчас уезжает.

Он поспешно встал от стола, виновато поглядел на няню. Ее лицо было важно и непроницаемо. Он был рад, что на нем не видно было осуждения.

— Где она?

— В горенке у меня.

— Сейчас приду.

Дрожащею рукою он прибавил на остывающий сургуч горячего, приложил печать. Побледнел, потом покраснел, опять побледнел и, с письмом в руке, легкою своею походкою быстро вышел в коридор.

Ольга, в коричневом зипуне и теплом платке, стояла одна среди пяльцев в няниной горнице. За окном ярко зеленела под весенним солнцем бузина у погреба.

— Ну, Оля, вот тебе письмо. Приедете в Москву, Прошка сведет тебя по адресу. Спросишь князя Вяземского, Петра Андреича, ему отдай письмо. Он тебя устроит...

Говорил он деловым, фальшивым тоном, и милые, черные глаза отчужденно смотрели на него. И вся она была такая

странно-чужая в этом зипуне с непомерно длинными рукавами, в поношенном сером платке, по-бабьи окутывавшем голову, с выступающим слегка животом. Как будто не та совсем веселая, стройная девочка, которая под осень, при потухавшей заре, с блестящими глазами прибегала на его свист за ригу, а зимою прокрадывалась по ночам к нему в комнату. Быстрый шепот был, и стыдливо-ласковая противка бесстыдным ласкам, и горячая нагота.

Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй...

Это было у него уже не с первой белянкой, для которой ее младой поцелуй кончался так неудачно.

Пушкин положил свою красивую, маленькую руку с длинными, полированными ногтями на грубое сукно ее плеча.

— Оля, не горюй! Я тебя не оставлю. И ребенка твоего пристроим, я пишу князю. Может быть, как-нибудь приеду, проведаю тебя... Да! Вот. На память возьми от меня...

Он вынул из жилетного кармана золотые сережки с лучистыми бриллиантиками. И вдруг улыбнулся детской, яркою улыбкою.

— Дай, сам надену!

Оттянул платок и стал вдевать сережку в маленькое розовое ушко. Белая шейка открылась, знавшая столько его поцелуев. Он крепко поцеловал ее под ухом и привлек к себе. Девушка вдруг слабо всхлипнула, прижалась головою к его плечу и прошептала:

— Барин мой жадóбный!

Жадóбный — это на псковском говоре — желанный. Пушкин гладил ее голову и целовал в висок. А она овладела собою и, закрыв глаза, тихо отдавалась его грустной ласке. И только в поджатых ее губах он читал глубоко запрятанное отчаяние.

— Ну, Оля, надо ехать. Вон телегу подают... Вот что: возьми на дорогу себе.

Он сконфуженно достал из кармана триста рублей ассигнациями и протянул ей. Она с недоумением смотрела.

— Возьми же, Оля. Мало ли что понадобится на новом месте.

Взяла — и с тем же деревянным недоумением продолжала глядеть на бумажки. Он поспешно ушел, а она все стояла так.

(Письмо Пушкина к кн. Вяземскому в апреле — мае 1826 г.)

2

Она

Да!.. вспомнила: сегодня... у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся.

Князь

Несчастная! Как быть? Хоть для него
Побереги себя; я не оставлю
Ни твоего ребенка, ни тебя.
Со временем, быть может, сам приеду
Вас навестить. Утешься; не крушися,
Дай, обниму тебя в последний раз.

(Уходя.)

Ух, кончено! Душе как будто легче.
Я бури ждал, но дело обошлось
Довольно тихо.

(Уходит; она остается неподвижною.)

. . . .

Дочь

Видишь ли, князья не вольны,
Как девицы, не по сердцу они
Берут жену себе... а вольно им,
Небось, подманивать, божиться, плакать.
Им вольно бедных девушек учить
С полуночи на свист их подыматься
И до зари за мельницей сидеть!
Им любо сердце княжеское тешить
Бедами нашими, а там сказать: прощай,
Ступай, голубушка, куда захочешь,
Люби, кого замыслишь...
. . . . И мог он,
Как добрый человек, со мной прощаться
И мне давать подарки, — каково!
И деньги! Выкупить себя он думал,
Он мне хотел язык засеребрить...

("Русалка")

VI

Тебе один остался друг

(1828)

I

Она уже не так была ослепительна, как три года назад, — эта милая мадам Керн. Но все же была прелестна. Теперь она окончательно порвала с мужем, переехала в Петербург и жила в бедной квартирке с девушкой-сестрой, хорошенькою Лизою.

Судьба вела Анну Петровну дорогою, все больше переходившею в извилистую и топкую болотную тропинку. Шестнадцати лет ее выдал отец за старика генерала, грубого и пошлого солдафона. Как многие женщины, у которых великий акт выхода из девичества был грубо загрязнен и опоганен, Анна Петровна шла через жизнь с неутолимым, как у Дон-Жуана, исканием любви. На ее чистом лбу брови были слегка приподняты, с тем ожидающим вопросом, который всегда есть в бровях девушки, а в алых, чувственных губах горела сладострастная тревожность. Вечно она кого-нибудь любила, безоглядно и страстно, а бывало — любя одного, влюблялась еще и в другого, и в третьего. Годы беспрерывных неприятностей, уничижения, потеря всего, чем женщины дорожат в обществе, не могли разочаровать Анну Петровну. При каждой новой любви сердце ее вспыхивало как бы в первый раз. И, вдохновленная своею страстью, она всем рассказывала о ней и повелевала благоговеть перед святынею любви!

Знакомые мужчины льнули к ней, сыпали комплиментами, писали ей в альбом мадригалы, но глядели на нее с игривыми огоньками в глазах, позволяли себе говорить ей то, чего не сказали бы другим дамам своего круга, а за глаза отзывались с пренебрежением и цинизмом. Пушкин называл ее "вавилонскою блудницею". Знакомые дамы хотя и не порывали с нею знакомства, но старались держаться от нее подальше, принимать пореже. И говорили о ней: "C'est une malheureuse femme, elle est à plaindre — voilà tout"*. Анна же Петровна ничего этого как будто даже не замечала, ни от кого не скрывалась и открыто

* Она — несчастная женщина, ее можно пожалеть — вот и все *(фр.)*. — *Примеч. сост.*

шла, куда ее вело вечно горевшее и никогда не перегоравшее сердце.

Пушкин был теперь в самом ярком блеске своей славы. Анна Петровна упоенным облачком истаивала в лучах сверкающей этой славы, в обществе видела одного только Пушкина, с суетным тщеславием старалась дать всем заметить близость их знакомства. У Пушкина давно уже прошла к ней страсть, которая три года назад воспалительным ядом жгла его кровь и взрывами огненного безумия мутила голову. Но Анна Петровна все еще была соблазнительна, и все еще больно ныло в душе оскорбленное мужское самолюбие: страстные искания его были тогда отвергнуты, а студент Алексей Вульф тогда же добился всего. Вульф, окончивший университет, и сейчас жил в Петербурге спокойным и пресытившимся обладателем красавицы. Пушкин иногда заставал его у Анны Петровны спящим после обеда на ее постели в одной жилетке.

И случилось это однажды вечером. Алексей Вульф уехал кататься с Лизою, за которою усердно ухаживал. Анна Петровна была в квартире одна. Завлекающе белела полная шея, захотелось дерзкою рукою проникнуть за корсаж и ласкать высокую грудь, захотелось утолить давнишнюю обиду отказа. И легко, просто, почти мимоходом, Пушкин взял то, что когда-то дало бы ему радость неповторимую, а теперь было только легким развлечением.

Он был у нее еще несколько раз. Однажды, держа ее на коленях и лаская, Пушкин увидел на письменном ее столике письмо с знакомым почерком приятеля своего Соболевского.

— Что это, в любви объясняется тебе?

Анна Петровна прижалась щекою к его щеке и, радуясь возможности сказать ему "ты", ответила:

— Прочти.

Письмо было недвусмысленно игривого, совершенно циничного свойства. За подобное письмо к честной женщине близкий к ней человек почел бы себя обязанным отхлестать обидчика по щекам. Пушкин звонко рассмеялся:

— Животное! Влюблен в тебя. Недавно я получил от него письмо, — все полно одною тобою... Эдакий Калибан! На стенку готов лезть от страсти!

И вдруг ему бросился в глаза девически чистый ее облик, тайная, робко спрашивающая грусть, спрятавшаяся в глубине прекрасных ее глаз... И на короткую секунду письмо Соболев-

ского показалось ему чудовищным. И огромнейшим, вонючим болотом представилась жизнь, способная создавать такие письма.

Назавтра Пушкин сидел у себя в номере гостиницы и писал деловое письмо Соболевскому. Встало перед ним массивное, жирное лицо приятеля, — и захотелось Пушкину подразнить его своей удачей, захотелось представить себе, как завистливо и похотливо загорятся его маленькие глазки. Пушкин написал:

"Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2.400 р., мною тебе должных, а пишешь о мадам Керн, которую с помощью божией я на днях..."

И в циничной фразе, под стать жаргону Соболевского, он осведомил московского сплетника о полном своем успехе у Анны Петровны.

(Письмо Пушкина к Соболевскому в марте 1828 г. — Дневник А. Н. Вульфа. "Пушкин и его современники", XXI—XXII, стр. 134, 136 и passim)

2

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права,
Один, среди толпы холодной,
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.
Но свет... Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.
Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья:
К забвенью сердце приготовь;
Не пей мучительной отравы;
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы:
Тебе один остался друг.

VII

Арфа Серафима

(1830)

I

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

— Вчера я была у владыки. Между прочим, он передал мне стихи свои — ответ на ваше стихотворение "Дар напрасный, дар случайный".

Пушкин встрепенулся и живо спросил:

— Вот как? Филарет пишет стихи!.. Это интересно. Покажите.

Елизавета Михайловна достала из секретера листок и благоговейно подала Пушкину. Он стал читать.

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам заполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал...

Глаза заблестели самолюбивой обидой. Так и зазвучал в ушах учительский, сурово отчитывающий голос. Как, бывало, гувернер Пилецкий в лицее. Виделось Пушкину сухое лицо владыки с глазами, как черные гвозди, с тонкими, недобрыми губами. Старый лукавец, карьерист. Великосветская дама, а не владыка: ряса, как юбка, в обращении какое-то кокетство, все время словно роль играет... И тоже — в позе пророка-обличителя, напоминающего о боге!

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждится тобою
Сердце чисто, светел ум.

Пушкин закатился звонким хохотом.

— Браво!

Вынырнули из глубины и быстро побежали в голове звонкие задорные созвучия, заостряясь в колющую эпиграмму. Глаза блеснули хищно.

— Ну, отвечу же я его высокопреосвященству!

Елизавета Михайловна с болью слушала его смех над тем, что в ней вызвало такой благоговейный восторг. Эти два человека — владыка и поэт — были для нее самыми дорогими людьми в мире. Беспощадная, аскетическая суровость владыки вызывала в ней экзальтированное его обожание, желание молитвенно склониться к его ногам. А поэт... Все в жизни отдала бы стареющая женщина, чтобы быстрые глаза его загорелись к ней блеском страсти, чтоб можно было прижать к плечу эту милую, курчавую голову...

Елизавета Михайловна ласкающе положила свою пухлую руку на маленькую руку Пушкина.

— Пушкин, я вас прошу — не отвечайте!

Он нервно отдернул руку. Елизавета Михайловна прикусила губу. Со скорбью она ощущала, что вызывает в нем трепет почти отвращения физического. И, как всегда при ее попытке переступить границу, он озабоченно взглянул на часы, быстро встал и взялся за шляпу.

— Пора ехать!.. Нет, уж я ему отвечу!..

И он вышел, громко смеясь.

(Письмо кн. П. А. Вяземского А. И. Тургеневу 25 апр. 1830. Остаф. Арх., III, 192)

2

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,

И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

VIII

Все, даже счастие того

(1830)

I

С ним это всегда бывало, когда черным вихрем на душу налетало сильное чувство — какое бы ни было: являлось яростное стремление к достижению цели, неподавимая энергия — и, рядом с этим, полное безволие перед налетевшей страстью. В ее вихре, как осенние листья березы, бессильно уносились в мутную темноту всякая осторожность, все мысли о безумности и опасности того, к чему он рвался так неоглядно.

Так было и теперь.

Год назад он просил руки Natalie и получил от матери отказ. Недавно он повторил просьбу. На этот раз ответ был поощрительный. И вдруг сомнения, колебания, боязнь темными призраками обступили душу. Жениться... Легко сказать! Пожертвовать независимостью, своею беспечною, прихотливою независимостью, своими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Удвоить жизнь и без того неполную, начать думать "мы". Никогда он не хлопотал о счастии: он мог обойтиться и без него. Теперь ему нужно его на двоих, а где взять его?

И он понимал, что эта красавица девочка не может любить его, что между ними нет ничего общего. Но вставала перед глазами ее высокая, тонкая фигура с выпуклою грудью, с тенью тайного, недоумевающего страдания на божественном лице Мадонны. И острая, повелительная страсть обжигала душу, трепала

ее, как осенний ветер гибкие ветви березы; и уносились вдаль все сомнения и колебания.

В стареньком серебристом халате, с голою грудью, он ходил по неопрятному номеру гостиницы, быстро ходил легким своим шагом. Хотелось много сказать этой очаровательной девушке, но ей он еще не имел права писать.

Сел к закапанному чернилами столу и стал писать — ее матери. Черствая, властная, холодно-богомальная старуха; ему чувствовалось — она его не выносит. И он взволнованно писал ей — наивно, как малый ребенок матери; писал по-французски о всех своих сомнениях, чернил себя, изливал самые тайные чувства, как в дневнике. Нет, больше, чем в дневнике. Это было сумасшедшее письмо: он, скрытный, никогда не писал так даже в дневнике. Он писал о проступках своей молодости, о неравенстве возрастов, о том, что не рассчитывает на любовь к нему ее дочери.

"Во мне нет ничего, чтобы ей нравиться, если она согласится отдать мне свою руку, я в этом увижу только доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но, окруженная удивлением, благоговением, соблазнами, долго ли она удержит это спокойствие? Ей скажут, что только несчастный случай помешал ей завязать связи более равные, более блестящие, более достойные ее, — может быть, эти слова не будут искренни, но уж наверное она-то их сочтет таковыми. Не будет ли она испытывать сожаления? Не будет ли она смотреть на меня как на препятствие, как на обманщика-грабителя? Не стану ли я ей противен?"

Новая мысль обожгла его душу. Он застонал сквозь зубы, вскочил и заметался по комнате. Губы дергались, выпуклые глаза налились кровью и загорелись дикой ревностью. Если бы сейчас неожиданно увидела его невеста — она в ужасе схватилась бы за свою прекрасную головку, ахнула бы и бросилась прочь от страшного этого человека.

И эту свою тайную, самую мучительную свою мысль — и ее он написал:

"Бог мне свидетель, — я готов умереть за нее; но умереть для того, чтоб оставить ее блестящею вдовою, свободною выбрать завтра нового мужа, эта мысль — ад!"

(Письмо к Нат. Ив. Гончаровой в апреле 1830 г.)

2

Аполлон Григорьев. Невозможно в кратком очерке обрисовать всю глубину и нежность пушкинского чувства любви. Одно стихотворение "Я вас любил" — уже целая поэма, на которую можно сочинять комментарии:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то нежностью томим,
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Последний стих не сравним ни с чем; он — высокочеловеческий. Нежная мысль, в нем являющаяся, еще определеннее сказалась в заключительных стихах другого стихотворения Пушкина, в желании любимому существу всего:

Все, даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.

Это самоотвержение чувства встретите вы только у Пушкина... Долго должен перегорать и очищаться человеческий эгоизм для того, чтобы дойти до этой светлой мысли. Скорее готов был каждый из нас взывать, как Гейне:

Страдаешь ты, — и молкнет ропот мой:
Любовь моя, нам поровну страдать...

Нам известно, до чего дошел этот больной эгоизм в Лермонтове, еще сильнее, чем Гейне, страдавшем язвами века:

Ты не должна любить другого,
    Нет, не должна!
Ты мертвецу святыней слова
    Обручена!

(Сочинения Ап. Григорьева. Том I. СПб., 1876. Стр. 281, 91)

IX

Тришка бит по погоде

(1834)

I

Дребезжали дрожки по тихой Пантелеймоновской. В прозрачном сумраке белой ночи ясны были спящие громады пустынных улиц. Сидел он на дрожках сгорбившись, с желтым лицом, нижняя губа брюзгливо отвисла. В английском клубе проиграл он сегодняшнею ночью тысячу двести рублей: хотелось отвлечься от тоски и бестолочи жизни, но только еще больше разволновалась желчь.

Запуталась жизнь, как моток серой шерсти, которым долго играл котенок. Это для самого неожиданное письмо его к царю — слишком вдруг невыносимым стало тяжкое его благоволение и высокомерная опека генерала: захотелось подать в отставку, плюнуть на Петербург, да удрать в деревню, да зажить барином.

Не удалось; пришлось извиняться, унижаться... Почта вскрывает письма его к жене, замы-почтари, ухмыляясь, читают то, что тайно между собою говорят муж и жена. Вспомнил — и весь задергался от бешенства. И денег нет, и долги, свои и чужие. А братец Левушка, тридцатилетний шалопай, беспечно проигрывает в домино у Дюме по четырнадцать бутылок шампанского и потом с виноватым лицом приходит к нему. "Дражайший" то самодовольно сыплет своими каламбурами, то плачет, как баба, и не понимает, что он на два пальца от полного разорения. И все эти милые родственнички беззаботно собираются усесться на его шею, — мало у него и своих забот!.. Мутным сном проходит перед глазами жизнь, и дремлют в душе колдовские чары творчества, способные претворить эту безразличную жизнь в блистающую красоту.

Слез в дрожек, отпустил извозчика. Толкнулся в дверь — заперта. Подскочил он, как будто босою ногою наступил на горячий уголек. Оскалил белые зубы и бешено стал дергать звонок, — часто, без перерыву, чуть не обрывая его. Трезвон пошел по двору, а он все звонил, колотил в дверь кулаками и ногами.

Сонно кашляя, шел со двора дворник, отпер дверь. Пушкин, с нервно дергающимися губами, шагнул через порог.

— Опять, сукин сын, запер дверь? Я тебе что сказал?

Дворник пятился.

— Простите, барин! Что ж мы можем? Хозяин приказал двери запирать в десять часов.

— А я тебе что приказал? Прежде моего приезда не запирать! Боитесь, лестницу, что ли, украдут воры?

Сжав кулак, он наступал, а дворник все пятился.

— Смилуйтесь, барин! Не моя же воля. Обязан я хозяина слушать.

Выкатив глаза, Пушкин заорал бешено:

— Плюю я на твоего хозяина! Сказал, чтоб не запирать, — и не будешь меня запирать!.. Мало от меня получил? Получай еще!

Отмахнулся плащ, и маленький, крепкий кулак с размаху ударил дворника в зубы. Дворник втягивал голову в плечи, пятился и слабо заслонялся локтем. Барин прыгал перед ним, бил в лицо то с правой, то неожиданно с левой руки, голова дворника моталась, а барин сыпал матерными ругательствами и приговаривал:

— Еще? Еще хочешь? Я тебя переупрямлю с хозяином твоим!.. Получай!

(Письмо к Н. Н. Пушкиной, вторая половина июня 1834 г.)

2

И с т о р и я с е л а Г о р ю х и н а: Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным: она отличается ясностию и краткостию слога: например, 4 мая — снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде.

А. С. Искоз (вводная статья в брокгаузовском издании Пушкина, IV, стр. 245, 241): "История села Горюхина" проникнута тем глубоким юмором и тою великою жалостью к человеку, которые так характерны для всепрощающей и любящей души Пушкина... В этой ужасающей правде, рассказанной простодушным тоном Белкина, — в гнетущей своей безысходностью правде, служащей самым грозным осуждением крепостному праву, и заключается, несомненно, главный смысл и значение "Истории села Горюхина".

X

Опять на родине

(1835)

I

Шершавая лошаденка, не понукаемая, шла медленным шагом. Он задумчиво сидел в седле, бросив поводья. Солнце грело почти по-летнему, теплый ветерок ласкал душу родным запахом осеннего листа и сосновой хвои, нити золотой паутины тянулись по придорожным кустам. Но тяжко было на душе и неспокойно.

И все думал он, думал об одном: чем жить? Царь обещал было разрешить ему газету, а там запретил; заставляет его жить в Петербурге, а не дает способов жить своими трудами. Отец мотает имение без удовольствия и расчета; имение тещи на волосок от гибели. У него самого — ни гроша верного дохода, а верного расхода — тридцать тысяч. Писать книги для денег он никогда не мог. А милой женке ни до чего и дела нет. Ей дело работать только ножками на балах и помогать мужу мотать. Ах, скверно!

Вырвался он в деревню на осень, чтоб писать. И душа ушла бы в светлый мир, где все — гармония и красота, где облагораживаются движения души, где сами печали жизни углубляются и просветляются, как серый туман, пронизанный солнцем. Но для этого нужно вдохновение, а для вдохновения — сер-

дечное спокойствие, а он был совсем неспокоен. А не было творчества — и не было жизни. Сердце погружалось в вялую дремоту, душа остывала и черствела. Жизнь тускло текла, как помойный ручеек из подворотни, — в денежных заботах, в хозяйственных дрязгах, в припадках грязной похоти. А год за годом бежит все скорее, не за горами и старость.

Пушкин очнулся, устало поглядел вокруг. Лошадь остановилась и обрывала губами листья с придорожного орешника. Дорога с размытыми и засохшими колеями шла в гору. Над низким песчанистым обрывом сухим своим шумом шумели под ветерком сосны. Три давние знакомки, к которым так привык глаз. Одна, поодаль, была, как прежде. Под двумя другими густо разросся сосновый молодятник, неприятно изменяя вид милых знакомок. Стройные сосенки разной толщины наперебой тянулись вверх, тонкие стволы их рыжели засыхающей хвоей, а побеги последнего лета поднимались, как легкие и пушистые зеленые свечи. Вершинами они уходили в мохнатые лапы материнских ветвей и заслоняли серые стволы и желто-рыжие суки старых сосен. На земле ярко зеленели кожистые листья брусники.

Он угрюмо сидел в седле и с досадою смотрел. Так бывало ему теперь досадно на балах, где он давно уже не танцевал и скучающе стоял у стены, и смотрел на молодых, в красных бальных мундирах, кавалергардов, несшихся в мазурке по паркету с тем же упоением, как и он когда-то. Все кругом говорило ему, что он стареет, что жизнь позади...

Лошаденка стояла, понурив голову, и как будто тоже думала о чем-то. Пушкин сердито оскалился, дернул поводья, хлестнул лошадь плеткой, ударил каблуками в бока и рысью поехал в гору.

(Письмо к Н. Н. Пушкиной 25 сентября 1835 г.)

2

                    На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят, одна — поодаль, две другие —
Друг к дружке близко. Здесь, когда их мимо
Я проезжал при свете лунной ночи,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою
Увидел их опять; они все те же,

Все тот же их знакомый слуху шорох,
Но около корней их устарелых,
Где некогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленою семьей кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий, поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полн,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет...

1924

В ДВУХ ПЛАНАХ

Статьи о Пушкине

Предисловие

Я не исследователь и не критик по специальности. Если я брался за какую-нибудь исследовательскую или критическую тему, то потому, что к теме этой меня приводила общая линия моих исканий. Так было относительно Льва Толстого и Достоевского, Гомера и греческих трагиков, Ницше и древнеэллинской религии. Эта же линия привела меня к Пушкину. В нем я думал найти самого высшего, лучезарно-просветленного носителя "живой жизни", подлиннейшее увенчание редкой у человека способности претворять в своем сознании жизнь в красоту и радость.

В процессе моей работы над Пушкиным я убедился, что мой подход к нему был совершенно неправилен, что я в нем не найду того, чего искал. Что я в нем нашел, об этом расскажет предлагаемая книга.

Москва, 26 февр. 1929 г.

К психологии пушкинского творчества

(В связи с вопросом о датировке элегии на смерть Амалии Ризнич)

В 1823—1824 годах, в Одессе, Пушкин сильно увлекался эксцентрическою красавицей-итальянкой Амалией Ризнич, женою одесского негоцианта. Весною 1824 года она уехала за границу, бросила мужа для любовника и в начале 1825 года умерла в Италии, покинутая любовником, — как рассказывали, — в нищете.

Пушкин написал на ее смерть элегию:

Под небом голубым страны своей родной
　　Она томилась, увядала...
Увяла, наконец, и верно надо мной
　　Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.

Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой,
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Элегия была напечатана в "Северных цветах" Дельвига на 1828 год и затем при жизни Пушкина была перепечатана во второй части собрания его стихотворений в 1829 году. Как в этих изданиях, так и в посмертном, элегия датирована 1825 годом.

П. В. Анненков, подготовляя свое известное издание сочинений Пушкина, нашел в его бумагах подлинник элегии. *Над* элегией стояло: "29 июля 1826", а *под* нею — следующие две строки:

Усл. о см. 25.
У. о. с. Р. П. М. К. Б. 24.

То есть "Услышал о смерти (Ризнич) — 25. Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева — 24". Смысл второй цифры бесспорен: декабристы были казнены 13 июля 1826 года, и 24, очевидно, значит: 24 июля 1826 года.

На основании этих помет Анненков склонен был отнести элегию к 1826 году, хотя в своем издании поместил ее все-таки под 1825 годом. Последующие издания, большею частью, помещали ее под 1826 годом.

Нужно заметить, что упоминаемый подлинник затерялся у Анненкова, и позднейшие исследователи не имели возможности пользоваться им. Только в 1897 году Д. И. Сапожников нашел в сарае анненковской усадьбы, в Симбирской губернии, связку пушкинских рукописей, среди которых оказался подлинник элегии. Он подробно, хотя и не совсем точно*, описал свою находку**. В настоящее время подлинник хранится в рукописном отделении Румянцевского музея в Москве.

И вот как раз с того времени, когда исследователи получили возможность видеть непосредственный подлинник элегии, в вопросе о ее датировке происходит какой-то странный сдвиг на

* Под элегией, кроме двух вышеуказанных помет, Сапожников повторяет еще верхнюю помету — "29 июля 1826 ". Этой пометы в н и з у в подлинной рукописи нет.

** *Сапожников Д. И.* Вновь найденные рукописи А. С. Пушкина. Симбирск, 1899.

основаниях, поражающих своею бездоказательностью. Во втором издании "Трудов и дней Пушкина" Н. О. Лернер пишет: "К 1825 году относится элегия "Под небом голубым". Пьеса эта печатается обыкновенно под 1826 годом, но Ефремов в своих примечаниях (в суворинском издании 1902—1905 годов) сослался на самого Пушкина, напечатавшего ее под 1825 годом, и на автограф, в котором помета, принимаемая со времен Анненкова за дату стихотворения, относится вовсе не к нему". Смотрим у Ефремова: "С издания Анненкова стихотворение *неправильно* начало печататься под 1826 годом, потому что он нашел при стихотворении помету "29 июля 1826" и, кроме того, помету о времени смерти декабристов. Когда теперь отыскали подлинный автограф, то *оказалось*, что дата не составляет пометы стихов, а приписана *сверху* их, как, вероятно, приписана в то же время и заметка *внизу* о смерти декабристов"*.

Каким образом это "оказалось" — неизвестно. Несмотря на тщательные розыски, нам не удалось найти, где и когда это оказалось. Да и Лернер ссылается только на Ефремова, Ефремов ни на кого не ссылается. Остается думать, что собственный его анализ автографа привел Ефремова к такому выводу. Но и следов этого анализа у Ефремова нет; одно только "оказалось", которому мы должны верить на слово. Между тем бездоказательное это "оказалось" ложится в основу всех дальнейших рассуждений о времени написания элегии.

В академическом издании сочинений Пушкина П. О. Морозов, сообщив об анненковской датировке элегии, продолжает: "Между тем элегия написана несомненно на смерть Амалии Ризнич, скончавшейся не в 1826 году, а в 1825-м; в этом же году, конечно, Пушкин узнал о смерти Ризнич, вероятнее всего — от В. И. Туманского, написавшего на ее смерть стихотворение, помеченное 5 июля 1825 года. *Таким образом,* дата, поставленная над стихотворением Пушкина, *очевидно,* к нему не относится; Пушкин вообще не имел обыкновения начинать свои черновые стихи указанием на день их сочинения, а делал это указание уже после того, как стихи были написаны. Что касается помет *под* стихотворением, то и они написаны позже. Поэт, видимо, не раз возвращался к этой четвертушке серой бумаги, на которой была набросана в первоначальном своем виде элегия: на оборотной, чистой, стороне листка он записал карандашом перечень своих драматических произведений, из которых одни были написаны в 1830 году, а другие остались совсем ненаписанными"**.

* *Ефремов,* VIII, с. 262.
** Акад. изд., IV, 73.

В. Я. Брюсов помету *над* стихотворением также считает не относящейся к нему. "Стихи прежде относили к 1826 году, — пишет он, — но сам Пушкин печатал их под 1825 годом, и Ам. Ризнич умерла в 1825 году"*. На основании приведенных соображений все новейшие издания сочинений Пушкина — суворинское, академическое, венгеровское, брюсовское, томашевского — относят элегию к 1825 году.

Рассмотрим основания, которыми они при этом руководствуются. Первое и главнейшее: Амалия Ризнич умерла в 1825 году — "таким образом", "очевидно", как говорит Морозов, и сама элегия написана в 1825 году. Откуда же это очевидно?

Психология пушкинского творчества исследована еще поразительно мало. Совершенно не рассмотрен, между прочим, и такой вопрос: являлась ли лирика Пушкина непосредственным во времени отражением впечатлений жизни, или — иногда, по крайней мере, — впечатления эти долго лежали в душе Пушкина как бы похороненными и лишь много позже, как будто без всякого внешнего повода, вдруг давали ростки и распускались прекрасными поэтическими цветами? Все охотно повторяют известные признания Пушкина в "Евгении Онегине", что он, "любя, был глуп и нем", что в его душе раньше должен утихнуть всякий след бури, непосредственное жизненное переживание должно предварительно перегореть, превратиться в пепел, — "погасший пепел уж не вспыхнет, — тогда-то я начну писать"... И все-таки не только Морозов, но и Валерий Брюсов — сам крупный поэт, притом давно и любовно изучающий как раз процессы пушкинского творчества, — без запинки приводят такой ничего не говорящий довод: Ризнич умерла в 1825 году, значит, и стихотворение написано в 1825 году.

В умах у нас прочно сидит глубоко укоренившееся вульгарное представление о некоем совершенно определенном процессе творчества лирического поэта: лишь то его произведение художественно ценно и искренно, которое отображает его *непосредственное* переживание и написано под *непосредственным* впечатлением. Что уж это за поэт, который способен, например, воспевать вьюгу в солнечный и теплый сентябрьский день или отзываться элегией на смерть любимой женщины через год после того, как услышал об ее смерти?

Вот, например, отрывок из рассуждений одного из ученейших и умнейших современных пушкинистов, М. О. Гершензона, в недавней его книге "Мудрость Пушкина": "Стихотворение

---

* *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Гос. изд., 1920. Т. I, с. 233.

”Бесы” написано в начале сентября, когда нет никаких метелей, ни снега, когда вообще в помине не было той реальной обстановки, которая изображена в этом стихотворении. Пушкин никогда не выдумывал фактов, когда изображал их автобиографически; напротив, в этом отношении он был правдив и даже точен до иоты. Он был бы неспособен в солнечный и теплый день ранней осени, лежа на канапе, выводить пером такие строки:

Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна...

Уж одно это соображение об элементарной честности (!) поэта должно было насторожить критиков и читателей... Ясно, что в ”Бесах” Пушкин вовсе не хотел изобразить зимнюю поездку и вьюгу и настроение путников, как простодушно думают критика и публика” (с. 130—131).

М. О. Гершензон усматривает в пьесе глубокую символику, какую — для нас не важно. Но характерно это своеобразное понимание ”честности” художника, его правдивости. Пушкин был, бесспорно, художественно честен, но отнюдь не в автобиографическом плане. Вера в автобиографическую точность его поэтических показаний представляет один из самых странных предрассудков нынешних исследователей. И, во всяком случае, никак уж нельзя утверждать a priori, что Пушкин обязательно творил под непосредственным впечатлением жизни, что только зимою он мог писать о метели и что только под живым впечатлением смерти любимой женщины мог отозваться на эту смерть элегией. Если с такою меркою мы будем подходить к Пушкину, то рискуем на каждом шагу делать грубейшие ошибки.

Возвращаемся к элегии. Итак, перед нами подлинник, и сверху, и снизу облепленный всякого рода пометами. Конечно, легче всего сразу сказать: ”Эти пометы к стихотворению не относятся” — и на этом успокоиться. Но, может быть, все они связаны друг с другом крепчайшею, хотя на первый взгляд и незаметною связью?

Начнем с первой пометы под стихотворением: ”Усл. о см. 25”. Новейшие редакторы (Морозов, Брюсов) читают эту пометку так: ”Услышал о смерти (Ризнич) в 1825 году”. Примем это чтение и посмотрим, что получается. Ризнич, как нам известно, умерла в начале 1825 года. По мнению новейших исследователей, элегия написана в том же 1825 году. И вот — под элегией Пушкин помечает: услышал о смерти в 1825 году. Чем мог он

руководствоваться, делая такую никчемную помету? Умерла в 1825 году, стихотворение написано в 1825 году, а под ним — услышал о смерти в 1825 году. Ну конечно, в 1825-м! Когда же еще? Странно было бы если бы такая самоочевидная мысль даже просто промелькнула в уме Пушкина. А он для чего-то считает нужным записать ее, закрепить, как нечто примечательное! И потом: что это за странная дата? Не когда случилось событие, а когда человек услышал о нем?

Совсем другой характер получает эта помета, если элегия написана *не* в 1825 году. Ризнич умерла. Через несколько месяцев Пушкин узнает об ее смерти — и никак не реагирует поэтически на услышанную весть. Проходит год. Случайная ассоциация напоминает Пушкину о смерти Ризнич, — и он пишет элегию на ее смерть. Еще Анненков отмечал, что Пукшин часто сам должен был с недоумением останавливаться перед чудесною силою своего таланта и его своеобразною прихотливостью. Такой запоздалый отклик на смерть любимой женщины легко мог поразить самого Пушкина, — и удивление перед странным капризом своей музы, этой "своенравной волшебницы", не подчиняющейся никаким законам, он и отметил записью: "Услышал о смерти в 1825 году", — услышал в 1825-м, а элегию написал в 1826-м.

Вторая помета под стихотворением: "Услышал о смерти Рылеева, Пестеля и т. д. — 24 июля". И опять — поражающая странность. Пушкин услышал о казни декабристов и записывает — что? Не день казни их, что было бы вполне естественно, а случайный день, когда он услышал о казни. Что же в этом-то дне замечательного? И записывает он не в дневнике под данным числом. Нет. По представлению Ефремова и Морозова, он берет *случайно* подвернувшийся листок с прошлогодним стихотворением и *случайно* под записью "услышал о смерти Ризнич 25" пишет свою — либо слишком случайную, либо, напротив, слишком уж неслучайную помету: "Услышал о смерти декабристов 24".

Совпадение помет, конечно, не случайное. Если два раза подряд Пушкин записывает такие странные даты, как даты времени, когда он услышал о двух поразивших его событиях, то ясно, что он имел в виду сопоставление этих дат, что они тесно связаны друг с другом, — вторая столь же тесно с первой, как первая с самим стихотворением. А в таком случае стихотворение не могло быть написано раньше более поздней из этих дат, то есть 24 июля 1826 года. И тогда мы вправе заключить, что написанное *над* элегией число "29 июля 1826" представляет дату действительного написания элегии.

Тот же П. О. Морозов в более ранних по времени примечаниях в венгеровском издании Пушкина (III, 577) читает первую помету иначе: ”Услышал о смерти 25 июля”. Так же читает ее и П. Е. Щеголев в своем исследовании об Амалии Ризнич*. Нам такое чтение пометы представляется более правильным. На подлиннике цифры в пометах поставлены точно одна под другой, — для этого Пушкину пришлось вторую помету, более длинную, начать, отступив влево от начала первой пометы, и несколько сжать в ней буквы. Очевидно, вся суть для него была в сопоставлении цифр. И естественно предположить, что цифры сопоставлялись равнокачественные: услышал о смерти декабристов 24 июля (1826 года), услышал о смерти Ризнич — 25 июля... Но какого года? 1825 или 1826? Для решения этого вопроса мы не имеем достаточно данных. Во всяком случае, мы не решились бы утверждать уверенно, что в 1825 году: 13 августа этого года Пушкин пишет В. И. Туманскому в Одессу: ”Об Одессе, кроме газетных известий, я ничего не знаю; напиши мне что-нибудь”**.

Второй довод, приводимый редакторами новейших изданий Пушкина за датировку элегии 1825 годом, что сам Пушкин датировал ее 1825 годом. Но Пушкин нередко вполне сознательно давал в печати своим стихам неверные даты. В майковском собрании пушкинских рукописей, принадлежащем Академии наук, находится, между прочим, перечень стихотворений, сделанный Пушкиным для предполагавшегося издания его сочинений (описан П. О. Морозовым, — *Пушкин и его современники*, XVI, с. 117). В нем, между прочим, поименованы ”Расставание”, ”Заклинание” и ”Для берегов отчизны дальной”. Все три стихотворения эти с совершенною достоверностью написаны в знаменитую болдинскую ”детородную” осень 1830 года. Между тем в перечне — ”Расставание” отнесено к 1829 году, другие два стихотворения — к 1828-му. Мотивы вполне ясны: осенью 1830 года Пушкин был счастливым женихом своей красавицы невесты и вот, в вынужденной разлуке с нею, страсно рвется — не к ней, а к призраку какой-то умершей своей возлюбленной. Конечно, оповещать об этом публику и ревнивую жену было не совсем удобно, — и Пушкин отнес стихотворения к более ранним годам. Другой пример — стихотворение ”К фонтану Бахчисарайского дворца”. Сам Пушкин помечал его 1820 годом (время посещения им Бахчисарая). Однако основной черновик стихотворения находится в тетради 1824 года, среди черновиков

* Пушкин, СПб., 1912, с. 215.
** Переписка Пушкина. Акад. изд. I, с. 261.

"Подражаний Корану", написанных несомненно в 1824 году. И многие авторитетные исследователи — Л. Н. Майков, П. О. Морозов — считают это стихотворение написанным в 1824 году. Причина неверной датировки Пушкиным как стихотворения "К фонтану", так и разбираемой нами элегии, вполне очевидна. С виду, — душа нараспашку, Пушкин в действительности был глубоко скрытен. Всего менее любил он допускать любопытных в святилище своего творчества, в котором и до сих пор еще для нас так много неизведанных тайн. Но приятелей, знакомых со всеми внешними обстоятельствами его жизни, у Пушкина всегда была бездна. Если даже теперь, через сотню лет, даже М. О. Гершензон может полагать, что несвоевременная реакция на впечатления жизни служит свидетельством "нечестности" поэта, то можно себе представить, сколько недоумений мог ждать Пушкин от своих приятелей, опубликовывая подлинные даты написания "К фонтану Бахчисарайского дворца" и элегии на смерть г-жи Ризнич.

— Помилуй, любезный друг! Что же это? В Бахчисарае ты был в двадцатом году, а воспеть свое посещение собрался в двадцать четвертом! Ризнич умерла в начале 1825 года, а ты только летом 1826-го раскачался почтить ее память элегией!

...Шутками одними
Тебя, как шапками, и враг, и друг,
Соединясь, все закидают вдруг...

И, чтобы в корне пресечь все эти недоумения и шутки, Пушкин стихотворение "К фонтану" помещает под 1820 годом и элегию на смерть Ризнич — под 1825-м.

Развитые соображения лично для меня кажутся достаточно вескими и убедительными, чтобы с полною уверенностью отнести разбираемую элегию к 1826 году. Но рассуждения эти становятся только подсобными и даже, пожалуй, совершенно излишними для всякого, кто возьмет на себя труд ознакомиться с подлинником того "черновика", о котором тут уж так много говорилось. Ведь фундаментом, на котором строились все доводы новейших редакторов Пушкина, было предположение, что пометы при стихотворении к нему не относятся, написаны позже и попали сюда случайно. Подлинник элегии находится в Москве, в рукописном отделении Румянцевского музея (№ 3266), и всякий желающий может с ним познакомиться.

Прежде всего, это вовсе не "черновик", как все время говорит Морозов, очевидно, его не видевший. Это несомненнейший беловик, переписанный Пушкиным весьма тщательно. Правда, сравнительно с печатным текстом есть несколько вариантов. Но всего три незначительных помарки. А ведь известно, как исчерканы и перечерканы все черновики Пушкина, каким они исписаны своеобразным почерком, нервным и нетерпеливым. Тут же ничего похожего.

Для всякого, кто даже бегло взглянет на эту четвертушку серой бумаги, будет совершенно несомненно, что стихотворение со всеми своими пометами написано *одновременно, в один присест*. Тот же ровный, спокойно-беловой почерк, те же выцветшие, рыжеватые, одинакового тона чернила от первой буквы до последней. Верхняя помета помещена не сбоку где-нибудь, не наскоро. Совершенно определенно (на это указал уже П. В. Анненков) помета написана, *как заглавие* стихотворения, — подчеркнута — и дальше тем же тщательным почерком выписано все стихотворение. Только в последней помете, как я уже указывал, буквы написаны несколько более узко для того, чтобы цифры пришлись одна под другою.

На этом я настаиваю: верхняя помета с полною очевидностью представляет из себя подлинное заглавие элегии. Пример такого рода заглавия мы знаем у Пушкина. Дата написания стихотворения — "Дар напрасный, дар случайный, — Жизнь, зачем ты мне дана?" — тоже представляет собою заглавие стихотворения: "26 мая 1828". Под таким заглавием оно при жизни Пушкина и печаталось. Но ясно, что в таком случае дата была не случайным числом, в ней было для Пушкина нечто знаменательное. И действительно, 26 мая был день рождения Пушкина. Столь же, очевидно, знаменательна в каком-то отношении была для Пушкина и дата написания элегии на смерть Ризнич. Что-то в этой дате было для него особенное, тесно связанное с стихотворением, что-то, что он считал нужным для себя подчеркнуть.

В последнее время М. Л. Гофман ведет эгнергичную и обоснованную агитацию за "канонический" текст Пушкина. Но нельзя, конечно, считать каноническим просто тот текст, с которым Пушкин, по ряду личных соображений, считал нужным выступать перед своими современниками. В таком случае, например, канонический текст элегии — "Редеет облаков летучая гряда" — пришлось бы печатать без трех заключительных стихов: Пушкин очень сердился на А. Бестужева за то, что тот по недосмотру напечатал элегию целиком, и в последующих изданиях печатал ее без заключительных трех стихов, имевших для Пушкина

слишком интимный характер. Это обстоятельство, разумеется, нисколько не обязывает и нас откидывать указанные три стиха. Интимным, не предназначенным для современников заглавием элегии на смерть г-жи Ризнич было: "29 июля 1826". Это заглавие, мне кажется, и должно бы считаться каноническим.

Но раз все это так, то в пометах Пушкина при элегии нельзя не видеть кратко отмеченного им для себя какого-то своеобразного пути, которым он от вести о казни декабристов пришел к написанию элегии на смерть г-жи Ризнич. Пометы эти приоткрывают краешек завесы над одною из самых загадочных тайн пушкинского творчества.

Приведенная выдержка из новейшей книги М. О. Гершензона показывает, как прочно и до сих пор распространено мнение, что лирический поэт творит под непосредственным впечатлением жизни, что эта непосредственность отклика служит лучшим свидетельством правдивости и художественной честности поэта. С этой точки зрения чем сильнее впечатление, полученное поэтом от жизни, чем живее бьется в его душе радость, гнев, отчаянье, скорбь, тем сильнее будет и само его произведение. Величайшее и самое завидное преимущество поэта перед нами, обыкновенными людьми, заключается в том, что теснящие душу чувства, которые мы изживаем молча, поэт гармонизирует в своих стихах, очищая и просветляя этим свою душу. Как говорит Торквато Тассо у Гете:

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide, —

"другие люди в своих мучениях осуждены на молчание, мне же некий бог дал возможность рассказывать о том, как я страдаю". У таких поэтов их лирика есть их полная биография. Все, что они сильно переживали в жизни, естественно, наиболее сильно отражалось и в их лирике. Характерны в этом отношении древнеэллинские поэты. Даже по тем скудным отрывкам, которые дошли до нас от Архилоха, Алкмана, Алкея и Сафо, мы имеем возможность установить все важнейшие моменты их биографии. В новое время характернейший тип такого рода поэта представляет Байрон. Он мог писать только в состоянии аффекта, властно охваченный силою непосредственного переживания. "Все судороги кончаются у меня рифмами, — говорит он. — Я никогда

ничего не переделываю. Я подобен тигру: если первый прыжок мне не удается, я, ворча, возвращаюсь обратно в кустарники". "Шильонский узник" написан им в течение первых двух дней после посещения Шильонского замка. "Жалоба Тасса" вылилась чуть ли не в той самой тюрьме, где сидел Тассо. У таких поэтов сила поэтического отзвука не впечатление жизни прямо пропорциональна силе этого впечатления. Лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина могло быть написано только под свежим впечатлением его смерти.

Совсем не то у Пушкина. Процесс своего творчества он подробно описывает в заключительных строфах первой песни "Онегина". Признания эти часто цитируются и все-таки далеко не достаточно восприняты в своей своеобразности и во всей своей психологической парадоксальности.

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя во след.
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем:
Но я, любя, был глуп и нем.
Прошла любовь, явилась Муза.
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу *союза*
Волшебных звуков, чуств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует...
. . . .
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать...

Тревога любви проходит для Пушкина "безотрадно", он не может в творчестве успокоить "мук сердца". Сила непосредственного чувства "затемняет" его ум; это непосредственное чувство должно совершенно перегореть, превратиться в пепел, тогда затемненный страстью ум "проясняется", и поэт, став "свободным", обретает союз между волшебными звуками, с одной стороны, чувствами и думами — с другой.

Это ставит вверх ногами все обычные наши представления о процессе творчества лирического поэта. Если непосредственное чувство должно быть предварительно совершенно изжито,

должно потерять всю свою живую остроту, то последовательная реакция на него, естественно, будет уже только случайною и психологически не повелительною. Это мы и видим у Пушкина.

Мы знаем, в жизни Пушкина было несколько очень глубоких и сильных любовных увлечений. И вот, если мы рассмотрим стихотворения, отражающие эти сильные увлечения, то увидим, что в подавляющем большинстве их изображается не непосредственное переживание, а *воспоминание* ("Погасло дневное светило", "Редеет облаков летучая гряда", "Ненастный день потух", "Ты видел деву", "Талисман", "Кто знает край", "Расставание", "Заклинание", "Для берегов отчизны" и т. д.). Есть рядом с этим стихотворения, изображающие и непосредственное переживание, но, во-первых, их поразительно мало, а во-вторых, и относительно этих стихотворений мы не знаем, написаны ли они под непосредственным впечатлением или позже, когда само чувство уже превратилось в "погасший пепел". Под непосредственным впечатлением, мы знаем, написано стихотворение к А. П. Керн (19 июля 1825 года, в день ее отъезда из Тригорского). Но процесс, приведший Пушкина к написанию этого стихотворения, — самый фантастический. Останавливаться на нем здесь не место. Но напомню, что Анна Петровна Керн, уезжая из Тригорского, увозила с собою два посвященных ей стихотворения Пушкина. Одно:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Другое — циничное послание к Родзянке, сожителю г-жи Керн, в котором об этом самом "гении чистой красоты" писалось:

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу...

Далее. Мы находим у Пушкина большое количество стихотворений, отражающих его увлечения, не "затемнявшие" ум, — к бесчисленным барышням Вульф, их родственницам и кузинам, ко всяким московским барышням. Но и здесь наблюдается большая случайность. Несколько стихотворений посвящено сестрам Ушаковым, и ни одного — сестрам княжнам Урусовым, которыми в 1827 году Пушкин увлекался не менее, чем Ушаковыми. Несоразмерно большое количество стихотворений посвящено А. А. Олениной ("Город пышный", "К Доу эскв.", "Ее

глаза", "Ты и вы", может быть, — "Предчувствие", "Приметы", "Что в имени тебе моем", "Я вас любил"). Между тем в биографических и эпистолярных материалах это увлечение Пушкина не находит почти никакого отражения. По-видимому, увлечение носило почти эстетический характер. На неглубокость его указывает и стихотворение самого Пушкина к Нетти Вульф: "За Нетти сердцем я летаю — В Твери, в Москве — И. Р. и О. позабываю — Для Н. и В." О. — Оленина фигурирует тут рядом с другою красавицею, Р. — Россет, и все трое, вместе с Нетти Вульф, владеют сердцем поэта. И взять рядом увлечение Пушкина Наталией Николаевной Гончаровой, будущей его женою. Это был ураган, в течение двух с лишком лет трепавший, как былинку, душу Пушкина и совершенно затуманивший его ум. Попросил руки, отказали. Через год просит вторично. Из-за любви к этой недалекой шестнадцатилетней девочке-бесприданнице он решается пожертвовать своею холостою свободою и материальною независимостью, идет на противные ему денежные заботы, мало того, готов связать свою судьбу с девушкою, которая, как он прекрасно понимает, не любит и не может любить его, в обывательском расчете: "стерпится — слюбится". Теряется, как застенчивый мальчик, от надежды переходит к отчаянью, в тоске мечется из Москвы в Петербург, из Петербурга в Михайловское, бросается под турецкие пули, рвется уехать хоть в Китай. Ужасается той петли, которую сам же собирается на себя накинуть, и тем настойчивее старается добиться цели. Как же сильна должна была быть его страсть! И вот, только два, всего два стихотворения, с несомненностью относящихся к Гончаровой, — элегический отрывок "Поедем, я готов" и "Мадонна!"* Служат ли эти стихотворения хотя бы отдаленным отражением действительных чувств, которые переживал Пушкин в любви своей к Гончаровой?

Так — в области любви. Но так у Пушкина в области и вообще всякого сильного чувства. Умер барон Дельвиг, лучший и самый близкий друг Пушкина. "Никто на свете не был мне ближе Дельвига", — пишет Пушкин Плетневу. Вяземский сообщает: "Едва ли не Дельвиг был, между приятелями, ближайшая и постояннейшая привязанность Пушкина"**. И никакого непо-

* Известное стихотворение "Красавице" ("Все в ней гармония, все диво"), как доказано новейшими исследованиями, обращено *не* к Гончаровой. Что касается стихотворения "Мадонна", то сам Пушкин, как думает кн. П. П. Вяземский, "из напускного цинизма", утверждал, что оно сочинено им для другой женщины, а не для жены. *(Собр. соч. кн. П. П. Вяземского. СПб., 1893, с. 521.)*

** Соч. кн. П. А. Вяземского, VIII, 442.

средственного поэтического отзвука на эту смерть! Только много позже, когда непосредственная боль утраты совершенно уже прошла, Пушкин с светлою грустью поминает своего друга в стихотворении "Чем чаще празднует лицей". Умерла няня Арина Родионовна. А. П. Керн говорит в своих воспоминаниях, что из женщин Пушкин "никого истинно не любил, кроме няни своей и сестры". Поэт Языков, всего несколько раз видевший Арину Родионовну, пишет стихотворение на ее смерть. А Пушкин молчит. И только через семь лет посвящает ее памяти задушевные, грустные строки в стихотворении "Опять на родине".

Последние месяцы жизни Пушкина, кончившиеся дуэлью. Ревность, злоба, бешенство непрерывно кипят в нем, доводят почти до сумасшествия. И ни единого отзвука этих чувств в его поэзии. Какими ослепительными, зловещими молниями засверкало бы при таких обстоятельствах творчество Архилоха или Байрона! Друг Архилоха совершил по отношению к нему какое-то предательство.

Пускай близ Салмидесса ночью темною
Взяли б фракийцы его
Чубатые, — у них он настрадался бы,
Рабскую пищу едя! —
Пусть взяли бы его, — закоченевшего,
Голого, в травах морских,
А он зубами, как собака, ляскал бы,
Лежа без сил на песке
Ничком, среди прибоя волн бушующих.
Рад бы я был, если б так
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал, —
Он, мой товарищ былой!

Вот как пишут под непосредственным впечатлением. Пушкин же под непосредственным впечатлением, по-видимому, способен был писать только свои "пакости", эпиграммы и сатиры вроде "На выздоровление Лукулла", в которых позже сам раскаивался. Итак, становится понятным, почему Пушкин не любил волнующей кровь весны и способен был творить только в спокойную, бесстрастную осеннюю пору!

Пометы Пушкина при разобранной нами элегии на смерть Ризнич привносят в эту своеобразную психологию пушкинского творчества черту, еще более своеобразную.

24 июля 1826 года Пушкин узнал о казни декабристов. Большинство их он знал лично, с некоторыми, как с Рылеевым, был близок. Мы знаем, как потрясла Пушкина эта весть. Несколько раз он говорит об этом в письмах. В черновиках его

находим рисунки, изображающие виселицу с висящими на ней пятью фигурами, находим инициалы повешенных с припискою: "видел во сне". И вот, через пять дней после этой потрясающей вести Пушкин пишет элегию на смерть... Амалии Ризнич! Через пять дней! Перед глазами — проклятая виселица, трупы повешенных друзей не дают покоя ни днем, ни ночью, а он поет о "бедной, легковерной тени" своей возлюбленной, умершей полтора года назад! Возлюбленной, весть о смерти которой, как сам же он сообщает в элегии, оставила его совершенно равнодушным! Что же это такое? Психика Пушкина, бесспорно, была очень подвижная, но ведь это уж превосходит всякое вероятие.

Мы имеем перед собою два несомненных факта. Первый: на художественную объективацию непосредственной своей жизненной боли и радости Пушкин был неспособен, он переживал их "безотрадно", не умея горячкой рифм успокоить мук сердца. Второй, столь же несомненный факт: именно уход в творчество давал Пушкину силу нести тяготы жизни и сохранять душу живую.

А ты, младое вдохновенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света, —
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Как венецианский гондольер,

Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и тихой музы полн,
Умеет услаждать свой путь над бездной волн.

Как же совмещались у Пушкина эти два взаимно исключающих друг друга факта — неспособность изливать непосредственные боли жизни в творчестве и потребность разрешать боли жизни именно в творчестве? Намек на ответ дает нам элегия на смерть Ризнич с сопровождающими ее пометами: от живой боли жизни Пушкин уходил со своим творчеством *в сторону* от жизни; в творчестве на темы, переставшие его непосредственно волновать, он находил то успокоение, то исцеление и очищение души, — аристотелевский *кафарсис,* — которые давали ему возможность нести реальные боли жизни. В таком освещении нам станет

понятен тот своеобразный путь, которым Пушкин, под живым впечатлением смерти декабристов, пришел к написанию элегии на смерть давно умершей Ризнич. Путь этот был достаточно своеобразен, чтоб поразить самого Пушкина и вызвать у него желание отметить его для себя маленькими вехами в виде разобранных помет, которые в обычном толковании являются не только ничего не говорящими, но просто глупыми. Смысл помет: "Услышал о смерти декабристов 24 июля этого года, год без дня назад (или через день после первой вести), услышал о смерти Ризнич — и вот 29 июля написал элегию на смерть... Ризнич!"

Такое понимание процесса написания нашей элегии бросает свет и на целый ряд других чрезвычайно загадочных фактов в творческой жизни Пушкина. Укажу на два.

1 мая 1829 года Пушкин пишет Наталии Ивановне Гончаровой (матери), приславшей ему вежливый отказ в руке ее дочери, письмо, полное скорби и робких надежд, и в ту же ночь уезжает на Кавказ, в действующую армию, чтоб размыкать свое горе. И вот через две недели, 15 мая, он пишет стихотворение, отрывок из которого в обработанном виде печатается так:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

О ком может здесь идти речь? Всякий здравомыслящий человек скажет: "Ну конечно о Наталии Гончаровой". Так долго и думали все исследователи. Но знакомство с черновиками стихотворения дало самые неожиданные результаты. Там читаем: "Я *снова* юн и твой"... "Я твой *по-(прежнему), я вновь* тебя люблю, и *без надежд, и без желаний*... Чиста моя любовь и нежность девственных мечтаний..." "Прошли забытые... *Дни... многих лет...*"* Очевидно, стихотворение обращено к женщине, которую Пушкин любил когда-то прежде, вероятнее всего, как догадывается Е. Г. Вейденбаум, к Марии Раевской, о знакомстве с которой ему напомнил Кавказ. Две недели прошло — и Пушкин забыл о Гончаровой, и уж полон любви к далекой Раевской!.. Маленькая девочка, у которой братишка отнял куклу, заливается

* *Шляпкин И. А.* Из неизданных бумаг А. С. Пушкина, СПб., 1903, с. 8.

горьким плачем; увидела воробья — и уж забыла о своем горе, и радостно смеется, а на щеках еще не высохли слезы. Можно ли такую младенческую подвижность психики предполагать хотя бы даже у непостоянного Пушкина? Раньше я готов был допустить это. Теперь мне представляется более вероятным другое объяснение: от "безотрадно" переживаемой живой, сверлящей тоски по Наталье Гончаровой он в творчестве своем уходил в "светлую печаль" о далекой любви, покрытой в душе многослойным пеплом перегоревших увлечений.

Осенью 1830 года Пушкин, уже женихом Гончаровой, уехал в нижегородскую свою деревню Болдино для устройства имущественных дел. Думал пробыть месяц — пришлось пробыть три: разразилась холера, карантины отрезали его от Москвы. Письма от невесты приходят неправильно, отец сообщает сплетни, что она будто бы выходит замуж за другого. Пушкин волнуется, три раза пытается пробраться в Москву, но неудачно. Эти три месяца вынужденного уединения были для Пушкина временем колоссальной художественной продуктивности. В Болдине написаны его несравненные маленькие драмы "Моцарт и Сальери", "Пир во время чумы" и пр., две последние главы "Онегина", "Домик в Коломне", "Повести Белкина", около тридцати мелких стихотворений. И во всем этом — никакого отражения тех чувств, которые так ярко и напряженно кипят в его письмах из Болдина! Как будто и нет никакой Гончаровой, нет по поводу ее ни сомнений, ни беспокойства, нет порываний. Мало того. Перед Пушкиным неотступно стоит обольстительный призрак какой-то давно умершей его возлюбленной, и он страстно тянется к ней всем своим существом и воспевает ее в целом ряде стихотворений ("Расставание", "Заклинание", "Для берегов отчизны"):

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего.
Иль чтоб изведать тайны гроба:
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... Но, тоскуя,

Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой... Сюда, сюда!

Что это? С глаз долой — и из сердца долой? Есть ли это выражение крайнего непостоянства *человека*? Или это есть уход *художника* от волнений живой жизни в мир "светлых привидений", совершенно не связанных с этою жизнью?

1923

Об автобиографичности Пушкина

Доклад этот, направленный против одной из любимейших мыслей М. О. Гершензона в области пушкиноведения, был прочитан 13 февраля 1925 года в Академии Художественных Наук, в присутствии М. О. Гершензона. Спорили много и страстно. Мих. Осип. был полон жизни, полон того милого, трепетного душевного сверкания, которое так для него было характерно. Через шесть дней он лежал в гробу... Не будет обидою, если эту статью, направленную против некоторых взглядов Гершензона, я посвящу его памяти.

Автобиографичен ли Пушкин?

Автобиографичен, собственно говоря, всякий художник — в этом его отличие, например, от научного исследователя. Читая трактат Гарвея о кровообращении или работы академика Павлова об условных рефлексах, мы не получаем никакого представления о личности самих исследователей. Всякий же художник лишь постольку и интересен, поскольку он отражает в своем творчестве живую свою личность с ее чувствами, настроениями, стремлениями и мечтами. Сугубо автобиографичен лирический поэт, специально пишущий, в большинстве случаев, о своих личных переживаниях. В этом общем смысле, конечно, не представляет исключения и Пушкин.

Но лет пятнадцать назад М. О. Гершензоном было выдвинуто положение о специальной, исключительной автобиографичности Пушкина. В статье своей "Северная любовь Пушкина", напечатанной в январской книжке "Вестника Европы" за 1908 год, Гершензон писал: "Биографы оставили без внимания весь тот обильный биографический материал, который заключен в стихах Пушкина. Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального

свойства, — надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину"*. И в ряде других статей Гершензон не устает твердить о "поразительной, щепетильной, почти педантической правдивости Пушкина" (с. 171). Вот до каких размеров доходит, по мнению Гершензона, эта честность Пушкина: "Стихотворение *Бесы* написано в начале сентября, когда нет никаких метелей, ни снега, когда вообще в помине не было той реальной обстановки, которая изображена в стихотворении. Пушкин никогда не выдумывал фактов, когда излагал их автобиографически; напротив, в этом отношении он был правдив и даже точен до иоты. Он был бы неспособен в солнечный и теплый день ранней осени, лежа на канапе, выводить пером такие строки:

Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна..." (с. 130)

Тут я просто не могу понять, что хотел сказать М. О. Гершензон. Ну а в ясный и тихий зимний день мог Пушкин писать о метели? Мог он писать о ней хотя бы и во время метели, но лежа на канапе в теплой комнате? Или же раз "еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь", то честный поэт мог об этом писать, только сидя в возке, среди вьюжных полей? Как мог Пушкин в слякотный октябрьский петербургский день писать: "Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут"?

Такое ответственнейшее положение о безусловной, прямой автобиографичности художественного творчества Пушкина можно, казалось бы, выставлять лишь после очень большой предварительной работы, которая бы установила точное, и притом *неизменное, постоянное*, совпадение поэтических признаний Пушкина с имеющимися в нашем распоряжении биографическими данными. Ничего такого М. О. Гершензоном не сделано. Утверждение его о глубокой автобиографичности Пушкина носит совершенно догматический характер, он даже и не пытается его доказывать. Если бы дело шло только о самом Гершензоне, то большой беды тут не было бы. Метод его никуда не годится, но сам он так умен и интересен, так знает Пушкина и так трогательно любит его, так много думал над ним, что читаешь любую его работу — не соглашаешься подчас ни с одним словом, всю статью испещришь вопросительными и восклицательными зна-

* *Гершензон М. О.* Мудрость Пушкина, 155.

ками, а прочтешь — и столько в голове поднимается вопросов, так по-новому начинаешь чувствовать Пушкина, так ярко начинаешь сознавать необходимость пристальнее, глубже, острее вчитываться в Пушкина, что больше получаешь от этой статьи, чем от иной статьи, с которой соглашаешься вполне. Да и сам Гершензон не любит спорить и доказывать. Он в науке больше поэт, чем исследователь. На возражения он часто отвечает: "Вы смотрите так, я так". Излагая свой взгляд на "Домик в Коломне", замечает: "Мое восприятие субъективно, — и я не думаю доказывать его верность" (с. 146).

Но своим утверждением о полной автобиографичности Пушкина Гершензон вообще устанавливает определенный подход к художественным произведениям Пушкина. В этом направлении и до Гершензона биографы грешили сверх всякой меры, теперь же такой подход освящается авторитетом одного из выдающихся современных пушкинистов. К каким негодным, ненаучным результатам ведет такой подход, показывает недавно вышедшая книжка В. Ф. Ходасевича *"Поэтическое хозяйство Пушкина"* (кн. I, 1924), в некоторых других отношениях, впрочем, весьма ценная.

В. Ф. Ходасевич так же категорически и так же бездоказательно декретирует абсолютную автобиографичность Пушкина. И получается из этого вот что.

В апреле—мае 1826 года Пушкин направляет забеременевшую от него дворовую девушку из Михайловского в Москву к кн. Вяземскому, просит приютить ее и "позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик". Девушку было решено отправить в нижегородскую деревню Пушкиных Болдино. О дальнейшей судьбе этой девушки и ее ребенка нам ничего не известно. "И мать, и ребенок, — пишет В. Ф. Ходасевич, — как в воду канули. А может быть, так и было? Да, может быть, так и было". Беременная девушка, по мнению Ходасевича, в буквальном смысле канула в воду, т. е. утопилась, о чем весьма убедительно свидетельствует... пушкинская драма "Русалка". "Скажу прямо, — заявляет Ходасевич, — "Русалка", как и весь Пушкин, глубоко автобиографична. Она — отражение истории с той девушкой, которую поэт неосторожно обрюхатил. Русалка — это и есть та безымянная девушка, которую отослали рожать в Болдино, князь — сам Пушкин" (с. 119). Только так, по мнению Ходасевича, можно объяснить бесследное исчезновение матери и ребенка. "Если, как это ни трудно, допустить, — пишет Ходасевич, — что ребенок с матерью жили в Болдине, ничем, никогда не напоминая о своем существовании, то придет-

ся допустить нечто еще более невероятное: психологическую возможность для Пушкина-жениха перед самой свадьбой отправиться для осенних вдохновений в это самое Болдино, где живет его собственный ребенок со своею матерью. Несомненно, что если бы возможность такой встречи существовала, то Пушкин в Болдино не поехал бы" (с. 121). Во-первых, Пушкин тогда поехал в Болдино вовсе не для "осенних вдохновений", а для весьма прозаического устройства своих имущественных дел перед женитьбой. А во-вторых, поражает тут у Ходасевича полное отсутствие исторической перспективы. То, что нам представляется чудовищным и психологически невероятным, в те времена было обычнейшим явлением, на котором никто и внимания не останавливал. "Детей у Ивана Ивановича не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни. Гапка — девка здоровая, с свежими икрами и щеками. А какой богомольный человек Иван Иванович!.." Так у Гоголя. А вот что рассказывает Лев Толстой: "Отец мой, лет шестнадцати, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны. Он потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью и был благодарен за 10—15 рублей, которые давали ему". Сам Пушкин так описывает в "Онегине" времяпрепровождение холостого барина в деревне:

Прогулки, чтенье, сон глубокой,
. . . .
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый...

Поцелуй белянки, то есть дворовой девушки, проводящей время за домашними работами в комнатах, в отличие от загорелых крестьянских девушек, работающих в поле, — поцелуй белянки этой фигурирует, как нечто вполне обычное, между чтением, сном и верховыми прогулками барина.

То соображение, что мы не имеем никаких сведений о дальнейшей судьбе девушки, отосланной Пушкиным в Москву, и другие соображения Ходасевича, сами по себе столь же малоубедительные, могут привести нас к заключению, что девушка утопилась, лишь при вере нашей в догмат об абсолютной автобиографичности Пушкина вообще и его "Русалки" в частности. Если же веры этой у нас нет, то на все соображения Ходасевича

можно ответить только одно: "Да, могло быть". Могло быть, могло и не быть. Что делать с этим вялым и бесплодным "могло быть", кому и на что оно нужно? Необходимо решительнейшим образом осудить то безудержное и бесконтрольное фантазирование, которому с самым серьезным видом предаются иные исследователи пушкинского творчества.

Посмотрите, до чего тут все произвольно. Веруя в автобиографичность Пушкина, Ходасевич рисует портрет отца пушкинской любовницы с мельника в "Русалке". Но в "Русалке" мельник, как известно, сходит с ума. "Вряд ли, — пишет Ходасевич, — михайловский мужик столь же романтически сошел с ума, но *вполне возможно и житейски правдоподобно, что он спился и опустился, как станционный смотритель*". Это еще откуда? А видите ли, в "Станционном смотрителе" у Пушкина также выведена драма между отцом и дочерью, значит, "вполне возможно", что судьба отца девушки была такая, как станционного смотрителя. Но позвольте! В "Полтаве" тоже выведена драма между отцом и дочерью, — отчего не допустить, что отец девушки, подобно Кочубею, "бесчестья дочери не снес" и написал на поднадзорного Пушкина донос, что за это его — ну, не пытали и не казнили, но наказали кнутом и сослали в Сибирь? И не есть ли вся "Полтава" выражение раскаяния, которое мучило Пушкина, не казнил ли он сам себя в лице Мазепы? Отчего это невозможно? Все возможно! Но какая цена этим произвольным домыслам?

Все такие безногие догадки, колеблясь на костылях, держатся в неустойчивом равновесии, пока их никто не трогает, и сконфуженно валятся навзничь, как только до них дотронутся подлинные факты. Вот, например, в № 3 *"Русского Современника"* Б. В. Томашевский, в рецензии на книгу Ходасевича, сообщает, что П. Е. Щеголев напал на следы упомянутой девушки. Оказывается, и она, и ребенок ее благополучно здравствовали много времени спустя после отъезда девушки в Болдино. Что же тогда остается от "глубокой автобиографичности" "Русалки"?

Ни единого твердого биографического факта нельзя извлечь непосредственно из поэтических признаний Пушкина. А если какие и извлекаются, то их приходится обрабатывать и перетолковывать самым произвольным образом, чтобы согласовать с подлинными фактами. М. О. Гершензон приводит целый ряд поэтических сообщений Пушкина, что в 1820 году он, "искатель новых впечатлений", бежал с севера, "сети разорвав, где бился я в плену". Раз Пушкин педантически автобиографичен, то мы должны бы заключить, что Пушкин добровольно уехал из Петербурга. Следуя разбираемому методу, мы такое бы заключение

и сделали и даже подтвердили бы его цитатой из письма Пушкина в марте 1820 года: "Петербург душен для поэта, я жажду краев чужих" и т. д. Однако мы доподлинно знаем, что в мае 1820 года Пушкин был выслан из Петербурга. Как же тут быть с автобиографичностью? Вот как. "Правда, Пушкин не сам расторгнул оковы, — пишет М. О. Гершензон, — он выброшен из Петербурга грубой рукой; но он так долго, так страстно рвался вон, что важность самого факта застилает для него причину: ему кажется, что он сам бежал в поисках свободы и свежих впечатлений" (с. 163). Может быть, и так, но значит, Пушкин передает в стихах факты не так, как они происходили в действительности, и, следовательно, он не педантически автобиографичен.

Вопрос о пригодности поэтических признаний Пушкина для биографических целей тесно сплетается с обратным вопросом, — с вопросом о допустимости подведения известных нам биографических фактов под поэтическое творчество Пушкина, с вопросом, каким образом использовал он в своем творчестве тот материал, который давала ему жизнь? И здесь — та же произвольность, та же ненаучная фантастика, та же безудержность в высказывании никчемнейших домыслов.

Процесс художественного творчества до сего времени почти совершенно еще не исследован; не исследован и вообще, не исследован и в применении к каждому художнику в отдельности, а это необходимо, потому что процесс творчества глубоко индивидуален и у каждого художника свой. При таком положении дела необходимо подходить к этому вопросу с величайшей осторожностью, отбросив всякие априорные представления, подвергая всякий факт строжайшей критике. Ведь имеем мы дело с явлением совершенно неисследованным, притом до чрезвычайности тонким и загадочным. Но типичный современный исследователь никаких сомнений тут не испытывает. Он доподлинно знает, неизвестно откуда, что художник совершенно лишен творческой фантазии, что весь свой материал целиком он рабски и беспомощно черпает из жизни. Работа, таким образом, становится очень простой: отыскивается в жизни художника факт, более или менее напоминающий что-либо в его произведении, — и сближение готово, и нам демонстрируется биографическая основа данного художественного произведения или эпизода.

Типичнейшие образцы — в той же работе В. Ф. Ходасевича. Пушкин написал "Скупого рыцаря". Отец Пушкина, Сергей Львович, тоже был скуп (хотя, заметим, совершенно иначе, нежели скупой рыцарь); Пушкин, как Альбер в драме, тоже

страдал от скупости отца. Ну, значит, ясно: "прототипом отношений Альбера со старым бароном являются, несомненно, отношения самого Пушкина с Сергеем Львовичем"*. В октябре 1824 года, когда ссыльный Пушкин жил в Михайловском, у него произошла тяжелая сцена с отцом, согласившимся взять на себя обязанность шпионить за сыном. Под этим впечатлением Пушкин написал официальную бумагу псковскому губернатору Адеркасу с ходатайством, чтоб его перевели в одну из крепостей. "Психологически и сюжетно, — замечает Ходасевич, — бумага, посланная Адеркасу, соответствует тому месту в "Скупом рыцаре", когда Альбер является к герцогу с жалобой на отца". Отец Пушкина сначала рассказывал, что сын "его бил, хотел бить, мог побить", потом — что "непристойно размахивал руками", наконец, что он "убил отца словами" (см. письма Пушкина к Жуковскому от 31 октября и 29 ноября 1824 г.). Так постепенно понижает свои обвинения лживый, импульсивный и бешено вспыльчивый Сергей Львович. Ходасевич сопоставляет эти обвинения с понижающимися обвинениями, которые высказывает по адресу сына старый барон, припираемый к стене вопросами герцога. "Хотел убить"... *Ходасевич:* "Обвинение вполне соответствует обвинению Сергея Львовича: хотел бить". "Смерти жаждет он моей"... *Ходасевич:* "Вот это и есть тот момент, когда Сергей Львович кричал свое: мог прибить". "Покушался меня он обокрасть"... *Ходасевич:* "Это равняется последнему обвинению Сергея Львовича: да он убил отца словами!"

И Ходасевич заключает: "Автобиографический элемент в "Скупом рыцаре" был замечен уже давно. Я лишь хотел на конкретном примере показать, *под каким, так сказать, углом отражал Пушкин действительные события своей жизни в своих творениях"* (с. 113). Так, как это делает Ходасевич, нельзя показать решительно ничего. В последние годы В. Ф. Ходасевич выдвинулся в первый ряд современных наших поэтов. И особенно удивительно вышеприведенные рассуждения слышать от художника, который бы уж по себе должен знать о чрезвычайной сложности и прихотливости процесса художественного творчества. На все его рассуждения возможен только один, все тот же ответ, совершенно бесплодный и решительно ничего не дающий: "Да, все это *могло быть* так". Но Пушкин легко мог наблюдать и другого скупца, гораздо более подходящего к типу скупого рыцаря, чем Сергей Львович; мог слышать от отца или кого-нибудь другого

* Поэтич. хозяйство Пушкина, с. 109.

другие, постепенно снижающиеся обвинения, гораздо более характерные, чем случайно дошедшие до нас в письмах Пушкина. Мог — мог — мог... Мог все, что угодно. Каждому из нас десятки раз, конечно, приходилось наблюдать, как вывертывается припертый к стенке лжец, каждый из нас легко мог бы нарисовать такую психологически элементарную сцену без всякого конкретного образца в жизни. Но Пушкин, — Пушкин был так вял и туп фантазией, что ему для этого было необходимо действительное, единично-конкретное событие в жизни!

Другой образец. Есть у Пушкина юношеское стихотворение "Русалка", где рассказывается, как некий старый монах увидел ночью в озере русалку, которая звала его к себе. Три ночи она являлась ему, и после третьей ночи "монаха не нашли нигде, и только бороду седую мальчишки видели в воде". Монах!.. Пушкин в лицейских своих стихах не раз называет лицей монастырем, свою лицейскую комнату — кельей, а себя — монахом и пустынником. А отсюда вытекает вот что. "Пушкин автобиографичен насквозь, — клянется Ходасевич, — и это обстоятельство подсказывает гипотезу: рассказ о "монахе", соблазненном русалкою, может быть связан с историей первого "падения" Пушкина-лицеиста. Русалка же может быть именно та Наташа, которая была его первою любовью с отчетливо-обозначенною чувственною окраскою" (с. 14). Понимает ли автор этого юмористического открытия, какие выводы вытекают из него, если дело принимать всерьез? Факт довольно важный в биографическом отношении: что впервые познанная Пушкиным физическая любовь еще через несколько даже лет после этого, в 1819 году, когда написана "Русалка", воспринималась Пушкиным как "падение", как гибель в некой пучине. Но ведь "Пушкин автобиографичен насквозь", а все его стихи той поры свидетельствуют о совсем другом его отношении к такого рода делам: житье тому,

Кто, удалив заботы прочь,
Как верный сын Пафосской веры,
Проводит набожную ночь
С младой монашенкой Цитеры.

(*Щербинину*, того же 1819 г.)

В том-то и бесплодность, в том-то и ненужность всех такого рода догадок, что на них нельзя строить решительно ничего ни для биографии Пушкина, ни для знакомства с психологией его творчества. А тогда для чего они?

В. Ф. Ходасевич хотел показать, "под каким, так сказать, углом отражал Пушкин действительные события своей жизни в своих творениях". Научно показать это можно только одним путем: зная доподлинно, что в основе такого-то стихотворения или эпизода лежит такое-то действительное событие в жизни Пушкина, показать, под каким углом оно отразилось в его творчестве. Вот исследовавши это все, мы действительно могли бы получить кой-какие сведения о том, под каким углом отражал Пушкин в своем творчестве действительную жизнь, и сведения эти оказались бы куда своеобразнее, неожиданнее и интереснее, чем те плоские априорные догадки, которые опираются на догмат о непорочной автобиографичности Пушкина.

Первая мысль о физическом законе, что погруженное в жидкость тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная жидкость, пришла в голову Архимеду, когда он сидел в ванне. Падающее яблоко натолкнуло Ньютона на мысль о всемирном тяготении. Для психологии научного творчества такие факты чрезвычайно интересны. Но представим себе дело так: фактов этих мы не знаем, а имеем только в биографиях Архимеда и Ньютона случайные упоминания, что Архимеда однажды видели берущим ванну, а Ньютона — гуляющим осенью в плодовом саду. И вот проницательный исследователь высказывает догадку: а не натолкнуло ли Архимеда погружение в ванну на первую мысль о его законе, не пришла ли Ньютону идея о тяготении при виде яблока, упавшего в его саду? Случайно эта догадка может совпасть с действительностью, однако без твердой фактической основы она не имеет решительно никакого значения... А именно такой характер носит большинство догадок насчет психологии пушкинского творчества.

Итак, автобиографичен ли Пушкин?

Люди, близкие к самому Пушкину или его эпохе, дружно и уверенно утверждали, что Пушкин *не*автобиографичен. П. И. Бартенев записывает: "Князь П. А. Вяземский журил нас, что мы в каждом произведении Пушкина ищем черт автобиографических, тогда как многое писал Пушкин, вовсе забывая о себе лично"*. П. В. Анненков, собиравший сведения о Пушкине по горячим следам, имевший возможность расспрашивать ближайших друзей Пушкина, указывает, что было два Пушкина: живой Пушкин, реальный, и идеальный, "создаваемый его гением".

* Русск. архив. 1911. I. 648.

"Но эти два Пушкина, — пишет Анненков, — не всегда составляли одно и то же лицо, и это еще раз заставляет нас упомянуть о промахе биографов, подменивающих настоящую, реальную жизнь поэта лучезарными абрисами, какими она светится в его сочинениях"*. Гоголь пишет: "При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого... Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков — удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом?"** Н. М. Смирнов (муж А. О. Россет-Смирновой), говоря о годах ссыльной жизни Пушкина в Михайловском, рассказывает: "В эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных песен, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния"***. И Баратынский пишет, имея в виду Пушкина:

Когда поэта красота
Своей улыбкой оживила,
Не думай, чтоб любви мечта
Его глаза одушевила;
Нет, это был сей легкой сон,
Сей тонкой сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви, для вдохновенья.

(Новинское)

Как видим, с разных сторон, с разных точек зрения, но все, знавшие Пушкина, сходятся в том, что нельзя смотреть на его поэтические произведения как на непосредственный биографический материал.

Попробуем же проследить на художественных произведениях Пушкина, насколько точно и адекватно отражались в них его подлинные настроения и чувства, подлинное жизнеотношение, подлинные лица и факты действительной жизни.

Для полноты начнем с юношеского, лицейского периода жизни Пушкина. И тут опять мы сейчас же наталкиваемся на протестующее свидетельство исследователя, близкого к пушкинской поре. Свою известную работу "Пушкин в лицее"**** В. П. Гаевский (сам лицеист) начинает так: "Несколько вдохновенных стихов Пушкина изображают такими поэтическими и трогательными чертами лицейский его быт, что он представля-

* Пушкин в александровскую эпоху. 1874, с. 211.
** Выбр. места из переписки с друзьями. Письмо XXXI.
*** Русск. арх. 1882. II. 231.
**** Современник. 1863. № 7, с. 230.

ется воображению, не иначе как подчиняясь их неотразимому влиянию, которое заметно почти во всем, что писано о лицее. Воспоминания прошлого, для которых действительность была только исходною точкою, пройдя через воображение поэта, воплотились в самые художественные образы. Но напрасно стали бы мы искать в них точного изображения жизни... Между тем поэтический колорит, приданный Пушкиным времени и быту, отразился почти на всем, что имеет предметом их воспроизведение. Этот колорит во многом расходится с действительностью".

Так — относительно общего колорита. Во многом расходятся с действительностью и передаваемые юношею Пушкиным в его стихах настроения и факты его жизни. Здесь художник еще не нашел себя, поет с чужого голоса, подгоняет факты своей жизни и свои настроения под общепринятый поэтический шаблон и всего менее склонен описывать свою жизнь сообразно с действительностью. В стихотворении "Городок" пятнадцатилетний Пушкин, три года уже безвыездно живший в Царском Селе в своей лицейской комнате № 14, рассказывает, будто бы "два года все кружился" в Петербурге, "зевая, веселился в театре, на пирах", а теперь переехал в маленький городок, "нанял светлый дом — с диваном, камельком, — три комнатки простые..." и т. д. В послании к сестре (1814) Пушкин описывает обстановку своей лицейской комнаты: "стул ветхий, необитый и шаткая постель, сосуд, водой налитый, соломенна свирель..." Между тем обстановка комнат лицейских воспитанников была очень хорошая. "Мебель, — пишет историк Царскосельского лицея И. Селезнев, — была изготовлена вновь; она состояла: на каждого воспитанника из классного стола (конторки), комода и железной полированной с медными украшениями кровати, обтянутой парусиной. На ней был один матрац с бумазейным одеялом" и т. д.*

В послании к Юдину Пушкин пишет:

Не лучше ли в деревне дальней
Вдали столиц, забот и грома
Укрыться в мирном уголке?
О, если бы когда-нибудь
Сбылись поэта сновиденья!
Ужель отрад уединенья
Ему вкушать не суждено?

(1815 г.)

* Исторический очерк Имп. лицея. СПб., 1861, с. 175.

В послании к В. Л. Пушкину (1817) поэт славит "уединенье и свободу", в 1818 г., вслед за Арно, воспевает блаженство "уединения" и т. д.

Но в то время Пушкин в действительности вовсе не любил уединения. В 1814 году в стихотворении "Mon portrait" он пишет: "Je haïs la solitude"*. В 1816 г. он пишет кн. П. А. Вяземскому: "Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы влюблены в безмолвие и тишину". В отрывочной записи 19 ноября 1824 г. Пушкин вспоминает, как по выходе из лицея приехал в Михайловское и как скоро оно ему надоело. "Я любил, — пишет он, — и доныне люблю шум и толпу".

В приведенном сейчас письме к Вяземскому Пушкин подсмеивается над поэтами (и собою в их числе), притворно воспевающими уединение, к которому в действительности они совершенно равнодушны. И в дальнейшем, не раз и не два, и в шутливой, и в серьезной форме, Пушкин усиленно подчеркивает это несовпадение реальной личности поэта и реальных его переживаний с переживаниями, выражаемыми в его творчестве.

Угодник Бахуса, я трезвый меж друзьями,
Бывало, пел вино водяными стихами, —

говорит он в послании к А. А. Шишкову. И пел он его не раз. Если судить по лицейским стихам Пушкина, пуншевые чаши, пенистые стаканы, вино златое — все это были вещи, весьма обычные для лицеистов. Между тем, как пишет В. П. Гаевский, "пирушки, описанные Пушкиным, кроме разве одной, рассказанной в "Записках" Пущина и из-за которой переполошилось все начальство, происходили только в воображении поэта"**.

Переходим к Пушкину уже созревшему.

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...

Так описывает Пушкин свое посещение фонтана Бахчисарайского дворца. А вот как описывает он это же посещение в письме к Дельвигу (в декабре 1824 г.): "Вошед во дворец, увидел

* "Мой портрет"... "Уединение я ненавижу" *(фр.)*. — *Примеч. сост.*

** Современник. 1863. № 8, с. 353.

я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает".

В то же время, перед этим же фонтаном, Пушкин пережил поэтические и грустные воспоминания о своей таинственной неудачной любви.

Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось... *Но не тем*
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью.
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!
Чью тень, о други, видел я?..

Так рассказывает Пушкин в поэме своей "Бахчисарайский фонтан". А вот как рассказывает он о переживаниях своих перед фонтаном в выше цитированном письме к Дельвигу: "В Бахчисарай приехал я больной... NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище;

...но не тем
В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила". С отмеченною уже насмешкою над несовпадением поэзии с действительностью Пушкин намеренно цитирует свой стих, в котором рассказывал о переживаниях своих в ханском дворце, но теперь, вместо летучей тени поэтической девы, вдруг — "лихорадка меня мучила". Там, дескать, была поэзия, а правда — вот она. Но, может быть, это просто озорство, поклеп, который возводит на себя Пушкин, старанье скрыть перед друзьями настоящие свои переживания уверением, что это была лишь поэтическая выдумка? Нет, Пушкин в то время действительно был болен лихорадкою. А. И. Тургенев пишет кн. П. А. Вяземскому 3 ноября 1820 года: "Баранов, симферопольский губернатор, уведомляет нас, что Пушкин-поэт был у него с Раевским и что он отправил его в лихорадке в Бессарабию"*. Лихорадка, видимо, была очень тяжелая — после нее Пушкину пришлось сбрить волосы на голове. В. П. Горчаков, увидевший его в Кишиневе в начале ноября 1820 года, сообщает, что

* Остаф. арх. II. 99.

Пушкин ходил в феске, так как вынужден был после горячки брить себе голову*.

В 1822 году Пушкин начинает писать стихотворение "Таврида". Сохранился его исчерканный черновик, дальше этого черновика Пушкин, по-видимому, не пошел, но черновик живет уже подлинною художественною жизнью. Стихотворение чрезвычайно характерно с интересующей нас точки зрения. Эпиграф: "Gieb meine Jugend mir zurück!"** И сейчас же дальше прозой: "Страсти мои утихают, тишина царит в душе моей, — ненависть, раскаяние, все исчезает, — любовь, одушевл..." Вслед за этой прозаической программой идут стихотворные наброски на ту же тему:

Ты вновь со мною, наслажденье!
Спокойны чувства, ясен ум,
В душе утихло мрачных дум
Однообразное волненье...
. . . .
Везде мне слышен тайный глас
Давно затерянного счастья...

Стихотворение набросано в самый разгар "кишиневского" периода жизни Пушкина — самого бешеного периода его жизни, периода Sturm und Drang***, когда именно в душе его совершенно не было тишины, когда в ней ключом бурлили страсти, ненависть, раскаяние. Из отдельных стихов черновика можно заключить, что Пушкин *представляет себе* исполненным то "Желание", которое он год назад выразил в стихотворении "Кто видел край". Тогда он спрашивал:

Увижу ль вновь, сквозь темные леса,
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса?
Утихнут ли волненья жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?

Теперь он пишет:

Холмы Тавриды, край прелестный,
Тебя я посещаю вновь...

Эпиграфом к стихотворению стоит: "Gieb meine Jugend mir zurück!" К услугам Пушкина была волшебница, сильнее и могущественнее всех Мефистофелей, — его Муза. Она только повела

* Выдержки из дневника // Москвитянин. 1850. № 2, с. 178.
** "Возврати мне мою юность!" *(нем.). — Примеч. сост.*
*** Бури и натиска *(нем.). — Примеч. сост.*

своим волшебным жезлом, и молодость воротилась, и вот поэт уже опять в Тавриде, утихли волнения бурной жизни, воскресла краса минувших лет, в душе желанная тишина... Но все это только обманные чарования Музы, и больше ничего. Верующий в автобиографичность Пушкина, опираясь на разбираемое стихотворение, скажет, нисколько не сомневаясь: "Но и в бурный кишеневский период Пушкин переживал полосы умиротворенного настроения, когда страсти его утихали, тишина царила в душе и т. д." Мы, думающие, что художественное произведение поэта есть нечто гораздо более сложное, чем его дневник, скажем: "А не свидетельствует ли это стихотворение как раз о том, что Пушкин в то время захлебывался в захлестывавших его страстях, что никакой тишины ни на минуту не было в его душе, что именно поэтому ему приходилось силою творческого воображения вырывать себя из окружающей обстановки, переноситься в благословенную Тавриду и там сладостно переживать чувства тишины, бесстрастия, душевной ясности, всего того, на что и намека не было в его подлинных жизненных переживаниях?"

В июле 1825 года Пушкиным написано знаменитое стихотворение к А. П. Керн "Я помню чудное мгновенье". В 1819 году Пушкин встретился с госпожою Керн в Петербурге у Олениных. Вторично он увиделся с нею в Тригорском, в 1825 году. В стихотворении своем Пушкин вспоминает, как при первом знакомстве госпожа Керн явилась перед ним подобно гению чистой красоты, как он долго носил в душе милый ее образ, как постепенно забыл его и стал жить без божества, без вдохновенья. Теперь он опять увидел ее — и в сердце воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Жутко подумать, сколько остроумнейших и глубокомысленнейших исследований было бы написано на тему об облагораживающем влиянии госпожи Керн на творчество Пушкина, сколько следов этого влияния найдено было бы в разнообразнейших произведениях Пушкина, если бы насчет этого стихотворения до нас не дошло ничего, кроме вышесказанного. Но мы имеем письма Пушкина к госпоже Керн, имеем воспоминания самой госпожи Керн, имеем дневник Алексея Вульфа. Мы доподлинно знаем, что увлечение Пушкина госпожою Керн носило чисто чувственный характер, — может быть, наиболее страстно чувственный характер из всех нам известных увлечений Пушкина. И до встречи с нею в Тригорском, в письмах к ее сожителю Родзянке, Пушкин отзывался о госпоже Керн весьма игриво,

и после встречи писал ей письма самого домогательно-страстного характера, и в письмах к друзьям называл ее "вавилонскою блудницею". Если требовать от поэта биографической правды поэтических признаний, то нужно сказать, что Пушкин в данном случае поступал весьма бессовестно и пытался надуть своих будущих биографов самым бесцеремонным образом. Но требовать этого от поэта мы не имеем никакого права: был какой-нибудь один короткий миг, когда пикантная, легкодоступная барынька вдруг была воспринята душою поэта, как гений чистой красоты, и поэт художественно оправдан, и совершенно бесплодным делом будут заниматься биографы, пытаясь выяснить, где именно и когда воскрешала г-жа Керн в сердце Пушкина божество, жизнь и вдохновенье.

Осенью 1825 года ссыльный Пушкин посетил своего лицейского товарища князя А. М. Горчакова (будущего канцлера), приехавшего из-за границы в Псковскую губернию погостить к своему дядюшке. Впечатление свое от этой встречи Пушкин передал в письме своем к князю Вяземскому: "Мы встретились и расстались довольно холодно, — по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох, впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше". Об этой же встрече в стихотворении своем "19 ноября" (того же 1825 г.) Пушкин вспоминает так:

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе, — фортуны блеск холодной
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись;
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Московский митрополит Филарет написал стихотворное возражение на стихи Пушкина "Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?" В плохих стишках Филарет поучал Пушкина, что не напрасно и не случайно жизнь его осуждена на казнь, что сам Пушкин испортил ее страстями и сомнениями, что нужно ему вспомнить о боге. Кн. Вяземский писал А. И. Тургеневу: "Пушкин был задран стихами его преосвященства, который пародировал или, точнее, палинодировал стихи Пушкина о жизни"*. Лично к Филарету Пушкин питал очень мало уважения. В дневнике своем он два раза упоминает о нем — один раз

* Остаф. архив. III. 192.

с насмешкою (1834 г., среда на св. неделе), другой раз — с резким осуждением (февраль 1835 г., по поводу доноса его на протоиерея Павского). И вот в ответе своем на вышеупомянутые стишки Филарета Пушкин уверяет, что, слушая обличения Филарета, он лил потоки слез нежданных, что душа его была потрясена до глубины,

Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

В то же время стихотворение так вдохновенно, так искренно и сильно, что в нем никак нельзя видеть светски-расчетливого комплимента духовному сановнику, с которым выгодно быть в добрых отношениях. Пушкин берет конкретный жизненный факт, *воображает себе*, как бы отозвался на него, если бы он, Пушкин, действительно устыдился своего отношения к жизни и холодноватой веры в бога, если бы на месте сухого Филарета был, действительно, какой-нибудь почтенный, святой старец, — и вот уже совершенно искренно Пушкин "льет потоки слез нежданных" и в корявых стихах митрополита улавливает отзвук арфы серафима. Вспоминаются слова Чарского импровизатору в "Египетских ночах": "Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно..."

В "Путешествии в Арзрум" Пушкин рассказывает, как посетил в степях калмыцкую кибитку, как разговаривал в ней с молодою калмычкою. "Калмычка подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже... *Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи*". О той же калмычке Пушкин в стихах говорит так:

Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, на зло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей...

и т. д.

Характерно, что и то и другое опубликовано было Пушкиным при жизни. Значит, он не боялся показать, что чувства, переживаемые им в поэзии, совершенно не совпадают с чувствами, переживаемыми в прозе.

Пушкин не любил Петербурга. Уже в 1820 году он писал князю Вяземскому: "Петербург душен для поэта". В 1829 году пишет Дельвигу: "В Петербурге тоска, тоска..." В 1831 году — Плетневу: "Москва мне слишком надоела. Ты скажешь, что и Петербург малым чем лучше, но я — как Артур Потоцкий, которому предлагали рыбу удить, — я предпочитаю скучать иначе". В 1834 году — жене: "ПБГ ужасно скучен". И про этот же Петербург — восторженно-влюбленные строки в "Медном Всаднике", исчерпывающе рисующие своеобразную, пленительную красоту столицы: "Люблю тебя, Петра творенье..." И безупречной красоте и силе этих стихов нисколько не вредит то, что описание это представляет поэтическую полемику с Мицкевичем, по пунктам возражающую на враждебно-отрицательное описание Петербурга, данное Мицкевичем в его сатирах "Предместья столицы" и "Петербург"*.

25 сентября 1835 года Пушкин писал жене из деревни: "В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую *досадно* мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уж не пляшу". Известно, как описывает он впечатление от этих же трех сосен в стихотворении своем "Опять на родине"...

...По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою
Увидел их опять; они все те же.
Но около корней их устарелых,
Где некогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленою семьей кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый *холостяк,* и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий, поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук...
и т. д.

Итак, первоначальное, так сказать, биографическое впечатление от молодой сосновой поросли: "*досадно* мне смотреть на нее".

* См. анализ проф. И. Третьяка. Пушкин и его современники. Вып. VII. 102 и след.

Это эгоистическое, темное, как руда, живое впечатление в огне творчества переплавляется в светлое, как золото, примиренное благословение старости идущей ей на смену молодой жизни. Интересно отметить, как это вторичное, художественно-претворенное настроение в свою очередь претворяет живые настроения Пушкина. Через месяц после написания этого стихотворения Пушкин пишет Плетневу: "Мое семейство умножается, растет, шумит около меня... Холостяку на свете скучно: ему *досадно* видеть новые, молодые поколения, один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую". Употреблено даже то самое выражение "досадно", которым Пушкин характеризовал собственное свое отношение к молодой жизни, хотя сам не был холостяком.

На основании вышеприведенных примеров нельзя, конечно, утверждать, что в стихах Пушкина, особенно лирических, нет ничего автобиографического. Автобиографичность ряда стихотворений подтверждается более или менее бесспорными данными, например, элегии "Редеет облаков летучая гряда", "Ты и вы", "Поедем, я готов" и др. Но приведенные примеры заставляют нас относиться к поэтическим признаниям Пушкина с величайшею осторожностью: если у нас нет данных, подтверждающих автобиографичность этих признаний, то мы не имеем никакого права строить на них какие-либо биографические выводы. Например: из элегии "Ненастный день потух" вытекает, что южная возлюбленная Пушкина предавала его устам плечи, влажные уста и белоснежные перси. Доходило ли до этого у них, или это была только фантазия поэта? Пока мы не получим подтверждающих или опровергающих данных, мы можем сказать только одно: не знаем. Или вот. В 1826 году Пушкин написал стихотворение "Зимняя дорога".

...Завтра, Нина,
Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь, не наглядясь.
Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

В конце 1826 года Пушкин ездил "зимнею дорогою" в Москву, в Москве сильно увлекался С. Ф. Пушкиною. Для Б. Л. Модзалевского этого достаточно, чтобы высказать предположение, что под Ниною следует разуметь Софью Пушкину. Однако у Пушкина поэтическое отображение увлечения данною женщиною далеко не всегда хронологически совпадало с самим этим увлечением. В 1829 году Пушкин увлекался Гончаровою, а в от-

рывке "На холмах Грузии" имеет в виду, по-видимому, Марию Волконскую-Раевскую. В 1830 году, женихом той же Гончаровой, страстно воспевает какую-то умершую свою возлюбленную — Амалию Ризнич или другую (см. выше мою статью: *"К психологии пушкинского творчества"*). Но согласимся с Б. Л. Модзалевским, что Нина, это — Софья Пушкина. В таком случае позвольте нам опять сделать и соответственные выводы. Б. Л. Модзалевский пишет: "Поэт мечтает о свидании с любимой девушкой, к которой едет и которую завтра увидит в кругу "докучных" (для него) поклонников; *он надеется поговорить с нею наедине, когда разъедутся гости"**. Во-первых, совершенно невозможно себе представить, чтобы при тогдашних нравах молодая девушка позволила себе остаться наедине с ухаживающим за нею мужчиною за полночь, после ухода других гостей. А во-вторых, — и это самое главное, — всякий, кто без предубеждения прочтет стихотворение, скажет, что, когда полночь удалит докучных, поэт собирается остаться с Ниною вовсе не для разговоров, и, значит, мы должны сделать вывод, что Пушкин был в самых интимных отношениях со своею однофамилицею. Зная из других источников о характере этих отношений, мы, конечно, такого вывода не сделаем. А тогда для чего это вколачивание поэтических произведений в биографические рамки, где достоверным мы можем признать только то, что было достоверно для нас и ранее?

Автобиографичность Пушкина весьма сомнительна не только в области минутных переживаний и мелких жизненных происшествий. Она столь же сомнительна и в гораздо более широкой области — в области отношения к существеннейшим вопросам морали и религии.

Молодые стихотворения Пушкина полны самых сладострастных описаний. Напомню из мелких стихотворений "Леду" (1814), "Фавна и пастушку" (1816) и многие другие, напомню ряд соблазнительных картин в "Руслане и Людмиле", "Гавриилиаде", "Бахчисарайском фонтане". Пушкин и сам ясно отдавал себе отчет в характере таких писаний. В "Разговоре книгопродавца с поэтом" он говорит:

Мои слова, мои напевы
Коварной силой иногда
Смирять умели в сердце девы
Волненье страха и стыда.

* В. П. Зубков и его записки // Пушкин и его современники. IV. 106.

После 1823 года, когда был написан "Бахчисарайский фонтан", в Пушкине как будто происходит в этом отношении какой-то глубокий переворот. Он не только перестает, пользуясь его же выражением, "превращать божественный нектар поэзии в любострастный воспалительный состав", он становится в творчестве своем поразительно чистым и целомудренным. Ни одной самой легкой фривольности. Он создает женский образ, полный такой высокой целомудренности и чистоты, как образ Татьяны. Он пишет такие удивительные вещи, как "Когда в объятия мои" и особенно "Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем", по поводу которых невольно приходит в голову: "Как же чисто должен был чувствовать этот человек, чтобы суметь *так* подойти к такой рискованной теме!" Даже когда Пушкин берется теперь за такие сюжеты, как сюжеты "Графа Нулина" или "Домика в Коломне", то выполняет он их без малейшей пикантности, без малейшей сальности. Можно себе представить, как использовали бы подобные сюжеты Боккаччо или Мопассан! Все эти наблюдения должны привести нас к решительному выводу, что после 1823 года в душе Пушкина произошел в этом отношении переворот; веруя в автобиографичность Пушкина, можно использовать его "Пророка", написанного в 1826 году, — там находим уже прямое указание на потрясающей силы переворот, происшедший будто бы в душе Пушкина.

И что же? Оказывается, коренным образом Пушкин изменился в этом отношении исключительно как художник. В действительной жизни до конца своих дней он продолжал проявлять величайший цинизм, поражавший не одного из его друзей. Алексей Вульф пишет в своем дневнике: "Молодую красавицу вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методе Мефистофеля *(Пушкина)*, надо ее воображение занять сладострастными картинами; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, кто им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности"*. Это относится к середине двадцатых годов. Весною 1829 года С. Т. Аксаков пишет С. П. Шевыреву: "С неделю назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй — прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что Мицкевич два раза принужден был сказать: "Господа! Порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!"** А вот отзыв князя Павла Вяземско-

* Дневник А. Н. Вульфа // Пушкин и его современники. XXI—XXII. 141.
** Русск. архив. 1878. II. 50.

го, относящийся уже к 1836 году, т. е. к последнему году жизни Пушкина. Вяземскому было тогда 16 лет. "В это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки, чтоб заставить женщин уважать вас. Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами, приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора"*. 10 сентября 1836 года баронесса Евпр. Н. Вревская (Зизи Вульф) писала брату своему Алексею Вульф про младшую их сестренку Машу, которой в то время едва исполнилось 16 лет: "6-го уехал от нас Ник. Игнатьевич *(некий Шениг)*. Он заменил Пушкина в сердце Маши. Она целые три дня плакала об его отъезде и отдает ему такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: *Николай Игнатьевич никогда не воспользуется этим благорасположением, что о Пушкине никак нельзя сказать*"**. Евпраксия Николаевна говорила это, по-видимому, на основании собственного опыта: летучие намеки в дневнике Алексея Вульфа и в кое-каких воспоминаниях дают некоторое право заключить, что отношения между Евпраксией и Пушкиным были далеко не так невинны, как думают биографы, и что около 1828 года на вопрос Зизи: "Что более вам нравится, — запах розы или резеды?" — Пушкин мог бы дать тот же цинично-озорной ответ, какой он за три года перед тем дал на этот вопрос старшей ее сестре Анне Николаевне (см. письмо Пушкина к Вяземскому от 10 августа 1825 года).

Многие исследователи, далее, отмечают развитие высокорелигиозного чувства в Пушкине в последние годы его жизни. Владимир Соловьев в известной статье своей "Судьба Пушкина" говорит: "В Пушкине с наступлением зрелости возраста пробудилось и выяснилось религиозное сознание... Под конец жизни он пришел к положительным христианским убеждениям"***. Эти христианские убеждения, по мнению Вл. Соловьева, настолько были сильны в Пушкине, что убийство им на дуэли Дантеса было бы для Пушкина "жизненною катастрофою" и после этой катастрофы Пушкин мог бы жить только для дела личного душеспасения (!!), а не для прежнего служения чистой

* Кн. П. П. Вяземский. Собр. соч., с. 546.

** Пушкин и его современники. XIX—XX. 108.

*** Собр. соч. Т. VIII. 40, 50.

поэзии. "Для Пушкина 1837 года, для автора "Пророка", убийство личного врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственною катастрофою, последствия которой не могли бы быть исправлены "между прочим", в свободное от литературных занятий время, — для восстановления духовного равновесия потребовалась бы вся жизнь" (с. 52). Вот к каким результатам может привести вера в автобиографичность поэтических показаний Пушкина! Действительно, если мы поставим в ряд "Пророка", "Галуба", "Странника", "Отцов-пустынников" и т. п., то вправе заключить о глубокорелигиозном строе души Пушкина в последнее десятилетие его жизни, — так все здесь заражающе-искренно, так волнующе-интимно, — все, вплоть даже до ответа митрополиту Филарету. В этом — несравненная и небывалая сила Пушкина, что в зрелых его произведениях нет ни единой фальшивой ноты, какие бы противоречивые чувства он ни излагал, какими бы, глядя со стороны, посторонними соображениями ни руководствовался при написании того или иного стихотворения, вроде, например: "Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю..."

Но вышеприведенное мнение Соловьева, вполне приемлемое, когда мы читаем "христианские" стихотворения Пушкина, может вызвать только улыбку, когда мы себе представим живого Пушкина таким, каким мы его знаем по дошедшим до нас биографическим данным. Вот, например, картинка. Русские войска обложили Эрзерум. Паскевич, верхом, окруженный штабом, следит за начинающейся бомбардировкой. Впереди стоит Пушкин. Первый выстрел из соседней батареи. Пушкин вскрикнул: "Славно!" Паскевич спросил: "Куда попало?" Пушкин живо обернулся к нему: "Прямо в город!" — "Гадко, а не славно", — сказал Паскевич*. Неприятельские батареи стояли перед городом, и обстреливать безоружный город не имело никакого смысла. Казалось бы, именно статскому, непривычному человеку естественнее всего было возмутиться, спросить, для чего этот обстрел безоружного города, когда батареи стоят перед городом? И, однако, так ясно представляешь себе экспансивного, живущего мгновением Пушкина, который весь ушел в яркую картину артиллерийского боя и совершенно не думает о ненужных жертвах этого боя. Но, конечно, очень трудно представить себе, чтобы такие слова могли вырваться у поэта,

* *Бриммер Э. В.* Служба артиллерийского офицера // Кавказский сборник. Т. XVI. 1895, с. 83.

который через два-три месяца после упомянутого происшествия писал, вспоминая монастырь на Казбеке:

Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!

Был ли Пушкин в последние годы жизни глубоко верующим христианином, интересовали ли его вопросы религии жизненно, а не только художественно? Ставить такой вопрос по поводу Гоголя, например, Достоевского или Льва Толстого просто смешно: их письма, дневники, воспоминания их друзей — все в один голос свидетельствует о глубочайшем, жизненном их интересе к религии. У Пушкина вне его поэзии мы ничего такого не находим. Да, он верующий. Даже обрядно-верующий. В 1832 году И. А. Гончаров видел его в Москве у обедни — и это было в то время, когда Пушкину еще нечего было бояться головомойки за непосещение обедни со стороны обер-камергера графа Литта. В письмах к жене Пушкин постоянно "крестит" и "благословляет" детей. Но это — холодная, обывательская, обрядовая вера, ни к чему не воспламеняющая и ничего не требующая. В 1834 году Пушкин пишет жене: "Благодарю тебя за то, что ты богу молишься, стоя на коленях посреди комнаты. *Я мало богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих как для меня, так и для нас*". Слова для истинно верующего прямо чудовищные: молитва для него есть прежде всего радостное, поднимающее дух общение с самым близким и самым высоким существом — как же он сможет отказаться от этой радости под предлогом, что, дескать, молитва его жены для всех них "лучше", чем его собственная? Или вот еще, тоже из письма Пушкина к жене: "Явился ко мне Соболевский с вопросом: где мы будем обедать? *Тут вспомнил я, что я хотел говеть, а между тем уж оскоромился. Делать нечего, решился отобедать у Дюме*". И поехали к Дюме пить шампанское и пунш. Для верующего по-настоящему говение — акт слишком великий и серьезный, чтобы о нем возможно было нечаянно забыть. Характерно, между прочим, и то, что как раз о той церкви, обряды которой Пушкин исполнял, он так отзывается в письме к Вяземскому: "...греческая церковь остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа" (3 августа 1831 г.). Так дело обстоит с обрядовой стороной. Более же глубокого подхода к религиозным вопросам мы ни в письмах, ни в дневниках Пушкина не находим. Не находим почти никаких указаний и в сколько-нибудь достоверных воспоминаниях. Даже автор "Записок А. О. Смирновой" (кто бы он ни был), бесцеремоннейшим образом фальсифицировавший

Пушкина в угоду своим монархическим воззрениям, на этот счет высказывается несколько осторожно: "*Я думаю*, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит"*. Столь же осторожно высказывается и Гоголь, защищая Пушкина от упреков в отсутствии у него христианства: "Пушкин разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не проникалась вся насквозь его душа"**.

П. Н. Сакулин, в статье своей о Пушкине "Памятник нерукотворный"***, находит, что в последние годы своей жизни Пушкин поднялся на "сионские высоты" духа и был проникнут "пименовским настроением". Высокие думы о жизни нахлынули на поэта, сердце исполнилось молитвенного умиления; и настроение это, говорит П. Н. Сакулин, не было мгновенным, а составляет одну из ценных сторон в сложной психологии поэта за последние годы его жизни. Интимную сторону своих религиозных переживаний Пушкин, по мнению П. Н. Сакулина, поведал нам в стихотворении "Отцы-пустынники". "Как Гоголь, хотя и в более слабой степени, Пушкин занят теперь своим "душевным делом".

Характерно, что для подтверждения своего мнения о "душевности" этого дела для Пушкина П. Н. Сакулин не приводит ни одного свидетельства пушкинских современников, от которых не могло же бы укрыться это высокорелигиозное настроение Пушкина. Он ссылается только на стихотворения Пушкина, тоже принимая как бы за аксиому, что человек в поэте переживает именно то и именно так, что и как рассказывает поэт. Кроме того, П. Н. Сакулин ссылается еще на печатные рецензии Пушкина — о сочинениях Сильвио Пелликко и Георгия Конисского, о "Словаре о святых". Здесь, однако, следует помнить, что это — журнальные статьи, предназначенные для печати, притом для собственного журнала, жестоко теснимого цензурой, — этим объясняется повышенно-елейный тон подобных статей. Вспомним, как еще в 1825 году писал Пушкин Вяземскому по поводу одной своей статьи: "тут есть одно В е л и к о д у ш и е *(русского императора...)*, поставленное, во-первых, ради цензуры и, во-вторых, для вящего анонима (род онанизма журнального)". Да и в 1836 году уже, в статье о Радищеве, он пишет об "Александре, самодержце, умевшем уважать человечество" — ненавистном ему Александре I, "властителе слабом и лукавом", "в лице

* Записки. I. 91.

** Выбр. места из переписки с друзьями. XIV.

*** Пушкин. Первый сборник Пушк. ком. при Общ. люб. росс. сл. М., 1924.

и в жизни арлекине"*. Это во-первых. А во-вторых, что же проявляется в указанных рецензиях?

Большой интерес к евангелию, интерес к "тем избранным, которых ангел господень приветствовал именем человеков благоволения" (Фома Кемпийский, Фенелон, Сильвио Пеликко), интерес к христианству. Да, так оно было у Пушкина и в действительной жизни. Но только с маленькою поправкою. Я приводил сообщение Павла Вяземского, относящееся к последнему году жизни Пушкина. Позволю себе привести его еще раз, но с некоторым продолжением: "Вообще в это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтоб обратить мое внимание на прекрасный пол. Он поучал меня, что вся задача жизни заключается в том, чтоб обратить на себя внимание женщин, что нужно идти вперед нагло, без оглядки, и приправлял свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора... *С другой стороны, Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами Священного писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового Завета*". (Нужно еще иметь в виду, что Пушкин говорил все это не товарищу своему, а шестнадцатилетнему мальчику, сыну одного из лучших своих друзей.) Если бы подобное сообщение относилось к Достоевскому или В. Розанову, то мы вправе были бы увидеть здесь проявление своеобразного душевного цинизма, разрыв души между "идеалом содомским" и "идеалом Мадонны". Но у Пушкина тут можно видеть лишь одно: величайшее душевное легкомыслие, полную безответственность одного момента жизни перед любым из других моментов, отсутствие основного регулирующего начала, хотя бы в какой-нибудь мере действующего на жизненные поступки человека. Метко оттенил это основное свойство души Пушкина лично знавший его А. С. Хомяков, говоря об отсутствии у Пушкина *басовых нот;* он писал И. С. Аксакову в 1859 году: "Вглядитесь во все беспристрастно, и вы почувствуете, что способности к басовым аккордам недоставало ни в голове Пушкина и ни в таланте его, а в душе, слишком

*В первую очередь П. Н. Сакулин ссылается на рецензию Пушкина о "Словаре о святых". Но это, по-видимому, была просто приятельская рецензия. "Словарь о святых" был издан анонимно, но составлен он был князем Д. А. Эристовым и лицейским товарищем и приятелем Пушкина М. Л. Яковлевым (*см. Д. Ф. Кобеко. Императорский Царскосельский лицей.* Спб., 1911, с. 347). До нас дошла записка Пушкина, в которой он напоминает Яковлеву о присылке ему словаря (*Переписка Пушкина, акад. изд.*, III, 410). В рецензии расхваливается даже типография, в которой отпечатана книга, — типография второго отделения собств. канцелярии е. имп. вел. Начальником этой типографии был Яковлев.

непостоянной и слабой или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения"*.

За последние годы я просмотрел чуть не все, где-либо писанное о Пушкине, и мне удалось найти лишь одно-единственное свидетельство, говорящее о *жизненно* религиозном настроении Пушкина. Плетнев пишет Я. К. Гроту в 1842 году: "Написать записки о моей жизни мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти. У него тогда было какое-то высокорелигиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни"**. Таких минутных настроений совершенно достаточно для создания религиозных стихотворений Пушкина. Вспомним, что сам Пушкин (в рецензии на стихотворения Делорма-Сент-Бева, 1831 г.) признаком истинного вдохновения считает "движение *минутного,* вольного чувства". Но таких минутных настроений слишком недостаточно, чтобы можно было признать Пушкина религиозным *в жизни.*

Валерий Брюсов в посмертной своей статье "Пушкин-мастер"*** пишет: "В конце жизни Пушкина занимала мысль сопоставить в большом художественном создании идеи язычества и христианства. К этой мысли он подходил в "Галубе" и в "Египетских ночах". Но, чтобы полнее усвоить себе оба миросозерцания, античное и христианское, он писал ряд подготовительных этюдов. Античные этюды — общеизвестны и всегда признавались за таковые. По смерти Пушкина оказался в одном конверте ряд переводов из древних: из Афинея, Анакреона, Ксенофана, Иона и др. Сюда же надо отнести подражания Катуллу, Горацию и прозаический отрывок, подражание Тациту, "Цезарь путешествовал". Иначе отнеслись исследователи к другому ряду этюдов, тех, в которых Пушкин "зарисовывал" разные черты христианского миросозерцания. Таков перевод из Буньяна "Странник", такова (?) ода "Из VI Пиндемонте", затем — "Подражание итальянскому", "Молитва". В этих стихах хотели видеть проявление религиозности Пушкина, который будто бы в конце жизни стал "глубоко верующим", мало того — "православно верующим". Между тем эти стихи не более говорят о христианстве Пушкина, чем переводы из Анакреона об его язычестве".

---

* Сочинения А. С. Хомякова. Т. VIII, с. 382.

** Переписка Грота с Плетневым. Т. I, с. 495.

*** В указанном сборнике Пушк. комиссии при Общ. Л. Р. Сл. "Пушкин", с. 111.

Вполне согласен с последним. Навряд ли только дело тут было просто в подготовительных этюдах. У Пушкина это было много сложнее. Любимое прозвание, которое ему давали и при жизни, и после смерти, было — Протей. Это был, действительно, Протей, постоянно менявший свой вид, наслаждавшийся художественным переживанием разнообразнейших, часто прямо противоположных настроений. А каков был настоящий, основной вид этого загадочнейшего художественного Протея, — мы этого не знаем и до настоящего времени.

Можно, наконец, идти еще дальше. Можно бы указать, что самые основные черты характера Пушкина, как они отражены в его творчестве, совершенно не соответствуют подлинному характеру Пушкина. "Светлый, гармонический, жизнерадостный Пушкин", — это стало уже постоянными паспортными приметами Пушкина. Веруя в автобиографичность Пушкина, профессор психиатрии В. Ф. Чиж написал даже, опираясь на данные пушкинского творчества, целое клиническое исследование под заглавием: "Пушкин как идеал душевного здоровья"*. Между тем в действительности характер Пушкина был раздражительный, "хандрливый", по его собственному выражению, глубоко неуравновешенный и пессимистический. Но на этом я останавливаться не буду — об этом нужно говорить много.

Ни в передаче частных переживаний и фактов своей жизни, ни в передаче основных своих настроений, ни даже в отражении в своем творчестве характера своего Пушкин не автобиографичен; во всяком случае, менее автобиографичен, чем какой-либо другой поэт. Это совершенно противоречит первому, поверхностному впечатлению, какое читатель получает от Пушкина. Это он-то не автобиографичен! Что знаем мы из их стихов о жизни других наших поэтов — Лермонтова, Тютчева, Фета, Некрасова? Вся жизнь Пушкина перед нами в его стихах, как на ладони. В Крыму ли он, в Кишиневе, в Одессе ли, в Михайловском — мы это знаем из его стихов. Мы знаем Тригорское с его обитательницами, "и берег Сороти отлогий", и три сосны "на границе владений дедовских, на месте том, где в гору подымается дорога"; знаем, как свою, нянюшку Пушкина Арину Родионовну, знаем его друзей и возлюбленных. Сотню с лишним лет назад основано было в Царском Селе аристократическое учебное заведение, — какое нам до него дело, хотя бы даже в нем воспитывался Пушкин? А кто

* Пушкинский сборник, изданный импер. Юрьевским университетом. Юрьев, 1899.

не знает из Пушкина даты лицейской годовщины — 19 октября? Кто не знает его лицейских товарищей — Дельвига, Пущина, Кюхельбекера и пр. — и что знали бы мы о них без Пушкина?*

Все это вполне верно. Исходною точкою произведений Пушкина по большей части служат самые конкретные, самые индивидуальные факты его жизни — настолько индивидуальные, что иногда, ничего о них не зная из других источников, просто не можешь даже понять, в чем же дело. Но в дальнейшем мы никогда заранее не можем быть уверены, оставил ли Пушкин в полной автобиографической неприкосновенности этот первоначальный, исходный факт, как в элегии "Редеет облаков летучая гряда" или в эпиграмме "Лук звенит, стрела трепещет", или же переиначил его так, что от первоначального факта осталась одна оболочка, в которую было вложено совершенно другое содержание, как, например, в ответе Пушкина митрополиту Филарету.

Очень в этом отношении характерно чрезвычайно загадочное стихотворение Пушкина "С Гомером долго ты беседовал один". Кто-то великий и благостный долго беседовал с Гомером, потом со светлой своей высоты спустился в низменную и суетную жизнь, но в благости своей не проклял ее, любя одинаково и гром

---

*В прениях по поводу этого доклада, отстаивая автобиографичность Пушкина, М. О. Гершензон сделал ряд интересных указаний на автобиографические черточки в поэзии Пушкина. Например, в XIX строфе четвертой главы "Онегина" читаем:

...нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью повторенной...

Как может *светская* чернь повторять клеветы, рожденные на *чердаке*, при чем тут чердак? Вот при чем. В октябре 1822 г. Пушкин писал брату своему Льву: "Вся моя ссора с Толстым происходит от нескромности К. Шаховского". Очевидно, стихи имеют в виду известный "чердак" кн. А. А. Шаховского, где "американец" Федор Толстой пустил на Пушкина какую-то клевету. (Гершензон высказывает догадку, не пустил ли Толстой слух, приводивший Пушкина в такое бешенство и даже заставлявший его задумываться о самоубийстве, что Пушкин был высечен в тайной канцелярии за свои вольные стихи? Во всяком случае, обида была ужасная, исключительная — в ссылке своей Пушкин упражнялся в стрельбе из пистолета, готовясь к дуэли с Толстым, и по приезде в Москву немедленно послал секунданта к Толстому.)

М. О. Гершензон, как известно, отрицал серьезность отношений между Пушкиным и графиней Воронцовой. Стихотворение "Прозерпина" заставляет его усомниться в правильности его взгляда: не представляет ли и это стихотворение глубоко интимное, автобиографическое отображение любви Пушкина к графине Воронцовой? "Бледный Плутон" — бледный лицом граф Воронцов.

"Для меня, — заявил М. О. Гершензон, — настолько несомненна глубочайшая автобиографичность Пушкина до самых незначительных мелочей, что когда я, напр., в стихотворении к Гнедичу ("С Гомером долго ты...") читаю: "И светел ты сошел с таинственных вершин", — у меня сейчас же встает вопрос: а в каком этаже Публичной библиотеки помещалась квартира Гнедича?"

небес, и жужжание пчел. Исходная точка — исключительно конкретный факт: кто-то долго имел дело с Гомером. Но из этого Пушкин развертывает картину, которую мы решительно не в состоянии истолковать сколько-нибудь удовлетворительно, пока во всех подробностях не узнаем факта, вызвавшего данное стихотворение. Как известно, Гоголь отнес это стихотворение к императору Николаю и рассказал целую историю, как царь зачитался Гомером в переводе Гнедича и из-за этого запоздал на придворный бал. В. Ф. Саводник* убедительно доказал, что рассказ Гоголя представляет чистейшую фантазию. Он думает, что стихотворение обращено к Гнедичу, переводчику Гомера. В. В. Каллаш** указал, что это знали уже Белинский, Плетнев и Шевырев. Н. Ф. Бельчиков, подробно исследовавший недавно черновики данного стихотворения, вполне присоединяется к мнению В. Ф. Саводника***. Мы не считаем вопроса решенным и после тщательной работы Бельчикова, но допустим, что стихотворение, действительно, обращено к Гнедичу. Какой же реальный факт мог вызвать подобное обращение Пушкина к Гнедичу? Н. Ф. Бельчиков думает, что послание Пушкина является ответом на восторженные стихи, которыми Гнедич приветствовал появление пушкинских сказок: "Пушкин, Протей..." В черновиках стихотворения можно разобрать: "А ныне... склоняешь слух благосклонный... Приветствуешь *меня* с улыбкой благосклонной" (хотя, нужно заметить, как раз чтение густо зачеркнутого слова "меня" отнюдь не бесспорно). В том же черновике, вместо позднейшего: "и с детской легкостью меж тем летает он вослед Бовы иль Еруслана", было: "внимает... о подвигах царя Салтана", — по мнению Бельчикова, "яркая, животрепещущая черта", подтверждающая его догадку. Но ведь царь Салтан вовсе не был выдуман Пушкиным и не составлял характерной особенности именно его сказки: "Царь Султан" фигурирует уже в записи этой сказки, сделанной Пушкиным со слов няни Арины Родионовны****. В лубочном издании сказки о Бове встречаем Салтана*****. Притом в сказке Пушкина ни о каких *подвигах* царя Салтана вовсе и не рассказывается. И почему имя Салтана более "ярко и животрепещуще", чем имена Бовы или Еруслана, тоже

* Заметки о Пушкине // Русск. архив. 1904. Кн. II. 140—148.

** Загадочное стихотворение Пушкина // Пушкин и его современники. XII. 48 и сл.

*** Пушкин и Гнедич в 1832 г. "Пушкин", Сборник Пушк. комиссии при Общ. люб. росс. сл., с. 177—214.

**** См.: *Анненков П.* Материалы. Изд. 2-е, с. 430.

***** *Чернышев В. И.* Имена действующих лиц в сказках Пушкина // Пушкин и его совр-ки, VI, 128.

встречающиеся в сказках Пушкина? Начертание же "Еруслан", а не "Руслан" как раз указывает, что Пушкин вовсе не имел здесь в виду своих переработок народных сказок.

Как при таком толковании мы должны понять разбираемое стихотворение? Пушкин получил от Гнедича восторженное приветствие за свои переделки русских сказок и отвечает ему: "Ты долго занимался переводом Гомера, сошел со светлых вершин с оконченным своим переводом и нашел нас суетно пирующими и с буйною песнью скачущими вокруг нами созданного кумира. Но ты не отнесся к нам с презрением. Хотя сам ты занят возвышенными поэтическими темами, однако не осуждаешь нас за то, что мы занимаемся художественными пустячками".

Конечно, Пушкин писал плохой поэтессе княгине З. А. Волконской, посылая ей своих "Цыган":

Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

Но Зинаида Волконская была хорошенькая женщина, а на этот счет Пушкин был слаб. Гнедич же не был ни хорошенькой женщиной, ни крупным сановником, подобно митрополиту Филарету. От почтительного отношения Пушкина к Гнедичу, какое замечается в ранних его письмах и посланиях, к тридцатым годам осталось очень мало. Гнедич показал себя далеко не бескорыстным во взятом им на себя издании пушкинского "Кавказского пленника". Был он человек напыщенный, самовлюбленный и фатоватый. Почти все отзывы о нем современников носят несколько иронический, а иногда резко отрицательный характер. П. А. Катенин пишет А. М. Колосовой: "Шаховской — шут, Гнедич — плут"*. Еще когда Гнедич был студентом, товарищи прозвали его *ходульником***. И совершенно нельзя себе представить, как мог Пушкин с таким человеком говорить таким тоном, какой слышится в разбираемом стихотворении. Так мог бы, например, писать Фофанов, обращаясь к Льву Толстому, или Надсон — к Достоевскому. Но Пушкин — к Гнедичу! Какая нелепость! Что, дальше, значат такие слова Шевырева в его письме к Гоголю по поводу вышеуказанного толкования Гоголем нашего стихотворения: "Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому: *ты проклял нас?*"*** А как

---

* Русск. стар. 1893. Т. 78, с. 182.
** *Жихарев С. П.* Записки современника. М., 1890, с. 158.
*** Отчет Импер. Публ. Библиотеки за 1893 г., прилож., с. 43.

мог Пушкин сказать Гнедичу "ты проклял нас"? Когда он проклинал, кого именно и за что? Что все это значит?

К Гнедичу ли обращено стихотворение или к кому другому, — во всяком случае, в основе его лежит какой-то совершенно конкретный факт, отгадывать который столь же бесплодно и безнадежно, как армянскую загадку. И пока мы этого факта не узнаем, мы не поймем и самого стихотворения. Процесс же его написания, если считать стихотворение обращенным к Гнедичу, мы можем мыслить только так. Между Гнедичем и Пушкиным произошло что-то, что побудило Пушкина написать послание к Гнедичу. Возможно, что первоначально цель послания была чисто комплиментарная. Но в процессе писания любезно приукрашенный образ Гнедича превратился в величественный образ поэта-пророка, полного благостного снисхождения к миру. Основа стихотворения, бесспорно, автобиографическая, даже исключительно автобиографическая. Но делать из этого соответственные заключения о характере отношения Пушкина к Гнедичу совершенно непозволительно.

Есть у Пушкина ряд других стихотворений, столь же загадочных вследствие чрезмерной своей автобиографичности. Например, "Воспоминание". Оно совершенно непонятно. Что это за два мстящих ангела, говорящие поэту мертвым языком о тайнах счастия и гроба? Смысл всего стихотворения, так фантастически толкуемого и до сих пор как какая-то песнь покаяния, станет нам понятен только тогда, когда выяснится, кого разумел Пушкин под этими ангелами и как эти лица действовали в жизни на душу Пушкина. Пока же мы этого не знаем, стихотворение представляет опять-таки форменную армянскую загадку, и попытки извлечь из него биографический материал осуждены на такое же бесплодие, как попытки без подсказки разгадать армянскую загадку.

Как видим, там, где Пушкин автобиографичен, не только нет возможности использовать эту автобиографичность в биографических целях, а как раз наоборот, нужно еще на стороне разыскивать биографические данные, которые хоть сколько-нибудь понятными сделали бы для нас загадочные автобиографические намеки Пушкина.

Вот еще характерный пример. Осенью 1830 года, в Болдине, Пушкин написал, между прочим, следующее стихотворение:

> В последний раз твой образ милый
> Дерзаю мысленно ласкать,
> Будить мечту сердечной силой
> И с негой робкой и унылой
> Твою любовь воспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас;
Уж ты для страстного поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.
Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его.

В ту же осень 1830 года Пушкиным написаны еще два стихотворения: "Заклинание" и "Для берегов отчизны дальной". Все эти три стихотворения, в которых поэт страстно взывает к какой-то умершей своей возлюбленной, исследователями объединяются в одну трилогию, относимую одними к Амалии Ризнич, другими — к другой какой-то возлюбленной. Вчитываясь в приведенное стихотворение, находим ряд странностей: *"И для тебя твой друг угас"*. Значит, эта мертвая возлюбленная каким-то образом для Пушкина жива. Она принимает прощание поэта, "как друг, обнявший молча друга перед изгнанием *его*". *Его,* а не *своим.* Не умершая изгоняется с земли, а поэт изгоняется из какого-то светлого мира в темную земную жизнь. Открывается простор для самых широких обобщений, можно, например, привлечь сюда стихотворение "Люблю ваш сумрак неизвестный", где Пушкин говорит о тенях умерших, поджидающих в Элизиуме живых своих друзей,

Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...

И что же оказывается? Маленькое биографическое открытие — и нам приходится совершенно перестроить все свое понимание этого стихотворения. Б. В. Томашевский, исследуя списки заглавий, составленные Пушкиным для предполагавшегося сборника его стихов, открыл, что пьеса "В последний раз" была Пушкиным озаглавлена в этом списке: "К Е. W.", т. е. к графине Елизавете Воронцовой (*Томашевский Б. Пушкин. Соврем. проблемы историко-литературного изучения.* Ленинград, 1925, с. 115, 117). Воронцова во время написания стихотворения была жива, значит, "могильный сумрак" отнесен вовсе не к умершей женщине и все вышеприведенные толкования не имеют под собою никакой почвы. Мы уверены, что у Пушкина немало есть и еще стихотворений, понимание которых придется совершенно изменить, когда дознана будет биографическая их подкладка.

Резюмируем. Пушкин так часто является неавтобиографичным — и в передаче отдельных впечатлений, и в передаче основных своих настроений, и даже в выявлении настоящего своего характера и темперамента, — что пользоваться его поэтическими признаниями для биографических целей можно только после тщательной их проверки имеющимися биографическими данными, и лишь постольку, поскольку эти данные их подтверждают. Иначе говоря, пользоваться ими можно только в качестве иллюстраций, а никак не в качестве самостоятельного биографического материала. Распространенный обычай конструировать настроения и факты жизни Пушкина на основании поэтических его признаний должен быть признан допустимым и совершенно ненаучным.

1925

Пушкин и Евпраксия Вульф

В биографии Пушкина теплым и ярким солнечным пятном выделяется прославленное им Тригорское с его милыми обитательницами.

...вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и темными очами...

Молодость, веселый девичий смех, песни, музыка. Как живой рисуется перед глазами Пушкин среди цветника этих девушек — влюбленный во всех сразу и сам всеми обожаемый, сыплющий им направо и налево свои сверкающие стихи, полные легкого хмеля минутной влюбленности. "И влюблюсь до ноября..." Все так легко и бестрагично. И так светло, чисто и невинно. Совсем как в "Евгении Онегине" — в нем эта жизнь ведь и отражена. Ленский — жених Ольги; уже признанный жених.

Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят в потемках двое.
И что ж? Любовью упоенный,
В смятеньи нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.

Онегин объясняется с Татьяной и благородно предостерегает ее:

Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет.

И даже непонятно как-то: к какой беде? "Обольстит" и бросит беременной? Ну как здесь до этого может дойти!

В 1915 году в академическом издании "Пушкин и его современники" (вып. XXI—XXII) был опубликован дневник Алексея Вульфа, сына владетельницы Тригорского П. А. Осиповой. Знакомство с этим дневником производит прямо ошеломляющее впечатление — в таком новом и неожиданном свете являются там любовные отношения молодежи в тогдашней "патриархальной" дворянско-помещичьей среде. Окончивши Дерптский университет, Вульф в 1827 году приезжает в Петербург. Там он знакомится с недавно приехавшею с отцом своим из провинции двоюродною своею сестрою Лизою Полторацкою, хорошенькою 20-летнею девушкою, и "решается избрать ее предметом своего первого волокитства". Вульфу удается совершенно покорить сердце девушки. "Я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представляются роскошному воображению, однако не касаясь девственности. Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить границу, ибо она сама, кажется, желала быть совершенно моею и, вопреки моим уверениям, считала себя такою". В таких отношениях они прожили около года. У него — постоянные головные боли, которые он приписывает "густоте крови". Об ней он то и дело отмечает в дневнике: "Лиза нездорова, грустна", "Лиза больна, у ней были нервические припадки". Он к ней очень быстро охладел и был весьма рад, когда осенью 1828 года отец увез ее в Тверскую губернию. Там Лиза встретилась с Сашею Осиповой, падчерицею матери Алексея. Этой Саше Осиповой Пушкин написал свое стихотворение "Я вас люблю, хоть я бешусь". Оказывается, у Вульфа были с нею раньше совсем такие же отношения, как с Лизой Полторацкою. "Лиза, — записывает он, — знав, что я прежде волочился за Сашей, рассказала тотчас свою любовь ко мне и с такими подробностями, которые никто бы не должен знать, кроме нас двоих. Я воображаю, каково Саше было слушать повторение того же, что она со мною сама испытала. Она была так умна, что не отвечала подобною же откровенностью".

На святки Алексей Вульф приезжает в те же края. Не обращая внимания на двух прежних своих "любовниц", он начина-

ет ухаживать за несколькими новыми красавицами (в том числе за Катенькою Вельяшевой, которой Пушкин посвятил стихи: "Подъезжая под Ижоры..."). "Я слегка волочился за ними, — рассказывает Вульф, — ибо ни одна из них не делала сильного впечатления на меня, может быть, оттого, что недавно еще пресыщенный этой приторной пищей желудок более не варил... Так как волочился я слегка, зевая, то и ничем не кончал". Через год он с сожалением вспоминает, что красавицы эти у него "прошли между пальцев". Для Алексея Вульфа серьезная, стоящая цель при ухаживании за барышней — это, говоря его словами, "незаметно от *платонической* идеальности переходить до *эпикурейской* вещественности", оставляя при этом девушку *"добродетельною* (!!), как говорят обыкновенно". Курсивы и восклицательные знаки принадлежат здесь Вульфу. Вот что значит доводить дело до конца, вот что значит ухаживать по-настоящему. Но нам тут интересен не Вульф. Интересна и ошеломляюще неожиданна роль Пушкина в любовных предприятиях Вульфа, как она вырисовывается в этом же дневнике. Характер этой роли странным образом совершенно не обращает на себя внимания исследователей.

"В Крещение приехал к нам в Старицу Пушкин, — продолжает рассказывать Вульф. — С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катенька Вельяшева), *несмотря ни на советы Мефистофеля,* ни на волокитство Фауста, осталась холодною; все старанья были напрасны" (с. 50). Мы теперь знаем, что составляет цель этих стараний. Пушкин поощряет Вульфа, стыдит его: "Дурно, дурно, брат Александр Андреич"* (с. 96). Предметом этих стараний Вульфа, поощряемых Пушкиным, является Катенька Вельяшева, 16-летняя двоюродная сестра Вульфа; незадолго до этого Пушкин писал ей:

Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.

---

* Эх, Александр Андреич, дурно, брат!

Фамусов Чацкому. Горе от ума. (II, сц. 3).

Лишний, между прочим, пример отличия пушкинской Wahrheit от Dichtung*.

Пушкин называл Вульфа "filius meus in spirito (сын мой в духе)". Раньше было непонятно, в каком смысле употреблял Пушкин эти слова в применении к Вульфу, — слишком он мало был похож на духовного сына Пушкина. Но Л. Н. Майков, например, и многие другие понимали это в самом серьезном смысле**. После дневника Вульфа становится совершенно несомненным смысл пушкинских слов. Перед нами живьем вырисовывается этот уездный Фауст, а за его плечами — остро-взглядое, озорное лицо Мефистофеля, посвящающего его во все таинства "науки страсти нежной". Через год, уже будучи гусарским офицером и стоя с эскадроном в Польше, Вульф записывает одно из новых своих приключений. "Молодую красавицу трактира вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методе Мефистофеля (т. е. Пушкина), надо ее воображение занять сладострастными картинами; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, который им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности" (с. 141). В другом месте своего дневника Вульф вспоминает, как он ухаживал еще за одною своею двоюродною сестрою, замужнею Екатериною Ивановною Гладковой. "Приехав в конце 27-го года в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, предпринял я сделать завоевание этой добродетельной красавицы. Кат. рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, так же как бы и Пушкина... Я первые дни был застенчив с нею и волочился, как 16-летний юноша. Я никак не умел постепенно ее развращать, врать ей, раздражать ее чувственность" (87—88).

Вот что значит "сын мой в духе", вот в чем ученичество Вульфа. И свою роль Мефистофеля по отношению к Вульфу Пушкин проводит весьма последовательно и постоянно. Когда Лиза Полторацкая, с опоганенною душою и опоганенным телом, уехала в Тверскую губернию, а Алексей Вульф на свободе ухаживал в Петербурге за женою поэта Дельвига, Пушкин писал Вульфу из Тверской губернии: "Честь имею донести, что в здешней губернии, наполненной вашим воспоминанием, все обстоит благополучно. Меня приняли с достодолжным почитанием и благосклонностью. Утверждают, что вы *гораздо хуже меня* (в

---

* Поэзии... реальности *(нем.)*. — *Примеч. сост.*

** *Майков Л.* Пушкин, с. 166.

моральном отношении). И потому не смею надеяться на успехи, равные вашим. Требуемые от меня пояснения на счет вашего петербургского поведения дал я с откровенностью и простодушием, отчего и потекли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелательные восклицания, как, например: *какой мерзавец! какая скверная душа!* Но я притворился, что их не слышу" (27 октября 1828 г.).

Чрезвычайно своеобразно отношение Алексея Вульфа к Пушкину. Пушкин все время говорит с ним его языком, в его стиле, поощряет его и благословляет на поступки, к которым Вульфа тянет и самого. Казалось бы, отношение к Пушкину должно быть самое дружелюбное, такое же, как и Пушкина к нему. Между тем в отзывах Вульфа о Пушкине все время ощущается весьма ясная нота затаенной вражды и насмешки, как будто Пушкин причинил ему большой какой-то ущерб. 15 февраля 1830 года, уже в Польше, Вульф записывает: "Пушкин, величая меня именем Ловласа, сообщает мне известия очень смешные о старицких красавицах, доказывающие, что он не переменился с летами и возвратился из Арзерума точно таким, каким и туда поехал, — весьма циническим волокитою" (115). 28 июня 1830 года, получив известие о предстоящей женитьбе Пушкина на Гончаровой, он пишет: "Желаю ему быть щастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, — это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся" (124). "Так строго судил поэта этот высоконравственный господин, собственные писания которого исключительны по своему цинизму, — замечает М. А. Цявловский в своем отзыве о дневнике Вульфа*. — Вульф оказался недостойным того счастья, какое ему выпало на долю, называться приятелем великого поэта" (283). И П. Е. Щеголев пишет: "Вульф в жизни остался достойным гнева и жалости эмпириком любви, а Пушкин, для которого любовь была гармонией, изведал высший восторг небесной любви. Но Пушкин с стыдливой застенчивостью скрывал свои чувства от всех и — от Вульфа"**. Все это, конечно, вполне верно. Да, Пушкин знал и восторг небесной любви, да, Алексей Вульф был недостоин Пушкина, да, он был человек чувственный и развратный. Под старость он в этом отношении совсем уж развернулся, завел у себя в деревне крепостной гарем и даже

* Голос минувшего. 1916. № 2, с. 285.
** Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 2-е, с. 49.

присвоил себе, по рассказам, "право первой ночи". И, однако, он способен был откликаться на жизнь и другими сторонами души. Он весь начинает светиться, когда вспоминает о своем университетском товарище Францiусе, пламенном энтузиасте. Уже позже, в 1833 году, узнав о его смерти, Вульф пишет: "Душевно сожалею, что судьба не свела меня еще раз с ним: он бы передал мне снова много прекрасных, возвышенных идей; его бы пламенем согрелась и моя хладеющая от ежедневного опыта грудь, я бы освежился духом". Он с неизменною любовью вспоминает о другом своем университетском товарище, поэте Языкове, с глубоким уважением всегда говорит о Дельвиге. А к Пушкину — эта скрытая вражда и насмешка. Одного ли Вульфа в этом вина?

Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях, — обычная поза биографов. Скучно и нецелесообразно. Он и без того, сравнительно с нами, большой, а мы еще опускаемся на колени, делаем себя еще меньше, еще менее способными что-нибудь видеть. По отношению к Пушкину это особенно вредно, потому что его все мы как-то особенно горячо полюбили, особенно всем он стал теперь нужен и незаменимо дорог, и поэтому здесь особенно трудно удержать требуемую холодность. А между тем в сознании нашем уже оформился и застыл канонический образ личности Пушкина — фальшивый и совершенно не соответствующий действительности. Светлый, гармонический и жизнерадостный "гуляка праздный", с простодушием гения, с благоволением к людям, детски-очаровательный в самом своем озорстве и шалостях, Пушкин был натура очень сложная и вовсе не годился в герои нравоучительного романа; по-видимому, в душе его немало было упадочничества и даже разложения, зияли чернейшие провалы, много было и хаоса, и зверя. Чтобы понять его, нужно к нему подходить не с благоговейным трепетом поклонника, а с несмущающеюся смелостью исследователя.

Один ли Вульф был виновен в том, что он воспринимал Пушкина так, как его описывает, — или Пушкин, действительно, поворачивался к нему именно этою своею стороною, и не вина была Вульфа, что он видел то, что видел? Пушкин не только в дневнике Вульфа говорит с ним почти исключительно о женщинах и любовных делишках. Почти об этом одном говорит он и в подлинных своих письмах к Вульфу (см., напр., письма от 7 мая 26 г., 27 октября 28 г., 16 октября 29 г.). А ведь Пушкин был на пять лет старше Вульфа, от него зависело давать тон их беседам, о Вульфе же сам он отзывался так: "Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились

танцовать. Разговор его был прост и важен. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял". Пушкина самого интересовали те дела, о которых он говорил и переписывался с Вульфом, — и именно в той как раз плоскости, как и Вульфа. По-видимому, общий стиль обращения Пушкина с псковскими и тверскими барышнями был приблизительно такой же, как у Вульфа, — да на это прямо и указывает Вульф: он только ученик Пушкина, он только робко применяет к делу уроки опытного учителя. И заподазривать правдивость Вульфа решительно невозможно: дневник свой писал он только для себя и не думал, что он сможет попасть в печать.

Для нас все это слишком неожиданно, слишком трудно это принять в душу, — и, однако, это, по-видимому, так. Только в таком свете становится понятным кое-что и в письмах Пушкина. Например, совершенно новый, цинично-озорной смысл получает непонятное без того бон-мо*, которым хвалится Пушкин в письме к цинику Вяземскому: "Ради соли, вообрази, что это было сказано девушке лет 26: — Что более вам нравится? запах розы или резеды? — Запах селедки". Речь идет, очевидно, об Анне Николаевне Вульф, старшей из тригорских барышень, которой в то время было как раз 26 лет и отношения с которой у Пушкина были довольно близкие, — в одном из ее писем к нему встречается итальянская фраза: "ti (подчеркнуто) mando un baccio, mio amore, mio delizie" (посылаю *тебе* поцелуй, моя любовь, моя прелесть)**. 10 сентября 1836 года баронесса Е. Н. Вревская писала брату своему Алексею Вульфу про младшую их сестренку, 16-летнюю Машу Осипову: "6-го уехал от нас Ник. Игн. (соседний помещик Шениг). Он заменил Пушкина в сердце Маши. Она целые три дня плакала об его отъезде и отдает ему такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: *Ник. Игн. никогда не воспользуется этим благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать****.

Ясно из всего этого, что прозвище губернского "вампира", данное Пушкину в тверских дворянских гнездах, имело вовсе не такой уж невинный смысл. Владетельница Тригорского П. А. Осипова, горячо (и, по-видимому, не только дружески горячо) любившая Пушкина, старается держать от него своих дочерей подальше, — и навряд ли из одной только ревности, как думала ее дочь Анна Н. Вульф (см. ее письмо к Пушкину. — *Переп.*

* острое словечко, острота (от *фр.* bon mot). — *Примеч. сост.*
** Переп. Пушкина, акад. изд., I, 354.
*** Пушкин и его современники. XIX—XX, с. 108.

Пушкина, I. 333). Алексей Вульф записывает в своем дневнике под 11—12 октября 1828 года: "Пушкин хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя сестры (Анны) и матери, а сестре и других ради причин это вредно". Он называет Пушкина "неотразимым", а баронесса Вревская, говоря об одной дальней их родственнице, Лизе Ермоловой, в особую заслугу ставит ей, что Пушкин "не мог свести Лизу с ума, хоть и старался"*.

Евпраксия Николаевна (Зина, Зизи) Вульф — младшая из двух сестер Вульфа, дочерей П. А. Осиповой, от первого ее брака. Она была почти на десять лет моложе Пушкина. Ей Пушкиным посвящены стихи: "Если жизнь тебя обманет" и "Вот, Зина, вам совет". Ее он имеет в виду в пятой главе "Онегина", говоря об узких, длинных рюмках,

> Подобных талии твоей,
> Зизи, кристалл души моей,
> Предмет стихов моих невинных,
> Любви приманчивый фиал,
> Ты, от кого я пьян бывал!

Любители отыскивать прототипы художественных образов утверждают, что Евпраксия служила для Пушкина оригиналом — одни говорят — Татьяны, другие — Ольги.

Каковы были отношения между Пушкиным и Зизи? М. Л. Гофман полагает, что это было "легкое увлечение, перешедшее в дружбу"**. "Когда Пушкин приехал в Михайловское, — пишет он, — Евпраксии было пятнадцать лет, и веселый, резвый подросток порой развлекал его (выражение *увлекал* представляется нам неуместным и несоответствующим действительным отношениям Пушкина). "На днях, — пишет Пушкин брату в октябре 1824 года, — я мерялся поясом с Евпраксией, и талии наши нашлись одинаковы. Следственно, из двух одно: или я имею талию 15-летней девушки; или она — талию 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила, с Анеткою бранюсь: надоела!" Тон, продолжает Гофман, которым Пушкин говорит об Евпраксии и об Анетке — Анне Николаевне Вульф, — свидетельствует о разных отношениях Пушкина к ровеснице своей "Анетке", которая уже "надоела", и к "милому" подростку. На

* Пушкин и его современники. XXI—XXII, с. 431.
** Пушкин и его современники. XXI—XXII, с. 413.

глазах Пушкина Зизи вырастала, и в 1826 году она превратилась уже в 16—17-летнюю девушку, считавшую, что "нравиться есть необходимость, чтобы провести приятно время", и старавшуюся принимать участие в праздниках молодежи. Шутливо влюбленные отношения установились между Пушкиным, Языковым и Зизи Вульф летом 1826 года, когда приехал в Тригорское Языков. Весело-беспечное дитя, Зизи участвовала в пирушках Пушкина, Языкова и Вульфа. Но дальше "чистого хмеля" и веселых пирушек, дальше простых дружеских, шутливо влюбленных мадригалов не шли отношения поэтов и Зизи. Вскоре Пушкин получил свободу, и как-то мгновенно расстроились, распались его отношения с Евпраксией Николаевной, с которой он и не переписывался. В 1828 году вышли IV и V главы "Онегина" (где находится вышеприведенное обращение к Зизи), и Пушкин послал Евпраксии экземпляр с надписью: "твоя от твоих". Осенью этого же года (а может быть, и в январе 1829 г.) Пушкин увиделся с Евпраксией и, как Вульф писал в своем дневнике, "по разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем". Но Пушкин недолго пробыл в Тригорском и уехал, а Евпраксия Николаевна продолжала подчиняться "необходимости нравиться" и приятно проводить время. В 1831 году она вышла замуж за барона Б. А. Вревского" (*там же*, стр. 224—266).

М. Гофман думает, что отношения Пушкина и Евпраксии Вульф исчерпывались легким увлечением и шутливою влюбленностью. Но в таком случае совершенно непонятно, как могла она попасть в "донжуанский список" Пушкина. Пушкин сам говорит про себя: "Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых я знал". Это же подтверждает в своих воспоминаниях и кн. М. Н. Волконская. Каким же длинным должен бы быть пушкинский донжуанский список, если бы Пушкин вносил в него все свои легкие увлечения! Список оказался бы не короче, чем у моцартовского Дон Жуана: mille e tre!* А в нем всего 34 имени. Притом Евпраксия внесена в первый из списков, в котором всего 16 имен, — и имен женщин, которых Пушкин любил всего глубже и сильнее. Тут и Екатерина (Бакунина), и Амалия (Ризнич), и Элиза (гр. Воронцова), и Екатерина (Ушакова?), и Анна (Оленина?) и таинственная NN, и, наконец, Наталья (Гончарова), заключающая список. Ясно, — если в этот список Пушкин внес и "Евпраксею", то его увлечение ею выходило далеко за пределы шутливой влюбленности.

---

* тысяча и сверх того! *(лат.)*. — *Примеч. сост.*

И мы имеем этому много подтверждений. Анненков сообщает, что, по слухам, Пушкин был неравнодушен к Евпраксии Николаевне*. Алексей Вульф говорил М. И. Семевскому, что Пушкин был "всегдашним и пламенным обожателем" ее**. Слухи о любви Пушкина к Евпраксии дошли даже до молодой жены поэта, и Анне Николаевне Вульф приходилось успокаивать ревнивую Наталью Николаевну. "Как вздумалось вам, — писала она ей в 1831 году, — ревновать мою сестру, дорогой друг мой? Если бы даже муж ваш действительно любил сестру, как вам угодно непременно думать, — настоящая минута не смывает ли все прошлое, которое теперь становится тенью" и т. д.***. Любовь, несомненно, была, — и со стороны Евпраксии Николаевны, по-видимому, еще более сильная, чем со стороны Пушкина; время ее — 1828 и начало 1829 года. Ал. Вульф, как уже было указано, отмечает в своем дневнике: "По разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем". В. Колосов в статье своей "Пушкин в Тверской губернии"**** приводит воспоминания старушки Синицыной, дочери берновского священника. Сообщения ее получили неожиданное и весьма точное подтверждение в опубликованных значительно позже воспоминаниях Алексея Вульфа. Синицына спутала только время. То, что она описывает, происходило не в 1827 году, как она говорит, а в начале 1829-го. Пушкин гостил в Бернове у одного из многочисленных в тех местах Вульфов, Павла Ивановича. "Когда пошли мы к обеду, — рассказывает Е. Е. Синицына, — Пушкин предложил одну руку мне, а другую дочери Прасковьи Александровны, Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со мной. За столом он сел между нами и угощал с одинаковою ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди, — протанцует с ней, потом со мной, и т. д. Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то в этот день ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Ал. Серг-ч после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту; все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее, — она на него все глаза проглядела". Наконец, сама Евпраксия, уже в сентябре 1837 года, после смерти Пушкина, писала своему брату как об обстоятельстве,

* Пушкин в алек. эпоху, с. 280.
** Спб. ведомости. 1866. № 139; Прогулка в Тригорское.
*** Анненков. Пушкин в алек. эпоху, с. 280.
**** Русск. стар. 1888. Т. 60, с. 91.

всем им известном: "Наш приятель (Пушкин) умел занять чувство у трех сестер"*. Здесь разумела она, очевидно, старшую свою сестру Анну, себя и, по-видимому, младшую сестру Машу Осипову.

М. Л. Гофман пишет: "С Евпраксией Николаевной Пушкин и не переписывался". По-видимому, и это неверно. Переписка была, притом настолько интимная, что Евпраксия Николаевна завещала своей дочери уничтожить эту переписку. Л. П. Гроссман сообщает, что женщина-врач, лечившая дочь Евпраксии Николаевны, слышала от нее следующее: "Мать моя передала мне на хранение большую пачку писем к ней Пушкина. Она завещала мне хранить их при жизни, но ни в коем случае никогда и никому не передавать их. О существовании этих писем стало многим известно, и ко мне приезжали различные ученые, прося меня предоставить им эти старые письма великого поэта к давно умершей женщине. Должна сознаться, что эти лица были очень красноречивы и убедительны. Я чувствовала, что решение мое слабеет. И вот, чтоб не поддаться окончательно их уговорам и не нарушить воли матери, я предала всю пачку писем сожжению"**.

Все это в целом, кажется мне, должно нас убедить в том, что отношения между Пушкиным и Евпраксией Вульф были гораздо серьезнее "легкого увлечения" и "шутливой влюбленности". Другой вопрос, каков был характер этих отношений. Многоликий Протей Пушкин и в любви к женщинам был Протеем. Перед нами — то дерзкий и бесстыдный сатир, то застенчивый до смешного мальчик, то "рыцарь бедный", пламенеющий чистою любовью к той, "кого назвать не смеет". Какова же была его любовь к Евпраксии? В первой половине этой статьи освещен был общий характер отношения Пушкина к барышням из псковских и тверских дворянских гнезд. Одно загадочное место в дневнике Вульфа, только в этом же освещении делающееся понятным, заставляет неуверенно догадываться, что Евпраксия в этом отношении не представляла исключения. В декабре 1828 года Алексей Вульф, приехав из Петербурга в родное гнездо, увидел сестру свою Евпраксию. "Она, — пишет он, — страдала еще нервами и другими болезнями наших молодых девушек. В год, который я ее не видал, очень она переменилась. У ней видно было расслабление во всех движениях, которое ее почитатели называли бы прелестною томностью, — мне же это показа-

* Пушкин и его современники. XXI—XXII, с. 413.

** *Гроссман Л. П.* Около Пушкина // Библиотека "Огонек", № 386, с. 14.

лось похожим на положение Лизы (Полторацкой, см. начало этой статьи), на страдание от не совсем счастливой любви, в чем я, кажется, не ошибся" (с. 45).

Опытный в этих делах глаз Вульфа видит то, что отмечено было еще юношею Пушкиным в стихотворении (впрочем, взятом у Парни):

Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый,
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей...
Твой бог неполною отрадой
Своих поклонников дарит...

Прав ли был Вульф в этих своих догадках, мы не знаем. Но вот что замечательно. Позднейшие отношения Пушкина с баронесою Вревскою были самые дружеские. Она отзывается о нем в письмах с большою приязнью, весьма волнуется по поводу его столкновения с графом Соллогубом или истории с Дантесом. Однако, как только заходит речь об отношении Пушкина к женщинам, в тоне Евпраксии Николаевны начинает звучать та же затаенная насмешка и скрытая вражда, как и в дневнике ее брата, Алексея Вульфа. В октябре 1835 года она пишет брату: "Поэт по приезде сюда был очень весел, хохотал и прыгал по-прежнему, но теперь, кажется, впал опять в хандру. Он ждал Сашеньку (Беклешову, урожденную Осипову, дочь второго мужа их матери от первого его брака) с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие мужа разогреет его состаревшие физические и моральные силы"*. Через год она писала брату о младшей их сестре, 16-летней Маше Осиповой (отзыв этот полностью приведен выше): "Маша отдает Николаю Игнатьевичу такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: Николай Игнатьевич никогда не воспользуется этим благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать". Такие вещи и таким тоном может говорить только женщина, горько на своем собственном опыте познавшая с этой стороны любимого когда-то человека. И она-то, перечитывая "Онегина", вероятно, не испытывала недоумения, к какой такой "беде" ведет девичья неопытность.

1926

* Пушкин и его современники. XIX—XX, с. 107.

Княгиня Нина

23 января 1829 года князь П. А. Вяземский писал в Петербург Пушкину: "Мое почтение княгине Нине. Да смотри непременно, а не то ты из ревности и не передашь"*.

Мы ничего не знаем об увлечении Пушкина женщиною с таким именем; имени "Нина" мы не находим также ни в одном из "донжуанских списков" Пушкина. Кто такая княгиня Нина? Ответа на это в пушкинской литературе не имеется.

За три-четыре месяца перед тем Пушкин писал Вяземскому: "Я пустился в свет. Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер, — но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники"**. Из письма князя Вяземского от 25 сентября 1828 года узнаем, что Пушкин воспел эту даму в стихотворении, где сравнивает ее с "беззаконною кометою"***. Это — известные стихи Пушкина "Портрет", посвященные Аграфене Федоровне Закревской. О ней, значит, Пушкин в своем письме и говорит.

Эта же А. Ф. Закревская выведена Баратынским в его поэме "Бал", вышедшей в 1828 году. Что здесь выведена именно Закревская, видно из письма Баратынского к его другу Н. В. Путяте: "В поэме ты узнаешь гельсингфорсские впечатления. *Она* моя героиня"****. В Гельсингфорсе Баратынский, как известно, сильно увлекался Закревскою. В поэме же "Бал" Закревская выведена под именем *княгини Нины*.

Пушкин был в восторге от поэмы Баратынского; хорошо, конечно, знал ее и Вяземский. И ясно, что в письме своем под княгинею Ниною Вяземский разумеет Закревскую.

"С своей пылающей душой, с своими бурными страстями", — А. Ф. Закревская яркою беззаконною кометою проносилась в 20-х годах по небосклону чинного и лицемерно-добродетельного "большого света". Все стихи, проза и письма как Пушкина, так и Баратынского рисуют ее дерзко презирающею мнение света, бешено-сладострастною и порочною, внушающею прямо страх заразительною силою сатанинской своей страстности. Пушкин: "Таи, таи свои мечты: боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты!" И Баратынский: "Страшись прелестницы опасной, не подходи: обведена волшебным очерком

* Переписка Пушкина, акад. изд. II, 86.

** Переписка, II, 74.

*** Переписка Пушкина, II, 78.

**** *Баратынский Е. А.* Полн. собр. соч., акад. изд., 1915, т. II, 245.

она; кругом нее заразы страстной исполнен воздух"... И еще вот как Баратынский: "Кого в свой дом она манит, — не записных ли волокит, не новичков ли миловидных? Не утомлен ли слух людей молвой побед ее бесстыдных и соблазнительных связей? Но как влекла к себе всесильно ее живая красота!"

Живьем встает образ Клеопатры, как ее представлял себе Пушкин и как воплотил в "Египетских ночах".

Ну и вот: Онегин, возвратясь из своих странствий, встречает в Петербурге на великосветском балу Татьяну.

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы:
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

Если искать за персонажами Пушкина живых прототипов, — занятие, по-моему, в общем достаточно бесплодное, — то, конечно, естественнее всего в этой *Нине* Воронской, *Клеопатре Невы,* видеть именно Закревскую. "Мраморная краса" ее великолепно видна на портрете, приложенном к брокгаузовскому изданию Пушкина (II, 493).

В черновиках к "Онегину" находим изображение ослепительного выхода Нины в бальную залу в соблазнительном костюме, вполне подходящем к Клеопатре — и к Закревской:

Смотрите, — в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненьи перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах...

У Пушкина есть набросок начала прозаической повести: "Гости съезжались на дачу". Набросок обычно относят к 1831—1832 годам, но П. Е. Щеголев, по положению наброска в черновых рукописях, доказал, что он написан в 1828 году*. В наброске этом под именем эксцентрической красавицы Зина-

* Пушкин и его современники, XIV, 190.

иды Вольской выведена та же Закревская, которою именно в 1828 году увлекался Пушкин. Щеголев отмечает любопытные совпадения в отзывах Пушкина о Закревской и Минского в указанном отрывке — о Зинаиде Вольской. Пушкин пишет Вяземскому о Закревской: "Она утешительно смешна и мила... Она произвела меня в свои сводники". Минский отзывается о Зинаиде Вольской: "Я просто ее наперсник или что вам угодно. Но я люблю ее от души: она уморительно смешна".

Мне несколько раз приходилось высказываться против попыток привлекать художественные произведения Пушкина в качестве непосредственного биографического материала. Следует, однако, указать, что некоторые прозаические произведения Пушкина, в отличие от стихотворных, носят столь непосредственно автобиографический характер, что отрицать его совершенно невозможно. Таков образ великосветского поэта Чарского в "Египетских ночах"; таков прозаический отрывок, якобы перевод с французского: "Участь моя решена: я женюсь". Таков, по всем данным, и рассматриваемый отрывок: "Гости съезжались на дачу". Пользоваться и этими произведениями в качестве автобиографического материала можно, разумеется, лишь с крайнею осторожностью, делать прямые из них выводы биографического характера нельзя. Но в них нередко можно найти намек, вдруг вкладывающий нам в руки конец путеводной нити к разрешению того или другого вопроса в биографии Пушкина. Такой конец нити находим мы и в разбираемом отрывке.

Минский получает записку от Зинаиды Вольской. "Самолюбие Минского было тронуто; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, *если бы он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался бы от своего торжества,* ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию". В одном из недавно найденных писем Пушкина к Ел. Мих. Хитрово Пушкин пишет: "Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, — это и гораздо короче, и гораздо удобнее... Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. п. Я имею несчастие быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я ее и люблю всем сердцем. Этого более чем достаточно для моих забот и моего темперамента"*. За "болезненность" Закревской

* Письма Пушкина к Хитрово. 1927, с. 33.

говорят все имеющиеся данные — она, по-видимому, была форменной истеричкой. Резкая смена настроений, чисто детская озорная шаловливость, "судорожное веселие" *(Н. В. Путята)*.

Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь...

(Баратынский)

Все выше развитые соображения, мне кажется, с большою вероятностью говорят за то, что в письме своем к Е. М. Хитрово Пушкин имеет в виду именно Закревскую и что его отношения с нею некоторое время были весьма близкими.

В связи с этим некоторую долю вероятия получает и то, что сообщает о Закревской ее племянница М. Ф. Каменская*. Она рассказывает, что, по словам ее тетушки, Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и к каждому. "Еще недавно в гостях у Соловых он, ревнуя ее за то, что она занимается с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь". Только навряд ли, конечно, это могло происходить в последние дни жизни Пушкина, как уверяет М. Ф. Каменская. Увлечение Пушкина Закревскою следует относить к лету и осени 1828 года.

1926

Пушкин и польза искусства

"Пророк" Пушкина:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился;
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон;
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

* Воспоминания // Исторический вестн. 1894. Т. 58, с. 54.

И он к устам моим приник,
И вырвал грешной мой язык,
И празднословной, и лукавой,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".

Глаголом жги сердца людей... Что это за глаголы? Каков должен быть их характер, каково содержание? Не странно ли? Пушкин подробно, даже излишне подробно описывает все операции, которым ангел подвергает пророка, и как будто забывает хоть одним словом сообщить, какого же рода должны быть слова, которыми бог поручает пророку жечь сердца людей.

У Лермонтова тоже есть стихотворение "Пророк", — оно служит как бы продолжением пушкинского "Пророка", и во всех хрестоматиях лермонтовское стихотворение обыкновенно и помещается вслед за пушкинским. У Лермонтова все совершенно ясно:

С тех пор, как вещий судия
Мне дал всеведенье пророка,
В сердцах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья...

Бог — судия; всеведение пророка выражается в умении его прозревать нравственную природу человека; содержание глаголов — "чистые ученья любви и правды". Понимание пушкинского "Пророка" так дальше и пошло по пути, закрепленному Лермонтовым. Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский, например, говорит: "Глаголы пророка — это глаголы *обличительной проповеди*"*. Профессор Н. Ф. Сумцов: "Пророк наделяется несокрушимой общественной волей, для которой *в делах любви и просвещения* нет предела и нет преград"**. И так почти все.

* Соч. IV, 138.
** Этюды о Пушкине. Вып. I. Варшава, 1893, с. 91.

Но обратимся к самому стихотворению Пушкина, попробуем прочесть его просто, забыв наше ранее составленное о нем представление. Во всех изменениях, которые происходят в избраннике под действием операций ангела, мы нигде не находим указания на моральный элемент.

Моих зениц коснулся он:
Отверзлись *вещие* зеницы.

Вещие, то есть ведающие, з н а ю щ и е.

Моих ушей коснулся он, —
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Сверхъестественно утончившийся слух воспринимает такие звуки, которых обыкновенному человеку слышать не дано. Но опять тут дело в познавании.

Он вырвал грешной мой язык,
И празднословной, и лукавой...

Ну, тут уж, казалось бы, выступает как раз моральный элемент: говорится о грехе, празднословии, лукавстве... В соответственном месте у Исаии читаем (*Книга пророка Исаии,* VI, 5—7):

> И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек *с нечистыми устами,* — и глаза мои видели царя, господа Саваофа.
>
> Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,
>
> и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и *беззаконие* твое удалено от тебя, и *грех* твой очищен.

Здесь все вполне ясно: удалено "беззаконие", очищен "грех". А посмотрим, что дальше у Пушкина:

И жало *мудрыя змеи*
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Языку пророка даруется только мудрость, то есть высшее понимание, а вовсе не нравственное очищение, не освобождение от беззакония. В связи с этим и первые два стиха получают соответственное освещение: истинная мудрость, само собою понятно, не может грешить ни празднословием, ни лукавством. Но речь-то только о мудрости.

Дальше — пылающий уголь, вложенный в грудь. Образ слишком общий, вкладывать можно какое угодно понимание.

Где же во всем этом хоть намек на "чистые ученья любви и правды", на "дела любви и просвещения", на требования "обличительной проповеди"? Картина вполне ясная: бог дает своему избраннику нечеловеческую, сверхъестественную способность совершенно по-особому видеть, слышать, то есть *воспринимать и познавать* мир, — и способность совершенно по-особому *сообщать людям это свое знание* — с мудростью змеи и с пламенностью пылающего угля.

Но какой же это в таком случае пророк? Пророк — это глас бога, призывающий людей обязательно к *действию*, к покаянию, к практическому обнаружению себя в области нравственной или даже общественно-политической. Таковы были Моисей, Исаия, Иеремия, Магомет. Если Пушкин действительно имел в виду изобразить пророка, то приходится признать, что он совершенно не справился с задачей, упустив в своем образе характернейшую особенность пророка — действенность, призыв к деланию, к активному обнаружению себя.

Но, конечно, Пушкин вовсе и не имел в виду просто дать в этом стихотворении образ библейского пророка. Пушкин выразил в стихотворении свое интимное, сокровенное понимание существа *поэтического творчества*. Пушкинский пророк — это поэт, как его понимает Пушкин. И стихотворение точно, до мелочей, совпадает со всем строем взглядов Пушкина на существо поэзии и призвание поэта.

Духовной жаждою томим, поэт бредет в жизни, как в мрачной пустыне,

И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется, —

и происходит полное перерождение, полное преображение поэта. Он по-новому видит и слышит, по-новому воспринимает жизнь; лукавый и празднословный в жизни, он становится нечеловечески мудрым, и сердце в груди превращается в жарко пылающий уголь. Наблюдая процесс пушкинского творчества, мы находим, что для Пушкина вдохновенье не есть только внезапно пробудившаяся способность высказать то, что есть в душе; вдохновение — это какое-то своеобразное перерождение самой души, способность совершенно по-новому воспринять и перечувствовать впечатления, однажды уже полученные и почувствованные в жизни. Это — основное свойство пушкинского творчества.

И бога глас ко мне воззвал...

Глас того единственно истинного бога, которому Пушкин никогда не изменял, к которому всегда относился с подлинным религиозным трепетом. Этот бог — вдохновение, творчество. Когда Пушкин начинает о нем говорить, у него все время выражения: "*святая* лира", "*божественный* глагол", "*признак бога* — вдохновенье". В "Египетских ночах": "Но уже импровизатор чувствовал *приближение бога*".

И бог этот говорит поэту: виждь, внемли и исполнись моею волею, — державною волею творчества, отрешившегося от всех житейских соображений, "немотствующего" перед земными кумирами. "Служенье муз не терпит суеты". "Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум". И так далее. То требование верховной, неограниченной свободы, которое Пушкин не уставал предъявлять для поэта.

Глупец кричит: "Куда? куда?
Дорога здесь!" — Но ты не слышишь,
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные...

Это не только право, это — обязанность поэта, и эту-то обязанность налагает на пророка-поэта его бог: "исполнись волею моей".

А дальше — самое непонятное и загадочное:

Глаголом жги сердца людей!

Что это значит? Что значит — "глаголом жечь сердца людей?" Ну, ясно: это значит — словами воспламенять сердца людей. Когда оратор или проповедник потрясает и воспламеняет сердца своих слушателей, то говорят, что он глаголом жжет сердца людей.

Но разве *жечь* — значит *воспламенять?*

Я проделал такой опыт: поэтов, беллетристов, публицистов и вообще людей, любящих русскую речь и вдумывающихся в нее, я просил ответить на такой вопрос:

— Что это значит: "своими словами вы мне жжете сердце"?

Точно употреблено пушкинское выражение, но по возможности замаскировано, чтобы не вспомнились пушкинский стих и зашаблоненное в нем понимание слова "жечь". У некоторых из опрошенных тем не менее явилась реминисценция пушкинского стиха, и они ответили: "это значит — глаголом жечь сердца людей". Такие ответы, конечно, не имели никакой ценности. Все же остальные ответы, без единого исключения, были приблизительно такого рода: "*Своими словами вы мне жжете сердце* — это

значит: своими словами вы мне *обжигаете* сердце, *мучаете* его, доставляете острое, как ожог, *страдание*". Это вполне понятно. На свежее восприятие иначе и невозможно понять пушкинские слова. Совсем в этом же указанном нами смысле сам Пушкин употребляет их и в другом случае. В черновиках к "Борису Годунову" читаем:

Как ласки их мне радостны бывали,
Как живо *жгли мне сердце* их обиды!

Жгли, то есть мучили, обжигали страданием.

Но какой же в таком случае смысл в этом обращении бога к пророку? Он предлагает ему — *обжигать, мучить* сердца людей? Ну да! Разве этим вносится что-нибудь новое в основное понимание Пушкиным существа поэзии и ее задач?

Нельзя требовать от поэзии какой бы то ни было пользы — хотя бы самой возвышенной, хотя бы "жжения сердец" "чистыми учениями любви и правды", хотя бы "смелых уроков" "любви к ближнему".

И толковала чернь тупая:
Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

И Сальери говорит о Моцарте:

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес к нам песен райских,
Чтоб, возбудив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь.
Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!

Итак, "глаголом жги сердца людей" — да, это значит: волнуй, мучай людские сердца, как своенравный чародей, обжигай душу чад праха бескрылым желанием улететь с крепко держащей их земли.

В вопросах политических, общественных, религиозных Пушкин был неустойчив, колебался, в разные периоды был себе противоположен. Эти все вопросы слишком глубоко не задевали

его. Но искусство — оно составляло саму душу Пушкина, им он жил, в нем для него был весь смысл его существования. И в основных вопросах искусства Пушкин не колебался, всегда был один и тот же. А самым основным вопросом для него был тут вопрос о державной самостоятельности искусства, о неслужебной его роли. Польза, даже самая возвышенная, представлялась Пушкину мелкой и ничтожной в сравнении с той огромной, сверкающей стихией, какую представляет из себя искусство. В 1825 году Пушкин писал Жуковскому: "Ты спрашиваешь, какая цель у "Цыганов"? Вот на! Цель поэзии — поэзия. Думы Рылеева и целят, а все невпопад". Через два-три года, в замечаниях на статью Вяземского об Озерове, Пушкин писал: "Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело. Господи Исусе! Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве их одна поэтическая сторона?" И в 1831 году в рецензии на Делорма он заявлял: "Поэзия, по своему высшему, свободному свойству, не должна иметь никакой цели, кроме самой себя". И в 1836 году ("Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности") он называет мелочною и ложною теорию, утвержденную старинными риторами, будто бы *польза* есть условие и цель изящной словесности.

Как с этим взглядом совместить пушкинского "Пророка" в обычном его понимании? Со своей точки зрения Овсянико-Куликовский был вполне прав, говоря: "Идея "Пророка", поскольку она сводится к страстному желанию "глаголом жечь сердца людей", именно "глаголом" *обличительной проповеди*, представляется нам, так сказать, не "натуральною", не "лично пушкинскою" идеею: это — идея "байроновская", "лермонтовская", "некрасовская", но не "пушкинская" (Соч., IV, 138). Ну конечно же. Что в этой "идее" пушкинского?

В свидетельство признания Пушкиным служебной роли искусства кроме "Пророка" приводят еще его "Памятник". На одной стороне — "Пророк" и "Памятник", а на другой — весь Пушкин со всеми многочисленными его высказываниями и в стихах, и в прозаических статьях, и в письмах.

Рассмотрим еще "Памятник".

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Если бы спросить кого-нибудь незнающего: чье это стихотворение, кто из русских поэтов мог бы так говорить о себе? — то всякий бы ответил: Рылеев, Некрасов, Никитин, ну, Надсон, П. Якубович. И уж самым последним назвал бы Пушкина, разве только раньше Фета.

Чувства добрые я лирой пробуждал.

Чрезвычайно затруднительно указать, где именно Пушкин пробуждает "добрые" чувства. Существо его глубоко благородной поэзии вовсе не в специально "добрых" чувствах.

В мой жестокий век восславил я свободу.

Это — в "Оде на вольность" и в "Кинжале"? Но ведь какой же это крохотный и неполноценный осколок в огромном пушкинском творчестве!

И милость к падшим призывал.

Если вы очень хорошо знаете Пушкина, то с некоторым напряжением памяти вспомните: да, да! В "Стансах" Пушкин призывал Николая I оказать милость декабристам:

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен;
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

И в этом Пушкин мог видеть существо своей поэзии, и в этом почитать свою заслугу!

Раньше четырехстишие это приводилось в качестве несомненнейшего доказательства приверженности Пушкина к тем "великим заветам", которые так характерны для русской литературы вообще. С. А. Венгеров, например, писал: "Сердито говорит Пушкин в одном из своих писем: "цель поэзии — поэзия". Но не говорит ли нам последний завет великого поэта, — его величественное стихотворение "Памятник" — о чем-то совсем ином? Какой другой можно из него сделать вывод, как не тот, что основная задача поэзии — возбуждение "чувств добрых?"*.

Однако теперь приходится встречать все больше признаний, что в стихах этих нельзя видеть полной самооценки поэта. П. Н. Сакулин в известной своей обстоятельной работе о "Памятнике" полагает, что разбираемая строфа говорит о значении поэзии Пушкина "в глазах прежде всего ближайшего потомства"**.

* Сочинения Пушкина. Изд-во Брокгауза-Ефрона. Т. IV, с. 45.
** Пушкин. Сб. первый. Изд-во Общ. люб. росс. слов. М., 1924, с. 60.

В прениях по поводу этого доклада Н. Л. Бродский отмечал, что "всего Пушкина мы тут не можем видеть. Пушкин неизмеримо шире и глубже того образа, который нарисован в "Памятнике" (*там же*, 260). Остроумно замечает Н. К. Пиксанов: "Термины, которыми определяет Пушкин дело поэта, — какие-то *периферийные*, — "восславление свободы", "милость к падшим", "чувства добрые", — это все можно отнести и на долю моралиста, политического деятеля, но это не является делом *поэта*" (*там же*, 259).

Но если так, то ведь нужно из этого сделать какие-то выводы. Пушкин, в сознании своих заслуг, подводит итог всей своей поэтической работе, предъявляет, так сказать, свои права на бессмертие — и указывает только на заслуги, за которые его будут ценить ближайшие потомки, на самые "периферийные" заслуги, в которых его легко мог бы побить и Рылеев, и Некрасов, и Никитин. Почему же он не говорит о том, в чем *сам* видит свои заслуги и существо своей поэзии? Не посмел? Однако он посмел сказать:"Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!" Почему же тут он не может или не хочет дать себе полную и глубокую оценку? Говорят: Пушкин был связан традицией, формою горациева и державинского "Памятника". Но и Гораций, и Державин полно и исчерпывающе перечисляют в своих стихах заслуги, дающие им, по их мнению, право на бессмертие. Традиция нисколько не мешала Пушкину сделать то же.

А затем — заключительная строфа "Памятника":

Веленью божию, о муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Поэт, в гордом сознании заслуг, говорит о своей посмертной славе в народе, и вдруг: "хвалу и клевету приемли равнодушно". При чем тут клевета? О ней ведь и речи не было. Зачем было с гордостью говорить о своей будущей всенародной славе, если поэт хочет относиться к ней равнодушно? "Не оспоривай глупца". В чем? Откуда вдруг этот глупец?

Загадочная, волнующая своею непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф.

Большую брешь в общепринятом понимании "Памятника" пробил М. О. Гершензон в своей статье о "Памятнике"*. Он в ней указывает на разительное несоответствие последней стро-

* Мудрость Пушкина. Кн-во писателей в Москве, 1919.

фы со смыслом всего стихотворения при обычном его толковании. И пишет дальше: В ”Памятнике” точно различены: 1) подлинная слава среди людей, понимающих поэзию, — а таковы преимущественно поэты: ”И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит”; и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава, известность: ”Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...” В строфе ”И долго буду тем любезен я народу” Пушкин говорит не от своего лица, —напротив, он излагает чужое, — мнение о себе народа. Эта строфа — не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит себе. Пушкин говорит: ”Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы! Она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы...” Всю жизнь поэт слышал от толпы требования ”сердца собратьев исправлять” и всю жизнь отвергал его; но, едва он умолкнет, толпа объяснит его творчество по-своему... Я утверждаю, — продолжает Гершензон, — что лишь при таком понимании первых четырех строф становится понятной пятая, последняя строфа ”Памятника”. Ее смысл — смирение перед обидой. Поэт как бы подавляет свой невольный вздох. Горька обида, — но таков роковой закон, — ”божье веленье”. Хвала толпы и клевета ее — одной цены: обе равно ничтожны. И не силься опровергать клевету, т. е. объяснить толпе ее ошибку. Пушкин в прежние годы не раз пытался ”оспоривать глупца” относительно подлинной ценности искусства, — теперь он признает эти попытки тщетными и ненужными”.

Во всем этом много верного, но чего-то окончательного не хватает. Очень натянутым кажется объяснение, что Пушкин предвидит два рода славы: подлинной — среди поэтов — и ”пошлой” — в народе.

Необходимо обратить внимание вот еще на какую странность. Стихотворение Пушкина по форме является подражанием горациеву ”exegi monumentum”* и ”Памятнику” Державина — особенно последнему. Державину Пушкин подражает неприкрыто, даже подчеркнуто. И у Пушкина, и у Державина — одинаковое количество строф, одинаковое количество строк в строфе. Первые три строфы начинаются у Пушкина совсем так, как

* ”я воздвиг памятник” *(лат.). — Примеч. сост.*

у Державина. Державин: "*Я памятник себе воздвиг* чудесный, вечный..." Пушкин: "*Я памятник себе воздвиг* нерукотворный..." Державин: "Так. *Весь я не умру...*" Пушкин: "Нет, *весь я не умру...*" Державин: *"Слух пройдет обо мне..."* У Пушкина в рукописи написано так же, а потом уже над "пройдет" написана цифра 2, а над "обо мне" — 1: "слух обо мне пройдет..." Ясно, что Пушкин как бы все время имел перед глазами стихотворение Державина.

Почему? Какой в этом был смысл? Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящем итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его словами? Было бы еще понятно, если бы нечто вроде "Памятника" написали, скажем, Шекспир, Гете или Байрон — мировые гении, высоко ценившиеся Пушкиным. Говоря о себе их словами, Пушкин как бы ставил этим себя рядом с ними, на один с ними уровень. Но — Державин! Вспомним, как отзывался о нем Пушкин еще в 1825 году в письме к Дельвигу: "Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, — ни даже о правилах стихосложения... Он не только не выдерживает *оды*, но не может выдержать и строфы... Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника... Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем. У Державина должно сохранить будет од восемь, да несколько отрывков, а прочие сжечь". Очень сомнительно, чтобы через одиннадцать лет мнение Пушкина об "этом чудаке" много изменилось в хорошую сторону. Бесспорно: в отличие от большинства новаторов в искусстве, Пушкин с уважением отзывался о своих литературных отцах и дедах; с большим уважением относился в общем и к Державину. Но очень трудно представить себе, чтобы Пушкин за такую уж большую честь считал для себя стоять в глазах потомства на одном уровне с Державиным.

Недавно мне довелось слышать "Памятник" Пушкина в исполнении декламаторши Эльги Каминской. Эльга Каминская исполняет стихотворение так: первые четыре строфы она произносит повышенно-торжественным, слегка даже напыщенным, чуть-чуть насмешливым тоном; потом пауза; и потом — почти полушепотом, глубоко интимным, как бы к себе обращенным голосом:

Веленью божию, о, муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.



Арина Родионовна.
Я. П. Серяков.
1840-е гг.



Михайловское. Вид на усадьбу.
П. А. Александров, с оригинала
И. С. Иванова. 1837



А. Н. Вульф.
А. И. Григорьев. 1828



А. П. Керн.
Неизвестный художник



П. В. Нащокин.
К. П. Мазер. 1839





Н. Н. Пушкина.
А. П. Брюллов.
Конец 1831 — начало 1832 г.



Е. Н. Гончарова.
Ж.-Б. Сабатье. 1838



А. Н. Гончарова.
Неизвестный художник.
Конец 1830 — начало 1840-х гг.

Пушкин, Крылов, Жуковский и Гнедич
в Летнем саду.
Г. Г. Чернецов. 1832



Слушаешь, — и вдруг встает ошеломляющая мысль: да не *пародия* ли все это стихотворение? Прославленное стихотворение, в котором Пушкин, "в горделивом сознании своих заслуг", дает себе должную оценку, отрывки из которого вырезываются на постаментах пушкинских памятников, — не пародия ли оно? Ясно выраженная, неприкрытая пародия на "Памятник" Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина.

Прочтите еще заключительную державинскую строфу и сравните ее с пушкинскою. У Державина последняя строфа — совсем в том же тоне, как все стихотворение.

О, муза! Возгордись заслугой справедливой
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.

Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это умения не хватило: ни к селу ни к городу приплел и клевету, и равнодушье, и глупца какого-то... Совершенно ясно: в заключительной строфе Пушкин *противопоставляет* свое отношение к славе отношению державинскому. Так и видишь, как Пушкин перечитывает самохвальные державинские строфы и как по губам его пробегает насмешка: "а что бы я написал, если бы захотел тоже *возгордиться заслугой?* Вот бы я что написал, вот бы какие заслуги приписал себе: чувства добрые пробуждал, восславил свободу и проч.". И потом гаснет на губах насмешка, глаза становятся глубоко серьезными: неужели поэта может серьезно тешить какая-то посмертная слава? Неужели он не понимает, что обида и венец, хвала и клевета — равноправные спутники славы, что они взаимно уничтожают друг друга, что не для славы творит поэт и что ему должно быть глубоко безразлично, что будет говорить о нем глупец?

Последняя строфа "Памятника" во многих возбуждала и продолжает возбуждать недоуменье. Некоторые откровенно сознаются, что просто не могут ее понять. П. Н. Сакулин в вышеуказанной статье толкует ее так: "Поэт, оторвав взор от перспектив далекого будущего, обращается к своему настоящему и делает по отношению к нему мудрый вывод: спокойно творить, не обращая внимания на суд современников (48)... Перед лицом будущего малозначительным представляется настоящее с его тревогами и обидами. В конце концов венцы присуждают не современники, а потомки (54)... Во второй половине тридцатых годов Пушкин поднялся на сионские высоты духа и оттуда созерцал жизнь

и людей (58)... "Памятник" — углубленная оценка творческой жизни sub specie aeternitatis*. Отрешившись от минутных интересов дня, вещим взором прозревает поэт будущее. Он — пред вратами вечности. Лучи бессмертия уже коснулись его творческого чела" (75).

Если не видеть, — по-моему, бьющего в глаза, — *контраста* между пятою строфою и первыми четырьмя, то единственным объяснением пятой строфы может быть объяснение, даваемое П. Н. Сакулиным. Но тогда совершенно непонятно, почему Пушкин, умеющий быть таким точным, не отметил в пятой строфе, что венца он не требует только от современников и что только их хвалу он приемлет равнодушно. А главное — какая же качественная разница между хвалою и клеветою современников и хвалою и клеветою потомства? Почему к первой славе Пушкин равнодушен, а ко второй неравнодушен? П. Н. Сакулин славу в потомстве рисует как нечто очень величественное — "врата вечности", "луч бессмертия". Почему она более величественна, чем слава прижизненная? Если "сионские высоты", на которые в последние годы поднялся Пушкин, заключались в ожидании признания его поэтических заслуг со стороны потомства, то, право же, эта "высота" — очень небольшой высоты!

П. Н. Сакулин приводит выдержки из стихотворений Пушкина — не случайно все из отроческих и юношеских, — в которых поэт мечтает о славе в потомстве. Между прочим, один черновой набросок, относящийся к 1823 году:

Быть может, этот стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть...
Exegi monumentum я
Воздвигнул памятник.

"В этом наброске, — замечает П. Н. Сакулин, — содержится прямое указание на идею "Памятника" (56).

Да, в молодые годы Пушкин мечтал о славе, он желал "печальный жребий свой прославить". Но чем дальше, тем все выше и выше поднимался Пушкин на "сионские высоты духа" — на высоты удивительного благородства, целомудренной простоты и глубокого равнодушия к славе. Вся жизнь его и все счастье были в творчестве. В поэтическое творчество он уходил от жизни, которой не умел творить и в которой не умел жить. И этот

* с точки зрения вечности *(лат.)*. — *Примеч. сост.*

творческий труд давал ему такое счастье, перед которым ненужной, суетной и смешной казалась всякая слава. В черновом наброске 1833 года читатели обращаются к поэту, видимо повторяя его слова:

"Вы нас морочите, — вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она, —
Зачем же пишете?" — Я? Для себя! — "За что же
Печатаете вы?" — Для денег. — "Ах, мой боже!
Как стыдно!" — Почему ж?..

И поэту Пушкин говорил:

Твой труд
Тебе награда. Им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

И еще говорил поэту:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе...

Вот те подлинные "сионские высоты духа", на которые все выше с каждым годом уходил созревший Пушкин.

Пушкин любил тонкую, еле уловимую пародию, которую бы простодушный читатель принимал за вещь, написанную вполне серьезно. Такою несомненною пародией является "Подражание Данту" ("И далее мы пошли..."). Пародию же, по-видимому, представляет и "Сцена из Фауста". Хорошо по этому поводу говорит Вас. Вас. Розанов: "Все "уклоняющееся" и "нарочное" Пушкин как-то инстинктивно обходил; прошел легкою иронией "нарочное" даже в *"Фаусте"* и в *Аде"* Данте, в столь мировых вещах. "Ну к чему столько", например, мрака и ужасов у флорентийского поэта? К чему эта задумчивость до чахотки у туманного немца:

И думал ты в такое время,
*Когда не думает никто**.

Такими же "нарочными", "уклоняющимися" должны были казаться Пушкину и пышные самовосхваления Державина. И на

* *Розанов В. В.* Возврат к Пушкину // Среди художников. СПб., 1914, с. 409.

его гордостный "Памятник" он ответил тонкою пародией своего "Памятника". А мы серьезнейшим образом видим тут какую-то "самооценку" Пушкина.

Пушкин — один из самых непонятных поэтов. "Ясный", "прозрачный" Пушкин... Эта кажущаяся ясность обманывает и не вызывает повелительного стремления вдуматься, углубиться в такие на вид легкие, в действительности же только обманно-прозрачные стихи. А сам Пушкин говорил:

Стихи неясные мои...

И еще говорил про себя:

Исполнен мыслями златыми,
Не понимаемый никем...

Пушкин настойчиво, — и в стихах, и в письмах, — твердил, что пишет он для себя, а печатает для денег. И это действительно было так: писал он для себя, потому что в творчестве для него было высшее и единственное счастье. И ему совсем было неважно, как будет понимать его стихи публика. Он, по-видимому, считал нужным доводить их лишь до той степени понятности, на которой они *для него самого*, для Пушкина, выражали то, что он хотел выразить. А поймут ли его другие, — до этого ему было мало дела.

1927

"Стихи неясные мои"

Пушкин писал для себя и очень мало заботился о том, поймет ли его публика и как поймет. Мне кажется, это необходимо всегда помнить при чтении Пушкина и читать его внимательнее, чем мы это обыкновенно делаем.

Как легко и поверхностно мы читаем Пушкина, показывает стихотворение его "Воспоминание" ("Когда для смертного умолкнет шумный день..."). Все дружно видят в этом стихотворении выражение какого-то раскаяния, каких-то угрызений совести, мучающих поэта. Разногласий на этот счет нет. Лев Толстой выделял "Воспоминание" из всех остальных стихов Пушкина и отзывался о нем с неизменным умилением; со смущением и почти с мистическим страхом писал о нем Василий Розанов; Анненков по поводу этого стихотворения говорит о "муках и слезах раскаяния"; Гершензон — о "пламенных признаниях, где Пушкин дал волю своему стыду и своему раскаянию"; Щеголев называет стихотворение "покаянным псалмом".

Вот в каком виде стихотворение было напечатано при жизни Пушкина:

Воспоминание

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В таком виде стихотворение действительно как будто изображает раскаяние. Прямо даже сказано: "угрызения". А раз угрызения, то ясно, что угрызения совести. Но ведь у Пушкина только — угрызения "змеи сердечной", под этим нельзя еще обязательно разуметь совесть. Если вчитаться в стихи, то как будто ряд неточностей: "Мечты кипят"; "Проклинаю и горько жалуюсь"; "Строк печальных не смываю", — печальных, а не позорных. Но, конечно, все это должно производить впечатление мелких придирок. В общем, ясно: поэт глубоко и горько раскаивается в том, как прожил жизнь.

В посмертных бумагах Пушкина нашлось окончание этого стихотворения. Оно было опубликовано еще Анненковым. И мне совершенно непонятно, как, зная все стихотворение, можно продолжать говорить, что в нем идет речь о каком-то моральном раскаянии.

Вот это окончание:

Я вижу в празднествах, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды.

И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые!
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах щастия и гроба.

В чем же, выходит, раскаивается Пушкин? В том, что он расточал время в праздности, в пирах, в безумстве свободы. Это понятно. Но дальше поэт "раскаивается", что годы его утрачены были "в неволе, в бедности, в чужих степях". Это же не от Пушкина зависело. Как можно раскаиваться в своей бедности или неволе? "Друзей предательский привет", "сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды". Во всем этом поэт является лицом страдающим, и никакого тут места не может быть раскаянию. Если понимать стихотворение как "покаянный псалом", то все оно представляется переполненным неточными и совершенно произвольными выражениями.

Совершенно ясно, что стихотворение нужно понимать не так. Пушкин здесь не раскаивается, что прожил свою жизнь неморально, а тяжко скорбит о том, как его жизнь прошла *неблагообразно*. При таком понимании каждое слово становится на свое место, становится вполне оправданным и необходимым. Да, "мечты кипят", — мечты о том, как жизнь могла бы быть прекрасна. Да, "проклинаю и горько жалуюсь", — жалуюсь на судьбу, наполнившую жизнь мраком и низменностью. И, конечно, — "строк печальных", а вовсе не позорных.

Стихотворение написано 19 мая 1828 года. Через неделю Пушкин пишет стихотворение "Дар напрасный, дар случайный", полное совсем того же настроения:

Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

"Воспоминание" — это не восстание совести, не горькое покаяние человека, стыдящегося неморальной своей жизни; это — тоска олимпийского бога, изгнанного за какую-то вину на землю, томящегося в тяжкой и темной земной жизни. И все тут одинаково тяжко: и отсутствие собственной нравственной высоты — праздность, неистовые пиры, разнузданность страстей; и нравственная низость кругом — предательство друзей, неотразимые обиды холодного света; и внешние тяготы, так унижаю-

щие душу, — неволя, бедность, вынужденные скитания по чужим степям. "И нет отрады мне"...

Замечательно, что круг явлений, заставляющих Пушкина так глубоко страдать, был для него точно определенный: к нему же он опять возвращается воспоминанием в 1835 году в стихотворении "Вновь я посетил":

Я еще
Был молод, но уже судьба
Меня борьбой неравной истомила;
Я был ожесточен! В уныньи часто
Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях;
О строгости заслуженных упреков;
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной, —
И горькие кипели в сердце чувства.

Как видим, все совершенно то же самое, что и в разбираемом стихотворении: *"о юности моей, утраченной в бесплодных испытаньях"* — "в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы"; *"О строгости заслуженных упреков"* — за годы, утраченные "в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы"; *"о дружбе, заплатившей мне обидой"* — "друзей предательский привет". "И горькие кипели в сердце чувства", — конечно, не чувство раскаяния, а чувства обиды, сожаления, ожесточения. "Проклинаю и горько жалуюсь".

Все стихотворение "Воспоминание" носит глубоко интимный характер. Как будто поэт вслух думает про себя, и мы с трудом улавливаем намеки на что-то нам неизвестное и во что поэт нисколько не заботится нас посвятить.

"И тихо предо мной встают два призрака младые, две тени милые, два данные судьбой мне ангела во дни былые". Кто это? Что это? Каким образом и за что они ему мстят? Что могут говорить мертвым языком о тайнах счастия и гроба? Да, о тайнах счастия. Раньше Пушкин написал: "о тайнах *вечности и* гроба", но потом вместо "вечности" поставил "щастия".

Всего вероятнее предположить, как все комментаторы и делают, что поэт имеет в виду призраки двух когда-то ему милых женщин. Но и в таком случае в призраках этих трудно видеть каких-то укоряющих ангелов-хранителей, мстящих поэту за его нравственное падение. Ни в поэзии, ни в жизни Пушкина мы почти не видим, чтобы какая-нибудь женщина имела на Пушкина глубокое нравственное влияние, поднимала бы его выше, будила бы его совесть. А. П. Керн пишет: "Живо воспринимая

добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекали внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное". Это наблюдение подтверждается и самою женитьбою Пушкина. Щеголев убедительно доказывает, что таинственною N. N., тою, которую Пушкин "не смел назвать" и которую он любил глубокою, чистою любовью, была Мария Раевская, жена декабриста Волконского, женщина редкой нравственной красоты. Пушкин преклонялся перед ее подвигом (см., напр., его посвящение к "Полтаве"). Однако, при воспоминании и об ней, Пушкина больше волнует не ее нравственная красота:

Одна была, — пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где шум чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.
Ах, мысль о той душе завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить.

"Сны поэзии" — вот что будит в нем воспоминание о любимой женщине. И к этому же, по-видимому, имеют отношение и два мстящие ангела "Воспоминания". В черновиках к стихотворению "Вновь я посетил", из которого я уж приводил цитату, поэт, после приведенной цитаты, продолжает:

И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной...
Но здесь меня таинственным щитом
...святым прощеньем осенила
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня...

И тот же образ — ангел...

Все это очень малопонятно. Но одно мне кажется совершенно несомненным: ни о каком "покаянии" в разбираемом стихотворении не может быть и речи.

Понять же подлинный смысл загадочного этого стихотворения мы сможем лишь в том случае, если удастся отыскать или

вскрыть биографическую его подоснову. Пушкин, повторяю, писал для себя и очень мало был озабочен, будем ли мы его понимать.

Исполнен мыслями златыми,
Не понимаемый никем...
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд
Тебе награда: им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

1927

В двух планах

(О творчестве Пушкина)

I

В "Невском альманахе" на 1829 год было помещено несколько картинок к шумевшему в то время "Евгению Онегину". Одна картинка изображала Татьяну за письмом к Онегину. Дебелая девица с лицом коровницы сидит на стуле в одной кисейно-прозрачной рубашке, спускающейся с плеча, и держит в руке кусок бумаги. Пушкин написал на эту картинку эпиграмму. Напечатать ее целиком не разрешила бы самая снисходительная цензура. Вот она с соответственными пропусками:

Пупок чернеет сквозь рубашку,
Наружу... — милый вид!
Татьяна мнет в руке бумажку,
Зане — живот у ней болит.
Она... поутру встала
При бледных месяца лучах
И на... изорвала,
Конечно, "Невский альманах".

Я не представляю себе человека, сколько-нибудь любящего Пушкина и его поэзию, который бы рассмеялся, прочитав эту эпиграмму. Как-никак тут задевается не только плохая картинка, но и сама Татьяна — один из самых прекрасных и целомудренных женских образов в нашей литературе. Это совсем то же, что для верующего, например, читать эпиграмму, где, по поводу плохого образа богоматери, в вульгарно-цинических выражениях описывались бы тело и разные интимные отправления богоматери.

Читаешь эту эпиграмму на Татьяну, и в негодовании хочется воскликнуть:

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля;
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери!

Но сейчас же приходит в голову: да ведь эпиграмму-то написал сам Пушкин, — создатель образа Татьяны! Что же это? Рафаэль с озорною улыбкою пририсовывает парикмахерские усы к прекраснейшей из своих мадонн, Данте на мотив похабной уличной песенки напевает суровые терцины вступления к "Аду"! И недоумевающая неловкость овладевает душой.

А потом еще соображаешь вот что: по какому случаю говорится у Пушкина о Рафаэле, Данте и презренных фиглярах? Вы помните? Моцарт шел к Сальери и, проходя мимо трактира, услышал, как слепой скрипач разыгрывает арию Моцарта. Потащил с собою старика к Сальери и приказывает ему сыграть что-нибудь из Моцарта. Старик играет, Моцарт хохочет. Сальери с негодованием спрашивает: "И ты смеяться можешь?" А Моцарт ему: "Ах, Сальери! Ужель и сам ты не смеешься?" Вот тут-то Сальери и говорит о негодных малярах и фиглярах презренных. Сейчас же вслед за этим Моцарт играет Сальери недавно сочиненную им пьесу. Сальери слушает пораженный.

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя!

Это, значит, не случайно было у Пушкина, он это рисует в Моцарте, как нечто и для того характерное. Художник — "недостоин сам себя"; недостоин тех высоких произведений, которые он создает. В жизни он — один, в творчестве — совсем другой. Пушкин настойчиво и упорно отмечает эту характерную двойственность, отличающую поэта.

Пока не требует поэта
К священной жертве: Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол...

И так далее. В "Египетских ночах" Чарский посещает в трактирном номере итальянца-импровизатора. Сейчас этот итальянец — вдохновенный поэт с гордо поднятою головою, изумляющий и трогающий. И сейчас же вслед за этим — мелкий торгаш, вызывающий отвращение своею дикою жадностью. И эпиграф к этой главе: "Я царь, я раб, я червь, я бог".

Конечно, так уверенно утверждая это положение о двух ипостасях поэта — жизненной и художественной, — Пушкин черпал его из собственного опыта. Действительно, его изучая, мы, как от очков с разными стеклами, все время видим какой-то двоящийся образ, от которого режет в глазах и ломит в висках.

Как слить в одно этот двойной образ?

II

Уолт Уитмен говорит:

"В твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты зол или пошл, это не укроется ни от кого. Если ты любишь, чтоб во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник или низменно смотришь на женщину, это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь".

В общем это несомненно верно — и верно, конечно, обо всяком художнике, не только о художнике слова. Его характер, темперамент, вся его внутренняя сущность полностью отражаются в его художественном творчестве. Папа Лев X, например, говорил об одном крупном художнике Возрождения: "Я боюсь его, он ужасен, он нагоняет на людей страх, его совершенно нельзя выдержать!" Нам совсем не нужно знать биографий художников того времени, нам достаточно быть знакомыми с их художественными произведениями, чтобы с полною уверенностью сказать: Лев X имеет здесь в виду не Боттичелли, не Рафаэля, не Леонардо да Винчи, а, конечно, — Микеланджело.

Достоевский в одном письме пишет о современном ему беллетристе: "...джентльмен с душою чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого бог, будто на смех, одарил блестящим талантом". Не приходится гадать, кого тут имеет в виду Достоевский, не нужно знать ничьей биографии, чтобы, на основании одних лишь художественных произведений писателя, сказать с тою же уверенностью: речь идет, конечно, о Гончарове. Непосредственно из их произведений перед нами живьем встают и мягкий, безвольный, фатоватый Тургенев, и вечно резонерству-

ющий, полный черноземной силищи Лев Толстой, и бледноликий Достоевский с горящими глазами, с распадающеюся на части душою.

И совсем слова Уитмена неприложимы к Пушкину. Уже современники Пушкина отмечали это странное отсутствие его личности в художественных его произведениях. Гоголь писал в "Выбранных местах из переписки с друзьями" (XXXI): "При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого... Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков — удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер, как человека!"

И правда. Кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот составил бы об его личности самое неправильное и фантастическое представление.

В поэзии Пушкина: какая гармоническая уравновешенность, какое отсутствие всякой бурности и страстности, какая просветленная, величавая "атараксия"!

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей.

Если бы мы заранее не знали жизни Пушкина, мы были бы изумлены, узнав, что в жизни это был человек, совершенно лишенный способности стать выше страсти, что страсти крутили и трепали его душу, как вихрь легкую соломинку. Непосредственного отражения этого бурного кипения стастей мы нигде не находим в поэзии Пушкина.

Последние полгода его жизни. Пушкин захлебывается в волнах непрерывного бешенства, злобы, ревности, отчаяния. Никаких не видно выходов, зверь затравлен, и впереди только одно — замаскированное самоубийство. И никакого отражения этого состояния мы не находим в поэзии Пушкина того времени. "Молитва", "Когда за городом задумчив я брожу", "Памятник", "На статуи", "19 октября 1836 г.", "Пора, мой друг, пора" — все спокойные, величавые произведения, полные душевной тишины или светлой печали. Можно себе представить, как бы прорвалось душевное состояние, подобное пушкинскому, у поэта однопланного, у которого поэзия является непосредственным отражением его душевных переживаний, — например, у Байрона!

У Пушкина прямо поражает бьющее в глаза несоответствие между его жизненными переживаниями и отражениями их в его поэзии. Какие настроения владели поэтом в такую-то эпоху его жизни? Казалось бы, чего проще? Изучить поэтические его про-

изведения за эту эпоху, — и мы будем иметь полную картину его жизненных переживаний. Таким простым путем (к сожалению, и до сих пор многие пушкинисты ходят этим путем) мы никогда не придем к познанию подлинных переживаний и настроений Пушкина в жизни. Внимательные исследователи и наблюдатели постоянно отмечают это несовпадение жизненных и поэтических настроений Пушкина, эту его "двухпланность".

П. В. Анненков пишет о бешеном кишиневском периоде жизни Пушкина: "Если бы судить о Пушкине по изящным, чистым произведениям лирического характера, выданным им с 1821 по 1823 г., то никому бы не пришло в голову, что они написаны в самую бурную эпоху его жизни, в период пыла и порывов, "Sturm und Drang", какой немногие изживали на веку своем"*. Н. М. Смирнов сообщает о годах ссыльной жизни Пушкина в селе Михайловском: "В эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных произведений, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния"**.

Или вот — осенью 1830 года Пушкин, уже женихом Гончаровой, уехал в нижегородскую свою деревню Болдино для устройства имущественных своих дел. Думал пробыть месяц — пробыл три; разразилась холера, карантины отрезали его от Москвы. Письма от невесты приходят неправильно, "дрожайший" папаша сообщает сплетни, что она выходит за другого. Пушкин волнуется, мечется, три раза пытается прорваться в Москву, но неудачно. Эти три месяца вынужденного уединения были для Пушкина временем колоссальной художественной производительности. И во всех многочисленных этих произведениях — никакого отражения тех чувств, которые так напряженно и ярко кипят в его письмах того времени! Как будто и нет никакой Гончаровой, нет по поводу ее ни сомнений, ни беспокойства, ни порываний. Мало того. Перед Пушкиным неотступно стоит обольстительный призрак какой-то давно умершей его возлюбленной, и он страстно тянется к ней всем своим существом и воспевает ее в целом ряде стихотворений ("Заклинание" "Для берегов отчизны").

В своей статье "Об автобиографичности Пушкина" я привел много фактов, показывающих, что в *жизни* нередко данное лицо или событие вызывали у Пушкина впечатление диаметрально противоположное тому, какое он отображал позднее в поэтической переработке. Отсылая интересующегося читателя к указанной статье, приведу здесь только два-три примера.

* Пушкин в александровскую эпоху, с. 212.
** Русск. архив. 1883. II, с. 331.

В письме к Дельвигу, описывая свое посещение Бахчисарайского фонтана, Пушкин рассказывает, что он приехал в Бахчисарай больной лихорадкою, испытал большую досаду при виде небрежения, в котором истлевает ханский дворец, а прославленный фонтан описывает так: "вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода". В своем же стихотворении к фонтану Бахчисарайского дворца Пушкин описывает "немолчный говор" этого фонтана, сообщает, что его серебряная пыль кропила его "росою хладной" и что он внимал его журчанию с большой отрадой.

В июле 1825 года Пушкин виделся в Тригорском с Анной Петровной Керн. Это была веселая барынька, не весьма строгих нравов. И до этой встречи, в письмах к ее сожителю Родзянке, Пушкин отзывался о г-же Керн весьма игриво, и после встречи писал ей письма самого домогательно-страстного характера, и в письмах к друзьям называл ее "вавилонскою блудницею". А во время этой встречи Пушкин вручил ей знаменитое стихотворение "Я помню чудное мгновенье", где эту самую "вавилонскую блудницу" восторженно величал "гением чистой красоты".

В сентябре 1835 года Пушкин писал жене из Михайловского: "Около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу". А в стихотворении "Опять на родине" впечатление от этой же молодой поросли — знаменитое приветствование идущей на смену молодой жизни: "Здравствуй, племя младое, незнакомое!.."

Рядом с "бесстрастием" пушкинской поэзии идет столь же для нее характерная чистота. Имею в виду зрелые его произведения, после "Бахчисарайского фонтана". Ни одной самой легкой фривольности. В очаровании высокой целомудренности и чистоты стоит перед нами созданный Пушкиным образ Татьяны. Пушкин пишет такие удивительные вещи, как "Когда в объятия мои" и особенно "Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем".

Стихотворения, по-видимому, обращены к его жене. Вот второе из них:

> Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
> Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
> Стенаньем, криками вакханки молодой,
> Когда, виясь в моих объятиях змеей,
> Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
> Она торопит миг последних содроганий.

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле, —
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

В сущности, перед нами подробнейшее, чисто физиологическое описание полового акта. А между тем читаешь — и изумляешься: "какое произошло волшебство, что грязное неприличие, голая физиология претворились в такую чистую, глубоко целомудренную красоту?" П. И. Бартенев рассказывал Н. О. Лернеру, что, когда он прочитал это стихотворение С. Т. Аксакову, Аксаков побледнел от восторга и воскликнул: "Боже, *как* он об *этом* рассказал!"*

А между тем вот что писал Пушкин своей приятельнице Е. М. Хитрово: "Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, — это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Хотите, чтоб я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские"**. Тут есть, может быть, некоторое озорное преувеличение. Однако все, знавшие Пушкина, дружно свидетельствуют об исключительном цинизме, отличавшем его отношение к женщинам, — цинизме, поражавшем даже в то достаточно циничное время.

Молодой приятель Пушкина, Алексей Вульф, пишет в своем дневнике: "Молодую красавицу вчера начал я знакомить с техническими терминами любви: потом, по методе Мефистофеля (Пушкина), надо ее воображение занять сладострастными картинами; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, кто им питать может их, и теряет ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности"***. Это относится к середине двадцатых годов. Весною 1829 года С. Т. Аксаков писал С. П. Шевыреву: "С неделю назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что Миц-

* Соч. Пушкина. Изд-во Брокгауза — Ефрона. Т. VI, с. 426.
** Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Ленинград: Изд-во Академии наук СССР. 1927, с. 139.
*** Пушкин и его современники. XXI—XXII, с. 141.

кевич два раза принужден был сказать: "Господа! Порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!"* А вот рассказ князя Павла Вяземского, относящийся уже к 1836 году, то есть к последнему году жизни Пушкина; Вяземскому было тогда 16 лет. "В это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а итти вперед нагло, без оглядки, чтоб заставить женщин уважать вас"**.

И таков Пушкин во всех проявлениях. В жизни — суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до безумия ослепляемый страстью. В поэзии — серьезный, несравненно мудрый и ослепительно светлый, — "весь выше мира и страстей".

Это поразительное несоответствие между живою личностью поэта и ее отражением в его творчестве, эта странная двойственность Пушкина отмечалась уже давно и не раз. В 1890 году, во время открытия памятника Пушкину в Москве, Ив. С. Аксаков говорил в своей речи: "Пушкин представляет в себе удивительное, феноменальное и глубоко трагическое сочетание двух самых противоположных типов, как *человека* и как *художника:* знойный африканский темперамент и чисто русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развивавшееся; страстность *природы* и воздержность колорита в *поэзии*; самообладание мастера, неизменно строгое соблюдение художественной меры; легкомыслие, ветреность, кипение крови, необузданная чувственность в жизни — и в то же время серьезность и важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот целомудренного искусства. Он сам сильнее всех сознавал в себе эту двойственность (стихотворение "Пока не требует поэта"). Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих, божественных даров в те минуты, когда сознавал свое "ничтожество"?***

Это все верно. Мне только кажется, что Аксаков ошибается, думая, будто Пушкин трагически переживал разлад между жизнью и поэзией. В дальнейшем изложении мы увидим, что для Пушкина тут не было решительно никакой трагедии. И более

* Русск. архив, 1878, II, 50.
** Собр. соч., с. 546.
*** Русск. архив, 1880, II, с. 478.

прав Владимир Соловьев, говоря так: "Возвращаясь к жизни, Пушкин сейчас же переставал верить в пережитое озарение. Те видения и чувства, которые возникали в нем по поводу известных лиц или событий и составляли содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тяготился такою бессвязностью, такою непроходимою пропастью между поэзией и житейскою практикою... Он с полною ясностью отмечал противоречие, но как-то легко с ним мирился. Резкий разлад между творческими и житейскими мотивами казался ему чем-то окончательным и бесповоротным, не оскорбляя его нравственного слуха... Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением жизни в поэзию, а для самой текущей жизни, для житейской практики, оставались только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом. Такое раздвоение между поэзией, то есть жизнью, творчески просветленною, и жизнью действительною или практическою, иногда бывает поразительно у Пушкина"*.

Но при этом необходимо подчеркнуть вот что. Конечно, не откуда-то сверху, не с каких-нибудь мистических высот спускалось на поэта озарение, так высоко поднимавшее его душу над жизнью. Данные для этого озарения лежали в его собственном подсознании. Но в обычное время соответственные настроения переживались Пушкиным как бы в полусне, смутно и недейственно, и только в состоянии вдохновения властно завладевали всею его душою. Под поверхностным слоем густого мусора в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи. Это доказала его смерть. Вырванная из темной обыденности, душа его вдруг засияла ослепительным светом, всех изумляя своим благородством и величавой простотою.

III

Насчет одного, кажется, все согласны — это насчет удивительной душевной гармоничности и жизнерадостности Пушкина. В. Д. Спасович пишет: "Пушкин был по преимуществу веселый человек, весь — жизнь, весь — радость"**. Д. Н. Овсянико-Куликовский: "Пушкин — один из самых жизнера-

* Судьба Пушкина // Владимир Соловьев. Собр. соч. Т. VIII, с. 32, 34, 36.

** *Спасович В. Д.* Сочинения. Т. I. СПб., 1889. Речь о Пушкине 31 января 1887 г., с. 210.

достных поэтов мира", он обладал "природной, неодолимой жизнерадостностью"*. Д. С. Мережковский говорит о "необычайной бодрости, ясности его духа, никогда не изменявшей ему жизнерадостности... Пушкин — самый светлый, самый жизнерадостный из новых гениев"**. И так дальше без конца.

Нет ничего ошибочнее такого взгляда на Пушкина. Все знавшие его отмечают его закатистый, веселый, заражающий смех. Художник Брюллов отзывался: "Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны!" Но знаменитый смех Пушкина — это того рода смех, о котором Ницше сказал: "Человек страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное, — по справедливости, и самое веселое".

Л. П. Павлищев сообщает со слов своей матери, сестры Пушкина: "Переходы от порывов веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обусловливалось, по словам его сестры, нервною раздражительностью в высшей степени. Нервы его ходили всегда, как на шарнирах"***. Барон Е. Ф. Розен пишет: "Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти; чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему не надобно было причины, нужна была только придирка к смеху! В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и как будто бы ему самому при этом невесело на душе"****. В этом отношении очень ценно сообщение Ксенофонта Полевого — оно внушает особенное доверие потому, что автор приводит мнение о себе Пушкина с большим недоумением и решительно с ним не соглашается. "Я сказал Пушкину, — рассказывает Полевой, — что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его — грустный, меланхолический, и если иногда он бывает в веселом расположении, то редко и ненадолго. Мне кажется и теперь, что он ошибался, так определяя свой характер"*****.

Так определял Пушкин свой характер не только в беседе с Кс. Полевым. В письме к В. П. Зубкову от 1 декабря 1826 года он пишет: "Мой нрав — неровный, ревнивый, обидчивый, раз-

* Собр. соч. Т. IV, 134, 135.
** Полн. собр. соч. 1914. Т. XVIII, 100, 103.
*** "Воспоминания о Пушкине", с. 156.
**** "Ссылка на мертвых". "Сын отечества". 1847, кн. 6, отд. III, с. 27.
***** "Записки" Кс. Полевого, с. 276.

дражительный и, вместе с тем, слабый". В другом письме Пушкин пишет: "Я мнителен и хандрлив (каково словечко?)". Пересмотрите с этой точки зрения письма Пушкина. Вечный, неизменный лейтмотив: скука, скука; тоска, тоска... "Я сегодня зол". "Если бы знал ты, как часто бываю я подвержен так называемой хандре". "Скучно, моя радость, вот припев моей жизни". Скучно на юге, скучно в Михайловском. Тоска в Петербурге, тоска в Москве. Цитировать можно до бесконечности. И рядом с этим — пара бессменных "жизнерадостных" цитат, удостоверяющих несокрушимое жизнелюбие Пушкина: письмо его к Плетневу от 22 июля 1831 года: "Опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры..." — и письмо к Нащокину в октябре 1835 года о том, как хорошо жить нехолостяком, окруженным шумящею молодою порослью.

Возражают: эти нерадостные настроения Пушкина вызывались тяжелыми обстоятельствами, в которых он находился. Но жизнерадостность не в том, чтобы радоваться жизни в моменты счастья. В жизни самого несчастливого человека бывают дни и недели, когда вдруг судьба осыплет его радостью, окружит блеском солнца, сверкающею зеленью, влюбленными девичьими улыбками. В эти минуты быть жизнерадостным немудрено: таковы у Пушкина были, например, недели, проведенные осенью 1820 года в Гурзуфе. Жизнерадостность в том, чтобы силою своею жизненности одолевать всякое горе, всякую тоску и скуку, чтобы ударам судьбы противопоставлять ту "могучую стойкость", которою были сильны древние эллины и выразители их духа — Гомер и Архилох. Архилох говорит:

Но и от зол неизбывных богами нам послано средство.
 Стойкость могучая, друг, — вот этот божеский дар.
То одного, то другого судьба поражает. Сегодня
 С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде.
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
 Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.

Лев Толстой рассказывает про Пьера Безухова, отражающего истинно жизнелюбивую душу самого Толстого: пленный Пьер "испытывал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек. И именно в это самое время от получил то спокойствие и довольствие собой, к которым он тщетно стремился прежде... Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни... В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом

своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом. Но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину, — он узнал, что на свете нет ничего страшного".

Вот — истинное жизнелюбие, силою своею жизненности преодолевающее все страхи, тяготы и мелочи жизни, умеющее прозревать радостное существо жизни сквозь толщу всех ее уродств и неустройств. У Пушкина этого не было. Он беспомощно бился в захлестывавших его мелочах, эти мелочи заслоняли от него жизнь и растрепывали душу, он вечно мечется, вечно раздражен и растерян. "У меня голова кругом идет" — выражение, то и дело встречающееся в письмах. Жуковский писал после смерти Пушкина: "Жизнь Пушкина была мучительная, — тем более мучительная, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные". Нигде в жизни Пушкина мы не видим и не чувствуем веяния живой жизни, торжествующего биения силы жизни, умиряющей и гармонизирующей кипящий вокруг человека и в нем самом жизненный хаос.

Так было у Пушкина в жизни. Но и в художестве его мы встречаем очень мало жизнерадостности. И здесь еще страннее слышать эти вечные характеристики Пушкина как поэта легкой и светлой радости жизни.

"Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?" "Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я". "День каждый, каждую годину привык я думой провожать, грядущей смерти годовщину меж них стараясь угадать". "Жизни мышья беготня..." "Холодный ключ забвенья, — он слаще всех жар сердце утолит". "И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет", и так дальше до бесконечности. И в противовес этому опять-таки — две-три бессменно-дежурных цитатки, знаменующих жизнелюбие Пушкина. В конце шестой песни "Евгения Онегина":

так и быть, простимся дружно,
О, юность легкая моя!
Благодарю тебя. Тобою
Среди тревог и в тишине
Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь,
От жизни прошлой отдохнуть.

Это — в последних строфах шестой песни. Но уже в начале седьмой песни, всего через два-три месяца после написания приведенных жизнелюбивых строк, поэт спрашивал:

Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу, мертвую давно,
И все ей кажется темно?

Потом еще, конечно: "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать". Вот, кажется, и все, что говорит о несокрушимом жизнелюбии Пушкина. Какие затруднения приходится преодолевать критику, конструирующему "жизнерадостность" Пушкина, показывает курьезная статья Р. И. Иванова-Разумника об "Евгении Онегине". Это — не случайная газетная статейка, — она помещена в виде введения к "Онегину" в фундаментальном издании Пушкина Брокгауза — Ефрона и бережно перепечатана автором в собрании его сочинений.

"Мир должен быть принят нами во всей его полноте, — пишет Иванов-Разумник. — Выше всего стоит, над всеми царит ясная, солнечная, радостная ж и з н ь, не имеющая объективного смысла, но великая в своей субъективной ценности: вот постоянный "пафос" поэзии Пушкина, ее вечная сущность"*. Статья Иванова-Разумника представляет любопытный образчик чисто *гипнотического* способа убеждения читателя. Доказательства, им приводимые, поразительно неубедительны, но автор настойчиво повторяет и повторяет: "В Пушкине победила сама жизнь, радостное чувство красоты ее, признание не ценности в *ней*, а ценности *ее самой по себе*". "Полнота бытия и его напряженность — величайшая субъективная цель жизни человека — вот глубокая стихийная мудрость Пушкина, вот бессознательная философия "Евгения Онегина" и т. д. И от этого назойливого повторения у читателя, наконец, начинает складываться впечатление, что Пушкин, действительно, горел в своей поэзии этим "пафосом жизни". Если, однако, не поддаваясь внушению автора, мы вглядимся в его доводы, то будем поражены их убожеством. Чего-чего он ни выколупывает из Пушкина, чтоб только обосновать свое утверждение! Одним из краеугольных камней воздвигаемого им здания являются стихи, которые Ленский пишет перед дуэлью:

Прав судьбы закон.
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.

* Сочинения. V, 106.

"В такие формы, — замечает Иванов-Разумник, — вылилось ясное, простое и величавое в своей простоте отношение поэта к "мировому злу"; это была не надуманная теория, это было врожденное мировосчувствование, стихийная мудрость ясного эллинского отношения к миру". Да, вот именно, — "в такие формы"! "Так он писал, *темно и вяло*", — отзывается Пушкин о стихах Ленского. И в этих-то "темных и вялых" стихах Пушкин и вылил свое задушевнейшее и глубочайшее мироотношение! Не нашел более подходящего случая, где его высказать.

Впрочем, это еще что! Слушайте дальше.

"Быть может, лучшей характеристикой сущности всей стихийной мудрости Пушкина является одна из строк довольно слабой переделки Ф. Клюшниковым* стихотворения "26 мая 1828 года":

Жизнь для жизни мне дана..."

Вот. Строка третьестепенного поэта из слабой переделки пушкинского стихотворения, служащая лучшею характеристикою всей стихийной мудрости Пушкина! Стишок Нестора Кукольника, резюмирующий Шекспира, фраза из романа Михайлова-Шеллера, подводящая итоги Достоевскому!

Иван-Разумник спешит прибавить:

"И сам Пушкин почти буквально этими же словами высказал свою мысль в послании "К вельможе":

Ты понял жизни цель; счастливый человек,
Для жизни ты живешь..."

Если "почти буквально", так отчего было просто не привести самого Пушкина, зачем было в первую голову тревожить жиденькую тень Ивана Клюшникова? Оттого, что слова Пушкина в последней цитате имеют очень узкий смысл. Это сразу стало бы очевидным, если бы автор продолжил цитату:

Свой долгий, ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил...
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.
И т. д.

* Почему Ф. Клюшниковым? Стихотворения свои Клюшников подписывал буквой фитой, но звали его Иван Петрович.

Словом — легковесная философия анакреонтизма и вульгарного эпикурейства, характеризующая душевный строй вельможи, сына восемнадцатого века. Вот почему и пришлось нашему критику на первом месте поставить стишок Клюшникова.

Помните ли вы, далее, глубоко пессимистические заключительные строфы "Онегина" о счастье того, кто рано оставил праздник жизни? Настроение, чрезвычайно характерное для упадочного человека. Подпольный человек Достоевского пишет: "Дольше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Только дураки и негодяи живут дольше сорока лет". И Иван Карамазов говорит: "...уж как припал я к кубку жизни, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! Впрочем, к тридцати годам, наверно, брошу кубок, хоть и не допью его всего, и отойду... сам не знаю, куда". В том-то и сказывается настоящий "пафос жизни", настоящая "полнота бытия", что человек не рассчитывает боязливо своих сил на короткий срок, что во всех стадиях своей жизни умеет находить красоту и полноту. И эту-то глубоко жизнеотрицательную заключительную строфу "Онегина" Р. И. Иванов-Разумник ухитряется использовать также в качестве доказательства солнечного жизнелюбия Пушкина.

"Исполненные прозрачной грусти последние строки романа заключают созвучным аккордом эту стихийную мудрость поэта. Не в объективных целях бога или природы смысл жизни, не в продолжительности переживаний цель человека, а в полноте и яркости этих переживаний и в их силе, разнообразии, стройности; и не тот мудр и счастлив, кто, подобно гончаровскому Штольцу (и самому Гончарову), считает нормальным назначением человека "прожить... четыре возраста и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно", а тот, кто жил всеми сторонами души, всей полнотой бытия — и не дожил до ужасной старости Штольца-Гончарова; тот счастлив и блажен,

кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим..."*

Но ведь есть не только старость Штольца и Гончарова. Есть старость летописца Пимена, старого цыгана из "Цыган", старость Льва Толстого, Гете. Гете писал Гегелю: "Я всегда радуюсь

* Сочинения. Т. V, с. 113.

вашему расположению ко мне, как одному из прекраснейших цветов все более развивающейся весны моей души". Гете в это время было семьдесят пять лет. В 1898 году Лев Толстой записывает в дневнике: "Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это — не воображение, а ясно сознаваемая, как тепло, холод, перемена души, переход от путаницы, страдания, к ясности и спокойствию. Как будто выросли крылья".

Вот как воспринимается старость истинным жизнелюбием, вот как и сама старость может увеличивать и углублять истинную "полноту бытия".

IV

Пушкин пишет в одном письме: "Чорт меня догадал думать о счастье, — как будто я для него создан!"

Однако было одно счастье, несомненное и прочное, которое Пушкин знал хорошо и о котором он с удивительным постоянством, нигде себе не противореча, твердит с юных лет до смерти. Это счастье — счастье ухода от живой жизни в мир светлой мечты. Уже пятнадцати-шестнадцати лет он пишет, обращаясь к фантазии: "Что было бы со мною, богиня, без тебя?" ("К сестре", 1814). И взывает ко сну: "Веди меня ко щастью забвения тропой!" ("Городок", 1814).

Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум... обманом,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом.

("Мечтателю", 1815)

В мечтах все радости земные:
Судьбы всемощнее поэт.

("Послание к Юдину", 1815)

Где мир, одной мечте послушный?
Мне настоящий опустел.

("Окно", 1816)

Так было в отрочестве. И так всю жизнь. В эпилоге к "Руслану" Пушкин пишет:

Я пел — и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,

Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов.
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной...

Очень характерно черновое стихотворение 1821 г. "Не тем горжусь": поэт гордится не силою своего таланта и действием его на людей, не общественными своими заслугами в борьбе со злобою и тиранами, не славою своею:

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена:
Самолюбивых дум отрада,
Мечтанья суетного сна.

Вариант:

До гроба щастие отныне
Мечтанья неземного сна.

В 1829 году:

О, нет, мне жизнь не надоела...
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья...

"Вы, призрак жизни неземной, вы, сны поэзии святой..." Самое в них ценное, — что они дают забвение окружающей реальной жизни. "И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем..." "Я с вами знал все, что завидно для поэта: забвенье жизни в бурях света..." В "Египетских ночах" Пушкин рассказывает про поэта Чарского, образу которого им придан ярко выраженный автобиографический характер: "Чарский признавался искренним своим друзьям, что только во время писания он и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь".

Творчество, искусство — это для Пушкина единственная сила, способная питать душу поэта и не дать ей задохнуться в грубой, пошлой и по самому своему существу чуждой поэту стихии жизни:

А ты, младое вдохновенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Князь П. А. Вяземский рассказывает про Пушкина: "При нем, в нем глубоко таилась охранительная и спасительная сила. Эта сила была любовь к труду, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался"*. И П. В. Анненков сообщает: "Трудно себе и представить, каким орудием нравственного спасения было для Пушкина чистое творчество, указывая ему самому настоящие качества его ума и сердца. Пушкин перерождался нравственно, когда приступал к созданию своих произведений. Дух его как-то внезапно светлел и устраивался по-праздничному, возвышаясь над всем, что его сдерживало, томило и угнетало. Самые подробности жизни, тяготевшие над его умом, разрешались в тонкие поэтические намеки и черты, сообщавшие произведению, так сказать, запах и окраску действительности"**. "Только в искусстве, — говорит он же в другом месте, — находил Пушкин благотворное разрешение противоречий собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собою и сознавал себя в высоком нравственном значении"***.

О таком действии творчества на его душу сам Пушкин рассказывает в черновых набросках, служащих продолжением "Трех сосен":

Я был ожесточен...
И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Прощение святое осенило.
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня...

V

Ницше говорит: "Что кто-нибудь представляет из себя по существу, — начинает обнаруживаться, когда его талант убывает, — когда человек перестает показывать, что он *может*. Талант — тоже наряд; наряд — тоже прикрытие". Если мы представим себе других наших крупных художников лишен-

* Полн. собр. соч. II, 372.
** Пушкин в александровскую эпоху, с. 211.
*** Материалы для биографии Пушкина. Изд. 2-е, с. 179.

ными таланта, то у большинства из них останется и еще что-то, что выделяло бы их из обывательской толпы. Мы легко можем представить себе Лермонтова, родись он лет на десять раньше, неслучайным декабристом, Гоголя можем представить себе фанатическим монахом-аскетом, Толстого — религиозным сектантом вроде Сютаева, Достоевского — старцем-схимником типа Амвросия. Но что являл бы из себя в таком случае Пушкин? Всего вероятнее, вот что:

Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей...

Для большинства других наших художников искусство не было ценностью, стоящею неизмеримо выше всяких других ценностей. Толстой и Гоголь отрекались под конец жизни от художества во имя высших для них религиозных и моральных ценностей; мы легко можем представить себе, что за настоящую, детски чистую веру в бога Достоевский с радостью отказался бы от писательства. Глеб Успенский свой чудесный талант размотал на публицистику, Короленко из-за общественности остался великим писателем без великих произведений, Некрасов вправе был сказать о себе:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Мне поэзия мешала быть бойцом.

Но Пушкин — Пушкин своего права художественного творчества не отдал бы ни за что, — ни за бога, ни за народ, ни за какие блага мира.

Но если подлинная жизнь, подлинное горение души возможно только в творчестве, в поэзии, в уходе в мир светлой мечты, то какое же другое может быть отношение к реальной жизни, как не пренебрежительное и глубоко равнодушное?

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии. Но нет, тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

Это пренебрежение к "низкой жизни", в понимании Пушкина, лежит в самом существе художника. И этим объясняется "двупланность" Пушкина, его двойственность, поразительное

несовпадение его творчества с его жизнью и, вопреки мнению Ивана Аксакова, полное отсутствие всякого трагизма от этого несовпадения. Вся жизнь, живая жизнь, — где-то там, глубоко внизу, и как смеет она требовать какого-то вмешательства в себя от этих головокружительных высот искусства?

Моцарт у Пушкина говорит: "Гений и злодейство — две вещи несовместные". И чувствуется, что и для самого Пушкина это — несомненнейшая аксиома. Но почему гений и злодейство несовместимы? Будем даже говорить об одних художественных гениях, которых, конечно, тут преимущественно имеет в виду Пушкин. Почему художественный гений не может совершить злодейства? Мы легко можем представить себе злодеями Архилоха, например, или Бенвенуто Челлини. Легенда настойчиво приписывает Достоевскому одно мрачное злодейство, и мы никак не можем сказать, чтоб оно совершенно было несовместимо с его гением. Почему же Пушкин так непоколебимо уверен, что гений и злодейство несовместимы? Не потому, как обычно толкуют, что гений обязательно соединяется в человеке с нравственной высотой, — это совершенно неверно, и гений нередко бывает в жизни форменным дрянцом. Несовместимы для Пушкина две указанные стихии потому, что злодейство тоже есть *жизненное творчество*. М. П. Погодин приводит в своем дневнике такие слова Пушкина: "Разве на злодеях нет печати силы, воли, крепости, которые отличают их от обыкновенных преступников?"* Вот в чем дело. На "пакости" (как Пушкин сам называл некоторые свои стихотворные выходки), — на пакости гений способен сколько угодно. Но на злодейство он неспособен потому, что для этого потребна энергия, внимание к жизни, вкладывание в нее своих сил, одним словом, забота о "нуждах низкой жизни". Но раз это так, то, может быть... гений и *подвиг* — тоже две вещи несовместные? Сальери не гений, потому что способен на злодейство. Но, может быть, и Рылеев не гений потому, что способен — на подвиг? Конечно.

Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, — полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

---

* Пушкин и его современники. XIX—XX, 92.

Все житейские волнения — и корысти, и битвы, и злодейства, и подвиги — все это одинаково только подметание сора, до которого поэту нет и не может быть никакого дела.

Поэт тоже знает "волнение", но это волнение совсем другого рода:

И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье...

Пушкин пишет слепцу-поэту Козлову:

Певец! Когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.
О, милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им.
Чудесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь...

Такой "новый мир", полный "светлых привидений", непрерывно творит и сам Пушкин в своей поэзии. Необычайный, своеобразный мир. Все в нем как будто просто, обыкновенно — как будто наш обычный земной мир: весь реальный Пушкин тут, лирика такая автобиографическая, все его знакомые, друзья, возлюбленные, все местности, которые легко найти на географической карте. Все как будто то — и в то же время совсем не то. "Перед этими картинами жизни и природы бледна и жизнь, и природа", — замечает Белинский. И Гоголь говорит: "Не вошла туда нагишом растрепанная действительность. Чистота и безыскусственность взошли тут на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною".

Пушкин хватает жизнь, в творческом порыве выносит ее в другой план и там все — радость и скорбь, прозу и грязь — преображает в божественную красоту. И "вавилонская блудница" Керн превращается в "гения чистой красоты", лисица Филарет — в серафима, арфе которого внемлет поэт в священном ужасе — в подлиннейшем священном ужасе. И брюзгливое раздражение при виде молодой сосновой поросли преображается в светлое приветствование молодой жизни, идущей на смену старой. И вся темная, низменная жизнь с ее скукою, унынием

и безнадежностью озаряется солнечным светом, и все становится одинаково прекрасным. "Мне грустно и легко; печаль моя светла". Самые безнадежные настроения начинают светиться этим светом, и вот люди начинают говорить о "солнечном жизнелюбии" Пушкина, о приятии им всех темных сторон жизни...

VI

Поэзия Пушкина — это поистине самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа. Чрезвычайно в этом отношении интересно наблюдение процесса пушкинского творчества. Поэт с жизненных низин, как по ступенькам, с каждой стадией своей работы поднимается все выше и выше на эти вершины благородства, целомудрия и ясности духа.

П. И. Бартенев пишет по поводу стихотворения Пушкина на смерть Наполеона (1821): "Можно смело утверждать, что нигде в Европе, ни тогда, ни долго после, не было сказано о Наполеоне ничего лучшего и благороднейшего. Надо припомнить, что Пушкину в этом случае предстояла особенная трудность. Кто не писал о Наполеоне, кто не клял его памяти?"* Изучение черновика этого стихотворения дает вот что. "В первоначальной редакции, — пишет П. О. Морозов, — еще обильно рассеяны укоризненные эпитеты: "губитель", "преступник", "страшилище вселенной", "безумец" и пр., так часто повторявшиеся в произведениях русских стихотворцев 10-х годов минувшего века; но тут же внесены уже и смягчающие поправки: "страшилище" заменено "изгнанником"; "гордый", "грозный" ум обратился в "дивный"; наконец, укор развенчанной тени объявляется "безумным малодушием": "он пал, — умолкни, глас укора! Велик и падший великан". С каждой новой строфой, с каждой новой поправкой риторическое осуждение уступает место примирению, и в окончательной редакции из всех порицательных выражений остаются только "надменный" и "тиран" да указанье на презрение Наполеона к человечеству"**.

И заканчивается стихотворение так:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

* Пушкин в южной России. Изд. 2-е, с. 88.
** Академич. изд. соч. Пушкина, т. III, примечания, с. 353.

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Еще более интересна история постепенного углубления и облагорожения темы в процессе творческой работы, которую мы наблюдаем в черновиках стихотворения Пушкина "Жил на свете рыцарь бедный"*. Первоначально это было длинное стихотворение, где рассказывалось о том, как рыцарь влюбился в изображение девы Марии и стал равнодушен ко всем женщинам, как перестал молиться отцу, сыну и святому духу и целые ночи проводил перед образом богоматери, как отправился в Палестину:

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он, будто заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он.
Между тем, как он кончался,
Бес лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Утащить он в свой предел.
Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа.
Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

Своеобразная история полового извращения, известного под именем фетишизма, наблюдавшегося нередко в самых разнообразных формах во времена аскетического средневековья. И своеобразное освещение этой истории, выдержанное Пушкиным совершенно в духе того же средневековья. Такова была тема, и таково исполнение в первоначальном замысле. Но постепенно образ бедного рыцаря все больше растет, светлеет, облагораживается, болезненные извращения отпадают, и в окончательной редакции перед нами — восторженный и смелый духом мечтатель, "полный чистою любовью, верный сладостной мечте".

В черновиках Пушкина, в набросках его первоначальных замыслов мы иногда наталкиваемся на странные низины, на

* См.: Неизданный Пушкин. Изд-во "Атеней", 1922, с. 113; Творческая история под ред. Н. К. Пиксанова. М. 1927; *Фрид Г. Н.* История романса Пушкина о бедном рыцаре, с. 92 и сл.

стоячие темные болотца, совершенно неожиданные для Пушкина и говорящие, что первоначальные, так сказать, жизненные его настроения, соответствовавшие начальным стадиям творчества, не бывали лишены настроений вполне упадочного характера.

В одном черновом наброске, относящемся к 1823 году*, поэт пишет:

Придет ужасный миг, — твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почиют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой...
Лампада бледная твой бледный труп осветит...
Коснусь я хладных ног, к себе (обняв) их на колени
Сложу и буду ждать... Чего?
Чтоб силою мечтанья моего
У ног твоих...

До жути странные, совершенно некрофильские настроения. И это не единичное место. В 1826 году Пушкин пишет монолог князя, идущего лунною ночью на свидание с русалкою, — может быть, первоначальный набросок "Русалки"**:

Дыханья нет из бледных уст, — но сколь
Пронзительно сих влажных, синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья —
Томительно и сладко — в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается — тогда
Какой-то хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томленьем и любовью замирая,
И в этот миг я рад оставить жизнь —
Хочу стонать и пить ее лобзанья...

Совершенно бодлеровские настроения... И нет, конечно, никакого сомнения, что, не брось Пушкин этих первоначальных замыслов, возьмись он за их дальнейшую обработку — и не осталось бы следа от всего этого декадентства и перед нами были бы стихотворения, полные обычной для Пушкина ясности духа и нетревожной целомудренности.

---

* Академич. изд. соч. Пушкина. Т. III. Примеч., с. 353.
** Академич. изд. соч. Пушкина. Т. IV, с. 221.

VII

Подлинная, глубокая и ясная жизнь — в этом мире светлой красоты, высокого душевного благородства и незатемняемого страстью сознания. И вдруг откуда-то далеко снизу, из того, другого плана, назойливые, требовательные вопросы:

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит, чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна.
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

Как дико, как чуждо должны звучать эти вопросы для "сына небес", окруженного беспредельною, сверкающею стихией красоты, упоенно внимающего "хору светлых привидений".

Цель? Польза? При чем тут цель? Какой тут может быть разговор о пользе? "Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?" "Чадам праха", лишенным счастья жить на высотах, этот светлый мир может только "волновать, мучить сердца", возмущать душу "бескрылым желаньем". Учить их? Давать им "смелые уроки"? Это совсем не дело поэта. А вот его дело: "глаголом жги сердца людей!"*.

Все это делает вполне понятным и заслуживающим полнейшего доверия столь часто встречающееся у Пушкина утверждение, что пишет он исключительно для самого себя.

На это скажут мне с улыбкою неверной:
"Смотрите, — вы поэт уклонный, лицемерный.
Вы нас морочите. Вам слава не нужна.
Смешной и суетной вам кажется она:
Зачем же пишете?" — Я? для себя! — "За что же
Печатаете вы?" — Для денег. — "Ах, мой боже!
Как стыдно!" — Почему ж?..

И это все время упорно твердит Пушкин. "Твой труд тебе награда, им ты дышишь, а плод его бросаешь ты толпе, рабыне суеты". "Ты царь. Живи один" и т. д. и т. д. Что́ поклонение, всеобщее признание, слава, всевозможные памятники, рукотворные и нерукотворные?

---

* См. выше: "Пушкин и польза искусства".

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена;
До гроба щастие отныне —
Мечтанья неземного сна.

Это, конечно, вовсе не значит, что Пушкин в жизни относился к славе и поклонению с полнейшим равнодушием, — он мог раздражаться на отрицательные о себе отзывы, мог самолюбиво замыкаться в себе, наблюдая всеобщее охлаждение читательской публики. Но все это происходило там, в низшем плане, в плане реальной жизни. В верхнем плане, в плане творчества, это был "смешной и суетный" вздор, на который и взгляда-то не хотелось бросить со своих высот.

Мир "светлых привидений", в котором живет поэт, как будто является отрицанием нашего низменного, земного мира. Однако он в то же время весь целиком коренится именно в этом нашем мире, — совсем так же, как жизнь эллинских божеств.

Перед нами не какой-нибудь романтический потусторонний мир, обесценивающий нашу землю, как, например, у Лермонтова: "И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли". Нет, это наш мир, земной мир, но только уярченный, просветленный, облегченный, — та гомеровская "легчайшая жизнь" — "rheiste biote", — которою живут эллинские боги. Она-то грезится Пушкину, она властно постулируется его сознанием как необходимая принадлежность самого бессмертия.

Конечно, дух бессмертен мой!
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне станет мир земной?
Ужели там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенства бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя?
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...
Любви! Но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой, —
Что без нее душа моя?

(1822 г.)

И там, за могилой, поэту нужен этот, земной мир, — и вот даже до каких мелочей: "Мой дух к Юрзуфу прилетит". И Пушкин заключает это стихотворение, в черновом своем виде гораздо более глубокое и интимное, чем в напечатанном при его жизни отрывке, — так:

Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы!
Зачем не верить вам, поэты?

Поэт пристально вглядывается в жизнь и сквозь грубую ее оболочку как будто прозревает утонченную ее сущность, лишенную "несовершенств бытия". Есть у Пушкина черновой набросок: "Лишь розы увядают, амвросией дыша..." Основной черновик набросан Пушкиным на французском языке, и он гораздо тоньше и художественнее, чем последующий русский набросок. Беспорядочно написаны стихи и отдельные слова (набросок опубликован в академическом издании сочинений Пушкина, т. IV, примечания, с. 284). Привожу их в размещении Брюсова (Соч. Пушкина под ред. Брюсова, Гос. изд. 1920, с. 255) с поправками и дополнениями по тексту академического издания:

Quand la rose soudain a terminé sa vie
Au front du convive, au banquet...
Soudain ce détachant de sa tige natale,
Comme un leger soupir, sa douce âme s'exhale
Dans les aires... voltige...
Aux rives d'Elysée ses manes parfumés
Fleurissent...
Charment du doux Léthé les bords inanimés...

(Когда роза внезапно оканчивает свою жизнь на челе гостя, на пиршестве... Внезапно, отделяясь от родного стебля, как легкий вздох, испаряется ее нежная душа... Порхает в воздухе... На берегах Элисия ее благоуханная тень цветет... чарует безжизненные берега Леты...)

Своеобразный мир "светлых привидений", светящихся "теней", включающий в себе тончайший экстракт жизни. М. О. Гершензон в своей статье "Тень Пушкина" указывает, как часто употребляет Пушкин это слово "тень", какой реальный, объективный смысл он вкладывает в это слово. Гершензон думает, что Пушкин, умозаключая из данных опыта, отрицал загробную жизнь, но, умозаключая из потребностей воли, признавал ее, — и именно в виде существования "тени", тесно связанной

с существом нашей земной жизни. Эти выводы Гершензона недоказательны и совершенно произвольны. У нас нет решительно никаких данных, чтобы утверждать что-нибудь о подлинной вере Пушкина в его "тени". Однако пускай нет веры в их реальность. Творческим сознанием поэта они все время ощущаются, перед глазами поэта все время — эта просветленная, невыразимо прекрасная жизнь, —

Где чистый пламень сожигает
Несовершенство бытия, —

такая, как будто наша, земная, и в то же время так непохожая на темную нашу жизнь.

И что должен был испытывать поэт, спускаясь с этих "таинственных вершин" в низины реальной жизни, наблюдая себя и всех кругом в их отталкивающей, темной конкретности?

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью...

В этом стихотворении "Воспоминание" обычно видят какой-то "покаянный псалом", выражение морального какого-то раскаяния. Но это совсем не так. Стихи эти — тоска олимпийского бога, изгнанного за какой-то проступок с неба на темную землю и рвущегося мечтой к лучезарной своей родине (см. выше статью "Стихи неясные мои").

VIII

В этом верхнем плане, в этом мире "светлых привидений", творимом для себя художником, все — благо, все — красота и свет. И чем больше в нем переживается разнообразнейших чувств, тем этот мир разнообразнее, многоцветнее. Любимое название Пушкина в критических статьях было: Протей — мифическое божество, каждую минуту принимавшее новый вид, совсем непохожий на прежний. И шевелится вопрос: да случайность ли это, что мы до сих пор не можем найти у Пушкина центра, основного нерва его жизнеотношения — того, что Чехов называет "богом живого человека"? Случайность ли, что каждый исследователь может найти у Пушкина решительно все, чего ему хочется? Был ли у Пушкина этот центр?

Куда ж нам плыть? Какие берега
Мы посетим? Египет колоссальный,
Скалы Шотландии иль вечные снега?

Не все ли равно? В том, верхнем плане все чувства, все переживания одинаково светозарны и одинаково приемлемы для души. Повторять ли умиленно с отцами-пустынниками и женами непорочными православную молитву Ефрема Сирина, метаться ли с протестантским "Странником" в неизбывном ужасе перед своею греховностью, созерцать ли с Данте в католическом аду муки грешников, увенчиваться ли розами на эллинском пиру вместе с Ксенофаном, какая разница? Все одинаково ярко и сильно переживается творческою душою поэта в том верхнем, творческом плане. Но переживалось ли это вправду и человеком в нашем, жизненном плане?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

И что тут вообще *не* минутно? Заметим, кстати, что сам Пушкин непременным признаком истинного вдохновения считал "движение минутного, вольного чувства" (рецензия на Делорма, 1831 г.). И в "Египетских ночах" он рассказывает: "Пылкие стихи — выражение мгновенного чувства — стройно вылетали из уст его".

Настойчиво и страстно Пушкин всю жизнь отстаивал свободу поэта:

ветру и орлу,
И сердцу девы нет закона.
Гордись! Таков и ты, поэт,
И для тебя закона нет.
Глупец кричит: "куда? куда?
Дорога здесь!" Но ты не слышишь.
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд —
Тебе награда, им ты дышишь...

Мы теперь как будто давно уже отказались от роли этих глупцов, указывающих дорогу художнику; мы не так узки, чтобы непременно требовать от поэта непосредственного гражданского служения. Но мы не в состоянии себе представить, как можно не требовать от художника выявления его мирочувствования, выявления правды жизни, которою он живет. А Пушкин, может быть, и на эти наши требования ответит: "Подите прочь! Я поэт, и для меня нет закона. Предоставьте мне отзываться на впечатления жизни самым фантастическим образом, как того требует мой своенравный гений, и не ждите от меня какой-то правды жизни. Может быть, ее у меня совсем нет, а может быть, и есть, да не про вас!"

Моя точка зрения на творчество Пушкина в некоторых существенных пунктах совпадает со взглядом на его творчество Белинского в его "пушкинских статьях". Белинский пишет:

"Пафос, разлитый в полноте творческой деятельности поэта, есть ключ к его личности и к его поэзии. Первой задачей критика должна быть разгадка, в чем состоит пафос произведений поэта". И пафос пушкинской поэзии Белинский определяет так: "Пушкин созерцал природу и действительность под особенным углом зрения, и этот угол был исключительно поэтический... Он не знал мук блаженства, какие бывают последствием страстно-деятельного (а не только созерцательного) увлечения живой, могучей мысли, в жертву которой приносится и жизнь, и талант. В истории, как и в природе, он видел только мотивы для своих творческих концепций... Чем совершеннее становился Пушкин как художник, тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний... Пафос его поэзии был чисто артистический, художнический... Пушкин был по преимуществу поэт-художник и больше ничем не мог быть по своей натуре" (пятая статья).

Ницше в своей книге "О происхождении трагедии" вот что говорит о жизнечувствовании древних эллинов. Древний эллин, по мнению Ницше, всегда знал и испытывал страхи и ужасы бытия, ему всегда была близка страшная мудрость о преимуществе небытия перед бытием. Как согласуется светлый мир олимпийских божеств с этою зловещею мудростью? Так же, как восхитительные видения истязуемого мученика — с его страданиями. Чтобы вообще быть в состоянии жить, эллин должен был заслонить себя от ужасов бытия промежуточным художественным миром — лучезарными призраками олимпийцев. Та "гармония" древнего эллина, на которую мы смотрим с такою завистью, вовсе не была простою цельностью и уравновешенностью духа. Гармония гомеровского эллина обусловливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, она — цветок, выросший из мрачной пропасти.

Ницшевское истолкование мирочувствования древнего эллина глубоко неверно. Силою, обусловливавшею приятие жизни и жизнерадостность древнего (дотрагического) эллина, была не сила иллюзии, не сила художественного творчества, а с и л а ж и з н и (подробно об этом см. мою книгу: "Аполлон и Дионис. О Ницше", "Живая жизнь", часть вторая). Но ницшевское изображение своеобразного процесса художественного "приятия жизни", симулирующего здоровую жизнерадостность и бодрость духа, удивительно приложимо в отношении к Пушкину. У Пуш-

кина мы наблюдаем не жадную влюбленность в грубую, реальную живую жизнь, как у Гомера и вообще дотрагического эллина, как у Гете, Льва Толстого, Рабиндраната Тагора, Уолта Уитмена. Пушкин не умел жить среди живой жизни и любить ее, он от нее спасался в мир "светлых привидений". Гармония Пушкина именно обусловливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, поэзия его именно была цветком, выросшим из мрачной пропасти*.

Такое понимание поэзии Пушкина, может быть, окажется более согласующимся и с социальными корнями его творчества.

1928

Таврическая звезда

Редеет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине.
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройно тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис.
И сладостно шумят полуденные волны:
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Первоначально элегия носила название "Таврическая звезда". Она написана Пушкиным в Каменке, на берегу р. Тясмина, в ноябре—декабре 1820 года. В ней он вспоминает свое пребывание на Южном берегу Крыма, в Гурзуфе, где он был в августе—сентябре того же 1820 года. "Дева юная" — очевидно, одна из барышень Раевских, в семье которых жил Пушкин в Гурзуфе. Вечерняя звезда — очевидно, планета Венера. Девуш-

---

* Очень интересен и своеобразен взгляд на Пушкина недавно умершего Ф. К. Сологуба. Незадолго до смерти, 8 сентября 1927 г., он писал мне о Пушкине: "Быть может, нам еще рано разделываться с блистательным, но лживым гением, лукаво совершившим большое, но пародийное дело: попытка создать легенду об императорско-помещичьей России, которую он сам ненавидел, и покрыть лживым блеском природу и жизнь, которые были для него безнадежно пусты, но о которых он находил такие превосходные слова".

ка называет ее подругам "своим именем". Что это значит? Очевидно, имя девушки находится в каком-то отношении к названию вечерней звезды. Если бы удалось с несомненностью выяснить это отношение, то стало бы известно, какую именно из сестер Раевских имеет в виду элегия.

П. К. Губер доказывает, что поэт имел в виду Елену Раевскую: "Существовал древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской, и сестры Раевские могли знать об этом из какой-нибудь французской мифологической книжки. Кроме того, им мог рассказать это сам Пушкин, еще с лицейских уроков, вероятно, помнивший горацианскую строчку "...fratres Helenae lumina sidera"*.

Б. М. Соколов полагает, что элегия имела в виду Марию Раевскую. "Через И. Н. Розанова мы узнали, — пишет он, — что Вячеслав Ив. Иванов, толкуя в руководимом им пушкинском семинарии это стихотворение, объяснил, что в католическом мире Венера носит, между прочим, название "звезды Марии"**. Объяснение В. И. Иванова передано здесь не совсем точно. От М. О. Гершензона я слышал, что Вяч. Ив. Иванов толкует разбираемое место так: в средневековых католических гимнах дева Мария называется stella maris (звезда моря), а stella maris было название планеты Венеры. Мне такое объяснение представлялось слишком ученым и громоздким: ну где было знать Пушкину и девицам Раевским, как называли деву Марию средневековые католические гимны? Однако веское подтверждение мнению Вяч. Ив. Иванова мы находим в черновике пушкинского "Акафиста К. Н. Карамзиной":

Святой Владычице,
Звезде морей, Небесной Деве***.

Значит, Пушкину было известно название девы Марии — stella maris. Но эта элегия вызывает еще целый ряд вопросов и недоумений. На первый взгляд астрономическая картина в элегии вполне ясна: в Каменке Пушкин смотрит на Венеру, вечернюю звезду, и вспоминает, как два-три месяца назад любовался ею в Крыму, на вечернем же небе. Однако в то время, когда Пушкин жил в Гурзуфе, Венера была не вечернею, а утреннею звездою. Об этом сообщает сам Пушкин в "Странствиях Онегина" (XIV):

---

* Пушкин и графиня Н. В. Кочубей // Русское прошлое. 1923. № 2, с. 113. Ср. его же книжку: Дон-Жуанский список Пушкина. Пгр., 1923, с. 77.

В переводе Н. Гинцбурга приведенная горацианская строчка звучит так: "...лучи братьев Елены — звезд" *(лат.)*. — *Примеч. сост.*

** Княгиня Мария Волконская и Пушкин. Изд-во "Задруги", 1922, с. 23.

*** Пушкин и его современники. Вып. XV, с. 31.

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете *утренней Киприды,*
Как вас впервой увидел я...

Так оно в то время и было: в августе — сентябре месяце 1820 года по справке Н. Н. Кузнецова*, Венера действительно была утреннею звездою. На утреннем же небе Венера была еще видима и через три-четыре месяца, в пору пребывания Пушкина в Каменке.

Н. Н. Кузнецов рисует себе дело так: в Гурзуфе Пушкин наблюдал Венеру по утрам, в Каменке какую-то яркую звезду, сиявшую на вечернем небе, он принял за "знакомое светило" — Венеру. В действительности это мог быть либо Сатурн, находившийся в 1820 году в созвездии Рыб, либо — что вероятнее — Юпитер, стоявший в созвездии Водолея. В ноябре—декабре месяце обе планеты, конечно, должны были сиять вечером на западе. "Таким образом, — заключает Н. Н. Кузнецов, — Пушкин, хотя и ошибся, приняв Юпитера за Венеру, но все же проявил незаурядную наблюдательность, признав в случайно проглянувшей из-за облаков звезде планету.

Н. Н. Кузнецов недостаточно внимательно вчитался в пушкинскую элегию: "знакомое светило" и в Крыму было перед глазами Пушкина вечером, "когда на хижины сходила ночи тень".

Значит, и в Крыму, и в Каменке Пушкин наблюдал какую-то вечернюю звезду в то время, как Венера была утреннею звездою. Но какая же звезда, кроме Венеры, может сиять на вечернем западе непрерывно в течение трех-четырех месяцев? Из неподвижных звезд — ни одна: надвигаясь день за днем на солнце, она за три-четыре месяца давно бы уже потонула в солнечном сиянии. То же самое нужно сказать и о двух планетах, упоминаемых Н. Н. Кузнецовым: Сатурн и Юпитер движутся по небу слишком медленно и не могут в течение трех-четырех месяцев отложить по зодиаку такой длинный путь, чтоб удержаться в положении вечерней звезды. Кроме Венеры, нет ни одной подходящей — ни планеты, ни звезды.

Можно бы возразить: здесь у Пушкина — поэтическая вольность, он писал о вечерней звезде, совсем не имея в виду ни хронологии, ни астрономической точности. Позволительно ли

---

* Н. Н. Кузнецов: "Вечерняя звезда в одном стихотворении Пушкина" — "Мироведение". Известия Русск. общ. любителей мироведения, т. XII, № 1 (44), апрель 1923 г., с. 87—90.

идти по следам тех пушкинианцев, которые каждое поэтическое слово Пушкина принимают за точнейшую фактическую правду? Однако как раз в данном случае такое отношение является совершенно правильным: в трех последних стихах элегии было сообщение о каком-то вполне конкретном факте — Пушкин не хотел опубликовывать этих трех стихов и пришел в великое негодование, когда Бестужев опубликовл элегию целиком, — Пушкин боялся, как бы девушка по конкретному указанию заключительных стихов не догадалась, что речь идет о ней. В стихах же этих именно и говорится о вечерней звезде, о том, как девушка называла ее своим именем. А Венеры-то как раз в то время на вечернем небе и не было.

Что же это была за звезда? В элегии есть одна, обычно незамечаемая деталь, которая может помочь ответить на вопрос. Пушкин говорит: "я помню твой *восход*, знакомое светило...". Значит, звезда эта, во время пребывания Пушкина в Гурзуфе, по вечерам только *восходила*. Лишнее, между прочим, доказательство, что речь идет не о Венере: Венера ближе к солнцу, чем земля, и вечером, как известно, нельзя наблюдать ее восхода, — она после заката солнца загорается на западе.

Таким образом, в окончательном виде картина получается следующая. В ноябре — декабре 1820 года в Каменке Пушкин высоко на западе наблюдает "вечернюю звезду", настолько яркую, что луч ее способен серебрить воды речного залива. Три-четыре месяца назад, в августе — сентябре, когда Пушкин жил в Гурзуфе, эта же звезда восходила по вечерам на востоке.

Что это за звезда? Ответ едва ли может теперь представить какую-либо трудность. Конечно, Юпитер. По яркости он следует непосредственно за Венерой. В 1820 году, как указано выше, он находился в февральском зодиакальном созвездии Водолея, значит, в ноябре — декабре стоял вечером на западе (23 ноября заход Юпитера — около полуночи, 13 декабря — в 10 часов 31 минуту веч., — см. вышеуказанную статью Н. Н. Кузнецова). В августе — сентябре того же года Юпитер должен был находиться на противоположной солнцу стороне и вечером восходить на востоке из-за высокого хребта Аюдага.

Остается вопрос: знал ли Пушкин, что его вечерняя звезда — не Венера? Конечно, знал: в "Странствиях Онегина" он определенно говорит об "утренней Киприде". А в таком случае загадка последнего стиха элегии, — "именем своим подругам называла", — остается неразрешенной. Разгадки нужно искать не среди названий Венеры, а среди названий Юпитера.

1925

Крепостной роман Пушкина

П. Е. Щеголев занимает, бесспорно, первое место среди современных пушкинистов. Есть пушкинисты, не менее его изучившие до мельчайших подробностей все, касающееся Пушкина и его окружения. Но нет равного Щеголеву по научной трезвости мысли, по критичности подхода к исследуемым фактам, по суровости отношения ко всякому фантазированию, по обоснованности обобщений. Если он высказывает гипотезу, то она настолько обставляется у него фактами и доказательствами, что сама становится почти научным фактом. Таково его исследование об "утаенной любви" Пушкина, такова его классическая работа о дуэли и смерти Пушкина. Нельзя было достаточно высоко оценить Щеголева особенно за самые методы его исследования, просто одним своим применением в прах побивавшие бесплодное и беспочвенное фантазирование на пушкинские темы в стиле покойного Гершензона или здравствующего Ходасевича. Вполне понятно поэтому, что вопрос, за который брался Щеголев, обыкновенно оставался после него исчерпанным и решенным, не требующим пересмотра.

Тем большее разочарование приходится испытать, читая последнее исследование П. Е. Щеголева о "крепостной любви" Пушкина *("Пушкин и мужики", "Новый мир", 1927, № 10)*. Не узнаешь прежнего Щеголева. Крайняя методологическая неряшливость, самый откровенный импрессионизм, натянутое перетолковывание фактов в угоду создаваемой гипотезе, притягивание за волосы цитат из пушкинских стихов, самое безудержное фантазирование — все эти приемы, так сурово обличаемые строгими работами Щеголева, самым пышным цветом цветут в последней работе самого Щеголева.

Основой пушкинского крепостного романа, о котором повествует Щеголев, служат два известных сообщения: рассказ Пущина об его посещении Пушкина в сельце Михайловском и переписка Пушкина с князем Вяземским о "живой грамоте".

Пущин, описывая свое посещение Пушкина, между прочим рассказывает: "Мы вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным его положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ниче-

го больше не нужно было; я в свою очередь моргнул ему, и все было понятно без всяких слов".

Это было 11 января 1825 года. А в начале мая 1826 года Пушкин сконфуженно писал князю Вяземскому в Москву: "Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве". В следующем письме он спрашивал Вяземского: "Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?"

Опираясь на эти два сообщения, Щеголев пытается реконструировать трогательный роман, разыгравшийся на лоне деревенской жизни между Пушкиным и "милой и доброй крестьянской девушкой, склонившейся над пяльцами". Роман этот, по мнению Щеголева, не исчерпывался одним физиологическим моментом, и его никак нельзя характеризовать как легкое увлечение. Это была крепкая и хорошая любовь, наложившая благотворный отпечаток на всю жизнь Пушкина в Михайловской ссылке. "Молодая крестьянская девушка, — пишет Щеголев, — оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина, хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове. Создание Бориса Годунова предполагает особенные условия творчества: спокойное, удовлетворенное состояние духа, устранение мелких, раздражающих моментов и в области интимной спокойное чувство любви, находящей ответное удовлетворение... Перед нами две чашки весов. Бросьте на одну все тригорские романы с помещичьими дочками и племянницами, а на другую — вот этот крестьянский роман, это сожительство барина с крестьянкой. Боюсь, что тригорская чашка пойдет быстро вверх. Михайловский роман прочнее, здоровее, в нем больше земли".

Рассмотрим доводы, на которых Щеголев основывает такое свое трактование деревенского увлечения Пушкина.

Щеголев пишет: "Против легкого характера увлечения Пушкина говорит самая длительность связи. Начальный момент романа, по свидетельству Пущина, падает на январь 1825 года и только в мае следующего года Пушкин отпускает или отсылает девушку в период беременности, еще незаметной для окружающих... Итак, год с лишним тянулась связь барина с крестьянкой, и никак нельзя характеризовать ее, как легкое увлечение".

Но откуда же Щеголев знает, что в рассказе Пущина и в переписке Пушкина с Вяземским речь идет об одной и той же девушке? Это требуется еще доказать, а Щеголев уже приводит

это в качестве главнейшего доказательства своей гипотезы. Нет решительно никаких данных, говорящих за то, что это была одна и та же девушка. И, во всяком случае, совершенно неверно, что в рассказе Пущина описывается начальная стадия романа. Перечитайте еще раз рассказ Пущина: "Я тотчас заметил между швеями одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений... Я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было, я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понято без всяких слов".

В толковании Щеголева остается совершенно непонятным, — чем привлекла к себе внимание Пущина "фигурка" одной из швей? Почему привлекла внимание именно фигурка, а не лицо? Какие "заключения" делает Пущин, глядя на девушку, почему боится "оскорбить" Пушкина своею догадкою? Что такое было понято без всяких слов? Ясно, что девушка *была беременна*. Замужние женщины обычно уже не работали с дворовыми девушками, и вполне естественно, что фигурка беременной девушки привлекла внимание Пущина и вполне естественна была его догадка. И он взглядом спросил Пушкина: "Что, брат, твое дело?" И Пушкин в ответ улыбнулся значительно: "мое". Дело происходило 11 января 1825 года. Пушкин прибыл в Михайловское 9 августа 1824 года. Максимальный срок — пять месяцев. А как раз для "легкого", "физиологического" сближения много времени не требовалось, особенно для такого мастера в любовных делах, каким был Пушкин.

При своем понимании как представляет себе Щеголев в подробностях сцену, описываемую Пущиным? Фигурка девушки привлекла к себе внимание Пущина — чем? Своею необычайною красотою, изяществом? Какова была "шаловливая мысль" Пущина, которую прозрел Пушкин? Неужели такая: "надеюсь, ты такой красотки не пропускаешь своим вниманием?" И Пушкин ему в ответ: "Дурака нашел! Конечно не пропускаю!" Неужели это соответствует стилю отношений между Пущиным и Пушкиным при встрече их в Михайловском?

Так это или иначе, была ли беременна первая девушка или нет, но у Щеголева нет решительно никаких доказательств, что в январе 1825 года и в мае 1826 года дело шло об одной и той же девушке. А именно длительность связи приводится Щеголевым в качестве главнейшего доказательства серьезности чувства Пушкина.

Щеголев пишет: "В Онегине Пушкин описывает собственную деревенскую жизнь". "В четвертой песне Онегина я изобразил свою жизнь", — признавался Пушкин Вяземскому:

Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина...
Вот жизнь Онегина святая.

Описание это опять-таки говорит совершенно против Щеголева. О "белянке" сообщается просто, как об одном из аксессуаров жизни холостого барина. "Белянка черноокая", "бутылка светлого вина". Завтра другая белянка и другая бутылка...

В апреле 1826 года И. П. Липранди был по делам службы в Петербурге и, между прочим, записывает: "Лев Сергеевич (брат поэта) сказал мне, что брат связался в деревне с кем-то и обращается с предметом — уже не стихами, а практическою прозою". И. П. Липранди — свидетель о Пушкине чрезвычайно достоверный. Нет никакого основания заподозрить правдивость его сообщения. Но хронологически свидетельство это говорит как бы против гипотезы Щеголева о длительности романа Пушкина, и Щеголев устраняет его на том основании, что оно не совпадает с его гипотезой. "Это свидетельство, — пишет он, — внушает мне некоторое недоверие по соображениям хронологическим".

Проследим дальше, как обосновывает Щеголев свою гипотезу о романе Пушкина. Он пишет: "Для кого угодно, но не для Пушкина это увлечение могло быть легким. В поэзии Пушкина совесть говорила властным языком, и мотив раскаяния, покаяния часто звучал в его художественном творчестве. С необычной силой запечатлен этот мотив в стихотворении *"Когда для смертного умолкнет шумный день"*. Никак не могу согласиться, чтобы мотивы раскаяния часто звучали в творчестве Пушкина: звучат они чрезвычайно редко, а в указываемом им стихотворении и вовсе не звучат — см. об этом выше мою заметку: "Стихи неясные мои".

"А ведь это он, Пушкин, написал патетический протест против крепостной действительности!" — восклицает Щеголев и цитирует "Деревню", написанную Пушкиным в 1819 году. Там есть, между прочим, такие строки:

Где девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея...

"И обстановка, — продолжает Щеголев, — и социальное неравенство не могли не напомнить Пушкину его же слов о помещичьей прихоти и не могли не усложнить его чувства... И по этим соображениям нельзя свести этот роман к физиологическому инстинкту, оголенному от всякой романтики".

Не напиши Пушкин шесть лет назад стихотворения "Деревня", не будь между ним и девушкой социального неравенства, то роман, по Щеголеву, мог бы еще, по-видимому, свестись к физиологии. Но эти привходящие обстоятельства усложнили чувство Пушкина и озарили его романтическим светом. Перед нами не Пушкин, а "кающийся дворянин" — семидесятник с "больною совестью", не могущий простить себе связи с девушкой "социально неравной" и надсадно спешащий навести на эту связь романтический лак.

И как можно так просто заключать от "Dichtung" поэта к его "Wahrheit", — как будто поэт совершенно неспособен делать в жизни то, что осуждает в своей поэзии! У Пушкина, во всяком случае, это было не так, и "поэзия" его самым разительным образом не совпадала с "правдой" (см. выше мою статью *"Об автобиографичности Пушкина"*). Приведу один пример.

"История села Горюхина", по справедливому мнению критиков, "в гнетущей своей безысходностью правде служит самым грозным осуждением крепостному праву, и в этом, несомненно, заключается главный смысл и значение повести". Вспомните хотя бы приводимые в повести календарные записи барина: "4 мая снег. Тришка за грубость бит. 9. Дождь и снег. Тришка бит по погоде" и т. д.

А вот что, всего через три-четыре года после этого, было у самого Пушкина. Жил он в Петербурге в доме некоего Оливье. Домохозяин велел дворнику запирать калитку в десять часов вечера, а Пушкин требовал, чтобы до его возвращения калитка оставалась открытою. Раз Пушкин приехал поздно, нашел калитку запертою — и побил дворника. Дворник очутился между двух огней: домовладелец приказывал запирать калитку, Пушкин запрещал. "Война с дворником не прекращается, — писал Пушкин своей жене, — и вчера еще я с ним повозился. Мне его жаль, но делать нечего: я упрям и хочу переспорить весь дом". Как видим, это даже не мгновенная вспышка, в которой бы потом Пушкин жестоко раскаивался: он спокойнейшим образом пишет об избиениях, чинимых им ни в чем не повинному дворнику, нисколько не стыдясь своих

действий. Это показывает, что нельзя ссылаться на художественные произведения Пушкина в доказательство его неспособности совершать в жизни осуждаемые поэтом действия.

Дальше Щеголев пишет:

"Нам необходимо заглянуть еще и в финляндскую повесть Баратынского, названную по имени героини "Эдой". Соблазненную девушку, отосланную в Болдино, Пушкин называет "моей Эдой", но что общего между Эдой и девушкой из Михайловского, какие основания были у Пушкина для сравнения?"

Так ясно, что даже странно отвечать: Эда, "отца простого дочь простая", соблазнена барином-офицером, михайловская девушка, тоже "отца простого дочь простая", соблазнена тоже барином. Но Щеголев и в том, что Пушкин называет свою "живую грамоту" Эдой, усматривает новое доказательство серьезности чувства Пушкина к девушке и посвящает этому вопросу целую главку своего исследования.

"Эда уступила хладному искусству, ответила герою горячею любовью; но гусар ушел в поход, и Эда не вынесла разлуки: "кручина злая ее в могилу низвела". Баратынский заставляет своего героя измениться. Похоть первоначальная превращается в искреннее чувство. Он тронут был ее любовию невинной... Поэма Баратынского понравилась Пушкину необычайно. Прочел он ее в феврале 1826 года, когда плоды его собственного романа уже сказались". Ну а раз поэма понравилась необычайно, значит, ясно: "Аналогия несомненна: Эда и гусар, Пушкин и крестьянская девушка. От изысканных одесских романов, от аляповатых и претенциозных помещичьих дочек к простой, милой, доброй девушке".

Дальше.

"Тема обольщения невинной девушки развита в "Сцене из Фауста" с трагическим углублением", — пишет Щеголев. (Сцена написана в 1826 г.) Ну а это-то что же доказывает? Ведь сцена написана на гетевскую тему, а у Гете фигурирует обольщенная невинная девушка Гретхен, обойти этого было нельзя. И в "Сцене" любовь Фауста к Гретхен изображена как раз как легкая, физиологическая связь:

На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем...

Вот, кажется, и все доказательства, которые приводит Щеголев в обоснование своего взгляда на характер крепостного романа Пушкина. Мимоходом он развенчивает тут же няню Пушкина, знаменитую Арину Родионовну.

"Роман развивался в отсутствие отца, — пишет Щеголев, — а покровительницей романа была, *конечно* (!), няня, свет Родионовна. Она жила в таком близком общении со своим питомцем, что уж никак не могла не заметить, на кого направлены вожделеющие взоры ее питомца. Ох, эта Арина Родионовна! Сквозь обволакивающий ее образ идеалистический туман видятся иные черты. Верноподданная не за страх, а за совесть своим господам, крепостная раба, мирволящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поставившая их удовлетворение. Ни в чем не могла она отказать своему питомцу. "Любезный друг, я цалую ваши ручки с позволения вашего сто раз и желаю вам то, чего и вы желаете", — читаем в ее письме".

Как видите, полное развенчание, и опять — какое бездоказательное, какое немотивированное! "Верноподданная раба"... Конечно, мы ценим и любим Арину Родионовну не за то, что она была Стенькой Разиным в кацавейке. Дело совсем не в этом. Но мы глубоко благодарны ей, что она любила Пушкина именно "не за страх, а за совесть", что в его безрадостной жизни она давала ему ту любовь и чисто материнскую ласку, без которой так холодно жить человеку и которой Пушкин никогда, с самого детства, не знал и не видел от родной матери. "Потакала барским прихотям, в закон себе ставила их удовлетворение, ни в чем не могла отказать своему питомцу". Откуда это знает Щеголев? Единственное основание — собственное его "конечно": "покровительницей романа была, *конечно,* няня свет Родионовна". Мы не имеем данных утверждать, что Родионовна в чем-нибудь перечила Пушкину, но также не имеем решительно никаких данных с щеголевскою уверенностью признавать ее сводней в любовных делишках своего питомца. Общее уважение, которым она пользовалась в семье Пушкина, не достигается одним низкопоклонством и потаканием барским прихотям. И во всяком случае, по крайней мере, столь же вероятно, что она с осуждением, — пускай, может быть, и молчаливым, — относилась к шалостям молодого барина. Еще вина Родионовны: она пишет — "цалую ваши ручки". Боюсь, что в такого рода низкопоклонстве можно обвинить и самого Щеголева: убежден, что до революции он не раз в письмах называл разных лиц "милостивыми государями" и униженно подписывался "ваш покорный слуга".

Возвращаемся к щеголевскому роману. Установив с помощью вышеразобранных доказательств характер этого романа, Щеголев приступает к заполнению его подробностями. Продолжается самое фантастическое притягивание за волосы всевозможных фактов, которые хотя бы с самыми вопиющими натяжками можно было пристегнуть к роману.

Описывая свое посещение Пушкина, Пущин, между прочим, рассказывает: "Настало время обеда. Хлопнула пробка, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за *"нее"*. Незаметно полетела в потолок и другая пробка. Попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйской наливкой. Все домашние несколько развеселились".

Тост, между прочим, — за *"нее"*. Кто это "она"? Здесь можно разуметь либо "свободу" (ср. в послании к В. Л. Давыдову: "и за здоровье тех *(неаполитанских карбонариев)* и той *(свободы)* до дна, до капли выпивали"), либо если искать женщину, то всего вероятнее — графиню Воронцову: Пушкин, по сообщению Пущина, говорил ему, что приписывает удаление свое из Одессы козням графа Воронцова из *ревности*, — значит, посвятил Пущина в тайну своих отношений с Воронцовой. Щеголев этот тост за "нее" толкует как тост за ту дворовую девушку-швею, которая привлекла к себе внимание Пущина. Вещь совершенно немыслимая ни в психологическом, ни в бытовом отношении. Хоть бы Щеголев обратил внимание на такую деталь: "попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйской наливкою". Пьют за *нее* шампанское, а самой *ей* наливают наливку!

Тост совершенно невозможный, если мы реально представим себе Пушкина и крепостную девушку-швею за пяльцами. Но для Щеголева отношения Пушкина к этой "милой и доброй девушке" представляются прямо каким-то морганатическим браком, серьезною и крепкою связью, в которой Пушкин познал все прелести счастливой брачной жизни. А тогда и громогласный тост за "нее" становится совершенно понятным. (Непонятно только, как при таком открытом чествовании "ее" отец и семья девушки, по наблюдению Щеголева, уже при отъезде беременной девушки в Москву еще ничего не знали об ее грехе.)

Широкими мазками Щеголев продолжает набрасывать картину сочиненной им семейной идиллии.

"Длинные зимние вечера, — рассказывает он, — Пушкин коротал с няней. Она рассказывала ему сказки. Так и кажется (вот для этого предположения у меня нет данных, но уж очень оно напрашивается!), так и кажется, что рядом тут же сидит и дочка приказчика Михайлы, которую Пушкин сразу отличил среди крепостных швей. Только при покровительстве няни (*да почему же только!*) могла длиться связь Пушкина с девушкой".

В феврале—марте 1825 года Пушкин писал брату Льву про михайловскую экономку: "У меня произошла перемена министерства: Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непри-

стойное поведение и слова, которых я не должен был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне щеты... Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, то есть несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления".

Ну уж это-то событие, казалось бы, даже при самом сильном напряжении фантазии никак невозможно увязать с романом Пушкина. Оказывается, наоборот: связь совершенно ясна: "*конечно* (!), — замечает Щеголев, — воровство Розы играло последнюю роль, а главное, — слова, которые Пушкин не должен вынести, и обида няне. Ушла Роза, которая могла быть свидетельницей романа. Остались в доме сам барин, да няня, да девушка".

И идиллия пошла развертываться вовсю.

"Одна мелочь из михайловской жизни Пушкина, — замечает Щеголев. — Если когда-либо Пушкин был "народником", так это в Михайловском. Приводится свидетельство секретного агента Бошняка, что на святогорской ярмарке Пушкин был "в рубашке, подпоясан розовою лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железной тростью в руке", что и еще иногда видали Пушкина в русской рубашке. "Вот каким народолюбием заразился Пушкин в Михайловском, — продолжает Щеголев. — Дворянам-помещикам не нравился наряд Пушкина. Наряд шокировал их, но крестьянской девице, должно быть, нравился, и барин-крестьянин овладел ее любовным вниманием".

Во-первых, Пушкин носил свой — довольно-таки оперный — "русский" костюм очень редко, и как раз не дома, а появился в нем раз-два на святогорской ярмарке. Алексей Вульф говорил М. И. Семевскому: "Рассказывают, будто, живя в деревне, он ходил все в русском платье. Совершеннейший вздор: Пушкин не изменял обыкновенному светскому костюму. Всего только раз во все пребывание в деревне Пушкин вышел на святогорскую ярмарку в русской красной рубахе *(М. И. Семевский. "Поездка в Тригорское". "Спб. Ведомости", 1866, № 139)*. Это во-первых. А во-вторых, факт давно известный и твердо установленный: деревенских девиц всегда больше прельщает как раз городской костюм кавалеров.

Влияние нечаянной супруги Пушкина на его жизнь и творчество было огромно и плодотворно. Мы уже слышали: "Оживленная лучом вдохновения и славы, молодая крестьянская девушка, с которой Пушкин жил в 1825 г., оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина, хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове". Но и этого мало.

Влияние ее было еще глубже, оно совершенно переродило угнетенного и томящегося в своей ссылке Пушкина. "В это время, — пишет Щеголев, — оживляется переписка Пушкина, и тон ее меняется. Правда, попадаются еще редкие напоминания о скуке, *больше, так сказать, по обязанности ссыльного*. Но они оттесняются на задний план энергичными и живыми выражениями чувств. Какой-то новый прилив уверенной бодрости!"

Непонятно, как можно так искажать истину в угоду предвзятой своей мысли. "Спокойная простота трагедии о Борисе" ...Да, спокойная простота. Но спокойная простота того или другого пушкинского произведения отнюдь не свидетельствует, что и в душе поэта во время написания этого произведения было просто и спокойно. У Пушкина это было чрезвычайно сложно. Самого величавого спокойствия и простоты исполнены и предсмертные произведения Пушкина, когда сам он захлебывался бешенством и злобой. Про время михайловской ссылки Пушкина Н. М. Смирнов, хорошо знавший его, замечает: "в эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных песен, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния" *("Русск. архив", 1882. I, 230)*.

Что же, — скука, душевная тоска и уныние — или прилив уверенной бодрости с напоминаниями о скуке больше, так сказать, по обязанности ссыльного? Конечно, первое. Каким реактивом пользуется Щеголев, чтоб отличать искреннее изъявление скуки от выражения скуки по обязанности, — неизвестно. Но жалобы на скуку продолжаются у Пушкина упорно и настойчиво. "Мне довольно скучно", — пишет он брату Льву в феврале 1825 года, значит, в самый разгар своего медового месяца. В апреле — Вяземскому: "У меня хандра и нет ни одной мысли в голове". В мае Рылееву "Мне скучно в деревне". В мае — июне Жуковскому: "Михайловское душно для меня". В июле Дельвигу: "Будь щастлив, хоть это чертовски мудрено". В августе Плетневу: "У нас очень дождик шумит, ветер шумит, лес шумит, шумно, а скучно!" В сентябре Вяземскому: "Извини эту прозаическую хандру: мочи нет, сердит" и т. д. Как видите, буквально из месяца в месяц.

Но не одни только эти непрерывные жалобы свидетельствуют о том, как задыхался и томился Пушкин в михайловской ссылке. Об этом свидетельствует и та совершенно исключительная энергия, которую проявлял Пушкин, изыскивая всякие способы вырваться из ссылки. Он замышляет бегство за границу, настойчиво и страстно работает над осуществлением своего намерения и отказывается от него только тогда, когда недогадливость одних

друзей и неумелость других заставляют его совершенно опустить руки. Николай I сменяет на престоле Александра, и уже в начале января 1825 года Пушкин поручает Жуковскому просить нового царя о дозволении ему вернуться в Петербург; все время понукает друзей, подает прошение на высочайшее имя... И это все — "больше, так сказать, по обязанности ссыльного"?!

Семь коротких футов в сумме дают длинную сажень. Но семь плохих доказательств не дают в сумме хорошего доказательства. А все доказательства Щеголева — одно хуже и слабее другого. После всего его исследования неоспоримыми остаются только два исходных факта, которые были известны нам и раньше: что в январе 1826 года и в апреле—мае 1826 года были налицо обстоятельства, свидетельствовавшие о связи Пушкина в михайловской ссылке с крепостными девушками — может быть, с одною, а может быть, и не с одною. Это было — это и осталось. Найденное Щеголевым письмо убедительно доказывает также, что оно писано тою девушкою, которая была отправлена в Болдино весною 1826 года, что, значит, домыслы Ходасевича о том, что девушка утопилась и тем дала Пушкину сюжет для "Русалки", — неверны. Но все, что пишет Щеголев о характере любви Пушкина к этой девушке, все это — совершенно бесплодное и беспочвенное фантазирование в духе того же Ходасевича, плохая беллетристика, даже лишенная правдоподобия хорошей художественной выдумки.

В своем исследовании Щеголев рассматривает, кстати, и другие сердечные увлечения Пушкина поры его деревенской ссылки. Между прочим, он касается и моей статьи об отношении Пушкина к тригорским барышням (см. выше: "Пушкин и Евпраксия Вульф"). "В последнее время, — пишет он, — любовный быт пушкинской эпохи нашел строгого судью в Вересаеве, судью, но не толкователя. С наивностью, неуместной для судьи, положился Вересаев на свидетельские показания Алексея Вульфа". Никакими судами и осуждениями я не занимался, я стремился только совершенно объективно, не поддаваясь моей горячей любви к Пушкину, рассмотреть те данные, которые дошли до нас, об отношении его к женщине вообще и к тригорским девушкам в частности. Все эти данные — и письма самого Пушкина, и письма Евпраксии Вревской, и воспоминания Павла Вяземского, и письма Керн и Анны Вульф к Алексею Вульфу — свидетельствуют, что Пушкин нередко относился к женщинам с исключительным цинизмом, что этому же отношению он обучал своих молодых друзей и что именно такой характер, по всей видимости, носили и его отношения к тригорскому девичьему

миру. Неожиданное и яркое подтверждение этим данным мы находим в не так давно найденном дневнике Вульфа. В записках Вульфа Пушкин является циником-Мефистофелем, учителем Вульфа в любовных делах, проводником чисто ловеласовских взглядов на женщину. Выдумывать Вульфу не было решительно никаких оснований. Дневник носит чрезвычайно интимный характер, писал его Вульф только для себя, у него, конечно, и в мыслях не могло быть, что дневник его когда-нибудь будет опубликован. Какой же был для него смысл взводить в этом дневнике на Пушкина небылицы? Да и все, что он сообщает, подтверждается, как уже сказано, целым рядом других сообщений и письмами самого Пушкина, особенно письмами его к тому же Вульфу.

Щеголеву не нравится такой взгляд на Пушкина. Опровергать меня он не пытается, а прибегает к обычному своему приему, с которым мы уже достаточно ознакомились в его статье: "покровительницей романа была, *конечно*, няня", "*конечно*, воровство Розы играло последнюю роль", "напоминания о скуке — *больше, так сказать, по обязанности ссыльного*". Так и тут. "*С наивностью, неуместной для судьи*, положился Вересаев на свидетельские показания Вульфа", — и дело сделано, и достоверность показаний дневника Вульфа опровергнута.

Нельзя не отметить, что вообще в изложении любовных романов Пушкина Щеголев не обнаруживает большой психологической проницательности и разнообразия. Между тем ни в чем так ярко не проявляется вся сложность и неожиданность пушкинской души, как в его отношениях к женщинам. Мало есть во всемирной литературе романов, где бы любовная жизнь героя представляла такой размах и такой сложный психологический рисунок, как любовная жизнь Пушкина. Как будто несколько совсем разных душ жило в душе этого вечно изменяющегося Протея.

Роман Пушкина с Анной Петровною Керн Щеголев описывает так: "Летом 1825 года в женском цветнике Тригорского появилась прелестная двадцатипятилетняя красавица А. П. Керн, взволновавшая чувственность Пушкина до пределов. И когда она находилась от него на расстоянии 400 верст, он в воображении переживал страсть. При одной мысли о будущей встрече с ней у него билось сердце, темнело в глазах и истома овладевала им. Казалось бы, такая страсть в действительности должна бы иметь неизбежное увенчание, но Пушкин вел себя, как 14-летний мальчик: был робок, застенчив и, — странная вещь, непонятная вещь! — не довел свою любовную схватку до увенчания; а ведь как легко, без тоски, без думы роковой, овладел молодой Вульф своею прелестною кузиною, а ведь к Ан-

не Петровне Керн подходил бы эпитет, данный Н. М. Языковым своей любви: res publica!* Скажем прямо. Припадок влюбленности, пережитый Пушкиным во время пребывания Керн в Тригорском, не нашел физиологического разрешения и дал поразительный эффект только в творчестве *(стихотворение: "Я помню чудное мгновенье")*. И только года через три, когда праздник встречи, праздник пробуждения души и упоительного биения сердца стал далекими буднями и гению чистой красоты был дан эпитет вавилонской блудницы, инстинкт вступил в свои права, и где-то как-то вышел случай, и Пушкин на момент овладел Аной Петровной... с божьей помощью".

Прежде всего, Анна Петровна Керн вовсе не была "res publica", которою всякий мог овладеть, стоило ему только пожелать. Она любила многих, но каждый раз в любовь свою уходила всею душою, страстно и нераздельно. В дневнике своем уже в 1830 году Алексей Вульф, когда-то счастливый обладатель Анны Петровны, пишет по поводу очередного ее увлечения: "Анна Петровна, вдохновленная своею страстью, велит мне благоговеть перед святынею любви!.. Сердце человеческое не стареется, оно всегда готово обманываться... Страсть ее чрезвычайно замечательна не столько потому, что она уже не в летах пламенных восторгов, сколько по многолетней ее опытности и числу предметов ее любви. Пятнадцать лет почти беспрерывных несчастий, унижения, потеря всего, чем в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце или воображение, — по сю пору оно как бы в первый раз вспыхнуло" *("Пушкин и его современники", XXI—XXII, 134, 136)*. Так не пишут об "общественной собственности", всем доступной "вавилонской блуднице".

Щеголеву дело рисуется так: Керн взволновала чувственность Пушкина, но до физиологического разрешения Пушкин их отношений не довел: "праздник встречи, праздник пробуждения души и упоительного биения сердца" подавил в Пушкине чувственные инстинкты, началась "тоска", началась "дума роковая"... И только через три года, когда очарование отлетело, Пушкин походя овладел красавицей.

Совершенно фантастическая и невероятная картина. Сам же Щеголев приводит возбужденно-страстные, сумасшедшие письма Пушкина к Анне Петровне: "Как можно быть вашим мужем? Я не могу представить себе этого, как не могу представить рая..." "Теперь ночь, я чувствую себя у ног ваших, сжимаю их, чувствую

---

* республика; в переносном смысле — общее дело, дело для всех *(лат.)*. — *Примеч. сост.*

прикосновение ваших колен, — всю кровь мою отдал бы я за минуту действительности!" Отчего же Пушкин не овладел красавицей? Вовсе не потому, что поэтические чувства подавили в нем инстинкт и страсть (как это похоже на Пушкина!), а просто потому, что Анна Петровна не захотела отозваться на его страсть. Она в то время была увлечена своим двоюродным братом Алексеем Вульфом. Вульф, по-видимому, имел неотразимое влияние на женские сердца, и он оказался счастливым соперником Пушкина. Керн восхищалась Пушкиным как поэтом, но как женщина тянулась к Вульфу. А так как она вовсе не была "res publica", то увлечение Вульфом, конечно, делало для нее совершенно невозможным ответный отклик на домогательства Пушкина.

1928

P. S.

Статья эта была помещена в журнале "Печать и революция" (1928, кн. 3). П. Е. Щеголев ответил на нее злобной статьей, полной инсинуаций и личных выпадов, до ответа на которые не унизится ни один сколько-нибудь брезгливый человек. (См.: "Печать и революция", 1928, кн. 5. "На всякого мудреца... Статья почти целиком введена автором и в его книгу: "Пушкин и мужики". Изд. "Федерации". 1928). Для характеристики полемического стиля П. Е. Щеголева может служить такая, например, выдержка:

> Стоит просмаковать густо глубокомысленный комментарий Вересаева. "Тост, между прочим, за "нее". Кто это она?" Просто и ясно, но Вересаев погружается в задумчивость. "Здесь можно разуметь либо "свободу"... Какое парение в высоту!.. Вересаев чувствует, что парение излишне, не помогает. "...либо, если искать женщину..." Так-то ближе к делу. Вересаев выходит из задумчивости, ищет женщину... готов искать где угодно, лишь бы не за стеной. "...то всего вероятнее — графиню Воронцову..." Придумал! Но почему? Почему не Ризнич, не Раевская? Двоеточие готовит объяснение. "Пушкин, по сообщению Пущина, говорил ему, что приписывает удаление свое из Одессы козням графа Воронцова из ревности..." Отсюда все же далеко до тоста "за нее", — за Воронцову. Нужен вольт, и Вересаев его делает... "...значит, посвятил Пущина в тайну своих отношений к Воронцовой..." Новый дар Вересаева пушкиноведению! Откуда же значит? (Печать и революция, 1928, кн. 5, с. 102).

Существеннейшие мои возражения на выдуманный им крепостной роман Пушкина Щеголев оставляет неопровергнутыми. Долго он останавливается на вопросе, была ли беременна виденная Пущиным крепостная девушка, — вопросе, решение которого в ту или другую сторону ничего в деле не меняет. Подробнейшим образом доказывает, что имел основание "по соображениям хронологическим" заподозрить приводимые Липранди слова Льва Пушкина, что брат его "связался в деревне с кем-то и обращается с предметом — уже не стихами, а практичсскою прозою". Соображения такие: Бенкендорф еще не был, как рассказывает Липранди, шефом жандармов, и Лев Пушкин не находился на военной службе в то время, когда Липранди видел Пушкиных в Петербурге. Эти две хронологические погрешности никак не могут дать нам права заподозривать и все остальные сообщения Липранди — свидетеля, в общем, очень достоверного. Здесь же такой чрезмерный критицизм совсем уже не у места: в апреле месяце Липранди слышит от Льва Пушкина, что брат его "связался с кем-то в деревне" — в апреле—мае того же 1826 года Пушкин пишет письмо кн. Вяземскому о "чреватой грамоте".

Поражает вообще чрезвычайная легковесность возражений П. Е. Щеголева. Читатель мог уже ее наблюдать в вышеприведенной выдержке из его статьи. Пушкин приписывал свое удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности. Уж понятно, не к госпоже Ризнич и не к Раевской мог ревновать Воронцов Пушкина, а к своей жене. Раз же Пушкин сообщил Пущину о том, что Воронцов ревновал его, то, вероятно, сообщил и к кому ревновал.

Или вот еще пример. Я указываю в своей статье, как бездоказательно и немотивированно "развенчивает" Щеголев знаменитую няню Пушкина Арину Родионовну. Привожу, между прочим, слова Щеголева: "покровительницей романа была, *конечно*, няня, свет Родионовна" — и выражаю удивление, откуда это следует. Щеголев с азартом возражает: "Как бы Вересаев ни удивлялся, конечно, няня покровительствовала роману *конечно*, потому что она была одна при Пушкине, каждый час слышал Пушкин за стеной ее тяжелые шаги и кропотливый дозор, в узкой ограниченности барского дома и усадьбы от нее не укрылось бы ни одно вожделение питомца". Но ведь все это доказывает только то, что няня *не могла не знать* о связи Пушкина. А П. Е. Щеголев вполне убежден, что доказал, будто няня *покровительствовала* связи Пушкина.

Щеголевым найдено письмо, писанное в 1833 году Пушкину из Болдина и подписанное: "известная вам". Щеголев убедитель-

но доказывает, что письмо это писано тою же Ольгою Калашниковою, которую Пушкин беременною отправил в Болдино в 1826 году. Дальше по поводу этого письма он пишет: "Прошло семь лет, и Пушкин не забыл предмета своего крепостного романа, он пишет ей... Отношения, нашедшие отражение в письме, представляются проникнутыми какой-то крепкой интимностью и простотой. Она с доверием прибегает к нему за поддержкой, не скрывает от него своих горестей... Пишет человек, относящийся к адресату с чувством дружеского уважения и приязни, не остающимся безответным. Эти чувства являются проекцией тех, что связывали их семь лет тому назад. Исключается возможность расценки их связи как чисто физиологической, оголенной от романтики, лишенной длительности".

Когда читаешь само это письмо, то решительно недоумеваешь, где смог Щеголев усмотреть в нем все те трогательные чувства, о которых он пишет. Письмо производит крайне отталкивающее впечатление. Все оно полно всяческих просьб — видимо, автор вовсю старается использовать свое право на некоторое внимание к себе Пушкина. "Покорнейше вас прошу извинить меня, что я вас беспокоила насчет денег для выкупки моего мужа крестьян, то оные не стоют, чтобы их выкупить (!)... Стараюсь все к пользе нашей, но муж не чувствует моих благодеяний, каких я ему ни делаю... У меня вся надежда на вас, что вы не оставите меня своею милостью в бедном положении и горестной жизни... На батюшку все Сергей Львович (отец Пушкина) поминутно пишет неудовольствие и строгие приказы, то прошу вас защитить своею милостию его от сих наказаний... О себе вам скажу, что я в обременении и время приходит к разрешению, то осмелюсь вас просить, нельзя ли быть восприемником, если вашей милости будет не противно, хотя не лично, но имя ваше вспомнить на крещении".

Сама еще недавно крепостная, — как скоро эта женщина усвоила барственный взгляд на лодырей-мужиков: "оные не стоют, чтобы их выкупить". Из исследования самого же Щеголева мы знаем, что за человек был отец Ольги, Михайло Калашников, управлявший селом Болдином: форменный грабитель, разорявший мужиков, на которого они не уставали жаловаться. За него-то и ходатайствует его дочь перед Пушкиным. "Вот из тридцатых годов голос милой, доброй девушки, оживленной лучом вдохновения и славы Пушкина", — умиленно замечает Щеголев по поводу этого письма.

То обстоятельство, что за семь лет Пушкин не забыл Ольги, поддерживает с нею переписку, помогает ей деньгами, не может служить доказательством, что связь Пушкина с нею была чем-то

большим, чем голая физиология. Ведь женщина эта была *матерью ребенка Пушкина,* возможно, и сам ребенок был жив, — как можно упускать из виду такое существенное обстоятельство! Каков бы ни был характер их отношений в былые времена, обстоятельство это, конечно, не могло не отразиться на их взаимных отношениях.

По-прежнему недоказанными, по-прежнему висящими в воздухе остаются все существеннейшие положения, на которых строит Щеголев свой роман. Не доказана длительность союза с Ольгою Калашниковой; не доказано, что отношения их носили тот углубленно-близкий характер, который усматривает в них Щеголев; не доказано, что в душе Пушкина под влиянием союза с этой девушкой наступило какое-то умиротворение; не доказано, что непрерывные жалобы Пушкина на скуку михайловского житья были неискренни и делались им "больше, так сказать, по обязанности ссыльного". Словом, не доказано ничего. Мы знаем только то, что во время михайловской ссылки у Пушкина были связи с крепостными девушками, — может быть, с одною, может быть, с двумя, — что одну беременную от него девушку он отправил в Болдино, впоследствии был с нею в переписке и оказывал ей покровительство. А все остальное — плохая, не опирающаяся на факты выдумка Щеголева.

Я ждал, между прочим, что Щеголев попытается обосновать свое утверждение, будто наивно полагаться на свидетельские показания Вульфа насчет цинизма Пушкина в отношении к женщинам. Я указывал, что дневник свой Вульф писал для себя и, конечно, никак не думал, что он будет когда-нибудь опубликован; значит, никакого смысла ему не было выдумывать на Пушкина в своем дневнике. Далее: длиннейший ряд свидетельств, исходящих от других лиц, вполне подтверждает впечатление, выносимое из чтения дневника Вульфа, о большом цинизме Пушкина. Я уже несколько раз в этой книге приводил соответственные свидетельства, и тут ограничусь только их перечислением: отзывы о Пушкине участников завтрака у Погодина в 1829 году (С. Аксакова, Погодина), отзывы Анны Керн и Анны Вульф в письмах к Алексею Вульфу, рассказ Павла Вяземского, письмо баронессы Вревской о своей сестренке Маше 10 сентября 1836 года. На все это Щеголев даже не пытается возражать, он рассчитывает, очевидно, исключительно на тяжелую массу своего авторитета, как пушкиниста. Вот все, что он имеет возразить: "Дневник Вульфа ошеломил Вересаева раз навсегда. И опять повторяю, что без всякой критики положился Вересаев при разборе дела по обвинению Пушкина в цинизме с женщинами на

такого свидетеля, как Вульф. Свидетель неблагонадежный, и для судьи, выясняющего истину, наивность неуместна. Опять повторяю свое утверждение". Чем без конца "опять повторять", лучше было бы подкрепить свое утверждение какими-нибудь доказательствами.

В заключение отмечу один курьез. Я возражаю на неправильное, по моему мнению, отношение Щеголева к няне Пушкина. Щеголев по этому поводу замечает: "Ужасно обиделся Вересаев на меня за няню Арину Родионовну". Не соглашаюсь со взглядом Щеголева на госпожу Керн. Щеголев: "Вересаев из-за г-жи Керн обиделся на меня. Из его слов я так и не понял, почему". Нахожу, что никаких у Щеголева не было данных изображать связь Пушкина с Ольгою Калашниковою как глубокий, интимный, чуть не брачный союз. Щеголев на это: "Вересаеву противна попытка раздвинуть рамки сближения Пушкина и крестьянки за пределы физиологии". Статью свою Щеголев заканчивает так: "Не явилось ли психологическим и методологическим толчком к критическим заметкам Вересаева мое замечание о наивности, с которою он положился на показания Вульфа?"

Ну и психология!

Отвечу на все это П. Е. Щеголеву: многочисленные обиды, которые мне пришлось претерпеть от него и за няню Арину Родионовну, и за Анну Петровну Керн, и за Пушкина, унизившегося до хорошей любви к крестьянке, и за Вересаева, — все обиды эти нисколько не мешают мне признать, что, например, работа Щеголева об "утаенной любви" Пушкина — прекрасная работа, что исследование его о дуэли и смерти Пушкина — исследование образцовое. Догадки, высказанные Щеголевым в третьем издании последней книги о письме Пушкина к Канкрину от 4 ноября, о роли императора Николая во всей этой истории, — догадки блестящие, озаряющие новым светом и делающие понятными ряд дотоле неясных фактов. И эти догадки носят вполне научный характер, и никто против них возражать не будет. Догадки же, разведенные Щеголевым вокруг найденного им письма, не стоят ломаного гроша и не имеют решительно никакой ни научной, ни художественной ценности.

Труд Щеголева в той его части, которая касается романа Пушкина с крепостною девушкою, встретил в печати довольно единодушное осуждение. Чем приходить в бешенство от неблагоприятной критики, гораздо было бы лучше — и для самого П. Е. Щеголева выгоднее, — если бы он честно сознался, что немножко "порезвился", и вычеркнул бы из списка своих научных трудов сочиненную им плохую повесть о любви Пушкина к крепостной своей девушке.

1929

В ЗАЩИТУ ПУШКИНА

К столетней годовщине смерти поэта

К годовщине этой советская общественность готовится в общем широко и энергично. Только странное затишье и бездействие царят в области наиболее важной — в области идеологической и художественной оценки творчества Пушкина. Совсем не поднимается и не дискутируется основной вопрос, который должен бы встать впереди всех остальных вопросов:

За что собираемся мы чествовать Пушкина?

Добро бы, если бы вопрос этот был решен хоть сколько-нибудь удовлетворительно. Но этого нет. Предлагаемые кустарные решения его — весьма невысокого качества и навряд ли могут иметь действительно решающее значение. Авторы "вступительных слов" охотно гримируют Пушкина под ярого революционера, чуть не коммуниста, предтечу Октября. Нужно ли доказывать, что настоящим революционером Пушкин никогда не был? Даже в эпоху наибольшей своей "левизны" он не шел дальше самого умеренного жирондизма. В "Кинжале" Марат для него "уродливый палач", "презренный, мрачный и кровавый"; в "Оде на вольность" Людовик XVI приникает головой к "кровавой плахе вероломства" и на шею его падает "преступная" секира. Даже убийство Павла I воспринимается так:

О, стыд! О, ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары, —
Погиб увенчанный злодей!

Классовое сознание Пушкина с достаточною ясностью проявляется в целом ряде его художественных и особенно публицистических произведений. В молодые годы — яркая, боевая лирика, питавшаяся корнями декабризма; уже с начала двадцатых годов — начинающееся разочарование в достижимости декабристских идеалов; в середине двадцатых годов — вынужденное "примире-

ние" с самодержавием; все более определяющееся сознание себя "обломком счастия обиженных родов"; вражда к "новой", благоденствующей знати с позиций разорившегося старинного дворянства; рост осознания себя профессионалом-разночинцем, "мещанином"; показное возвеличение самодержавия с глубоким внутренним неприятием его. Таков идеологический путь Пушкина, очень далекий от пути подлинного революционера.

Многие сейчас пишущие о Пушкине смотрят на это достаточно трезво. Например, И. Сергиевский в "Вечерней Москве" заявляет: "Стилизовать Пушкина под революционера нам нечего и не для чего". Автор указывает на сатирические мотивы в "Евгении Онегине", на "Дубровского" (дошедшего в неотделанном черновике), на "Историю села Горюхина" (представляющую только вступление к ненаписанному "повествованию") и заключает: "Своею неуимчивостью, своим постоянным протестантством, своею ненавистью к быдлу рабской, застывшей в своей вековой неподвижности крепостнической действительности Пушкин принадлежит нам, и только нам". Не совсем понятно, что за "быдло крепостнической действительности" ненавидел Пушкин. "Быдло" по-польски значит "скот", "скотина"; так паны-помещики называли своих крепостных крестьян, приравнивая их к скоту. С таким же значением слово перешло и в наш язык. Говорят, например: "Он к рабочему народу относился, как к быдлу". Но что такое "быдло крепостнической действительности", вызывавшее ненависть Пушкина, это — тайна автора.

Легко видеть, что при освоении Пушкина, производимом И. Сергиевским, отсекаются ценнейшие области пушкинского творчества. Слабый в художественном отношении "Дубровский" не может идти ни в какое сравнение с "Пиковой дамой". "История села Горюхина" мало скажет современному читателю после потрясающих картин "Пошехонской старины" Салтыкова. В таких стихотворениях, как "Ненастный день потух", "Заклинание", и вообще в подавляющем большинстве пушкинской лирики нельзя найти решительно никаких следов ни "неуимчивости", ни ненависти к какому-то таинственному "быдлу". Тут есть глубокая фальшь. Трудно себе представить, чтобы кто-нибудь мог серьезно так варварски карнать все многообразие и всю многоценность пушкинского творчества. Просто ценный этот груз авторы подобного рода не решаются представить читателю под собственным названием и провозят его, как контрабанду, под довольно-таки неярким красным флагом "Дубровского", "Истории села Горюхина" и "сатирических мотивов" "Оне-

гина". Нужно ли это? Неужели даже Гомера и Сафо, Венеру Милосскую и Парфенон, Рафаэля и Леонардо-да-Винчи, "Руслана" Глинки и "Князя Игоря" Бородина можно признать достойными внимания пролетариата лишь под условием отыскания в них черт "неуимчивости" и ненависти к "быдлу"? И неужели именно это значит осваивать классическое наследство?

Если у одних авторов обесценение пушкинского творчества происходит в горизонтальной плоскости, путем отсечения целых его областей, то у других то же обесценение производится в глубину, путем невероятного обмеления Пушкина. Таков, например, профессор Д. Д. Благой, автор ряда работ о "социологии творчества" Пушкина (Д. Благой. Социология творчества Пушкина. 2 изд. М., 1931. — Три века русской поэзии. М., 1933).

Н. К. Крупская рассказывает, как однажды Ленин посетил коммуну студентов-вхутемасовцев. Они засыпали его вопросами, а он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами:

— Что вы читаете? Пушкина читаете?

— О, нет, он был ведь буржуй. Мы — Маяковского.

Ильич улыбнулся:

— По-моему, Пушкин лучше.

Современный студент, прочитав Благого, останется в совершенном недоумении, почему Пушкин был для Ленина "лучше". До самых корней своего творчества Пушкин был именно "буржуй" — это с очевидностью вытекает из всего социологического анализа, произведенного Благим.

Классовую позицию Пушкина Благой определяет более или менее правильно; только слишком верит искренности убеждения Пушкина в необходимости и спасительности для России самодержавия. Но вот как увязывает он эту классовую позицию с крупнейшими произведениями Пушкина.

До середины двадцатых годов Пушкин в общем разделял взгляды декабристов. Декабризм в его понимании был борьбою разорившегося старинного дворянства против самодержавия, опиравшегося на "новую знать". В "Борисе Годунове" Пушкин, по мнению Благого, точно отображает современную ему действительность с точки зрения декабризма. Борис в своей борьбе с родовым боярством опирается на новую, служилую знать, а боярство — на народ. Правда, вся служилая знать, на которую будто бы опирается Борис, представлена в трагедии, как сознается и сам Благой, одним-единственным лицом — Басмановым,

очень притом легко переходящим в ряды Борисовых врагов; правда, боярство выведено Пушкиным вовсе не разоренным, а декабристы в своей борьбе с самодержавием больше всего боялись опираться на народ; правда, взгляд на движение декабристов как на борьбу разорившегося родовитого дворянства против самодержавия был высказан Пушкиным почти через десять лет после написания "Годунова". Но зато как-никак под трагедию Пушкина подведен "социологический базис".

С середины двадцатых годов Пушкин начинает думать о примирении с правительством и переходит на резко враждебную позицию по отношению к декабристам. Доказательством последнего обстоятельства служит... "Полтава". Под Петром Первым, по разъяснению проф. Благого, Пушкин разумеет императора Николая, а под Мазепой — декабристов. Мазепа, представлявшийся Рылееву "героем свободы", низводится Пушкиным до уровня "преступника", "изменника", "злодея". "В "Полтаве", — пишет Благой, — в своем осуждении линии бунта против самодержавия, следовательно, и линии декабризма, Пушкин заходит так далеко, как ни в одном из своих произведений. Мазепа в бунте против Петра не только не рассчитал своих сил. Пушкин раскрывает в бунте Мазепы глубоко личные цели, личную корысть. Мазепа в поэме Пушкина терпит не только физическое, но и моральное поражение".

Но ведь всего полтора года назад Пушкин к этим своекорыстным злодеям и изменникам, декабристам, обращался с пламенным "Посланием в Сибирь"; но ведь в том же году, когда написана "Полтава", Пушкин написал "Анчар" — неприкровенное, потрясающее изобличение самодержавия. Все это знает Благой. Но к написанию "Полтавы" у Пушкина, по его соображениям, были свои мотивы чисто личного характера. Как раз в это время против него было поднято дело о "Гавриилиаде". "Полтаву", — пишет Благой, — Пушкин бросил на чашу весов, чтобы уравновесить другую чашу, на которой лежала, угрожающе оттягивая ее вниз, "Гавриилиада". И Пушкин успел в этом. Поэма не могла не прийтись по вкусу Николаю".

Тогда же будто бы, в 1828 году (в действительности в 1827 г.), Пушкин написал небольшое стихотворение "Опричник", оставшееся неотделанным; в глухую, морозную ночь среди спящей Москвы молодой опричник скачет на любовное свидание через площадь, полную трупов людей, замученных во время вчерашней казни; конь останавливается перед трупом, висящим меж столбов на перекладине, храпит и рвется назад; опричник обращается к нему с речью:

"Куда, мой конь лихой?
Чего боишься, что с тобой?
Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
Не их ли кровию омыты
Твои булатные копыты?
Теперь ужель их не узнал?
Мой борзый конь, мой конь удалый,
Несись, лети!.." и конь усталый
В столбы... проскакал.

Знаете, кого тут изображает Пушкин? Самого себя и свою расправу над декабристами, учиненную в "Полтаве"! "В "Опричнике", — пишет профессор, — вскрывается творческое тайное тайных "Полтавы" Пушкина. Поэт, растоптавший в лице Мазепы одного из "лихих изменников царя", силою нудит свое оторопелое вдохновение вихрем мчаться вперед, под перекладинами виселичных столбов, задевая за трупы повешенных". Эти невероятные строки находятся на 102 странице первой из цитированных книжек Благого. Даже при жизни Пушкина никакие Булгарины не печатали о Пушкине подобных гнусностей. Перед нами не Пушкин, каким мы его знаем, а оголтелый, горящий "усердною местью" царский прихвостень, потерявший стыд ренегат, нагло бросающий вызов всем честным людям.

Метод Благого очень прост: бери любое стихотворение Пушкина и толкуй его аллегорически в нужном тебе смысле. Пользуясь этим методом, мы попробуем немножко реабилитировать Пушкина; да, с декабристами он разделался нехорошо, но потом ему было очень за это стыдно. Неопровержимое доказательство — баллада "Утопленник", написанная Пушкиным в том же 1828 году. Рыбак баллады — это, конечно, сам Пушкин, утопленник — труп декабризма. Пушкин, правда, оттолкнул труп веслом, лишив его честных похорон, но впоследствии жестоко терзался угрызениями совести, и по ночам ему являлось привидение оскорбленного им декабризма.

Идем дальше. Пушкин больно ощущал разорение и вырождение близкого ему старинного, родовитого дворянства, транжирящего последние свои достатки, в скуке и хандре проводящего бездельную жизнь в столицах. Единственное спасение дворянства он видел в возврате его из городов в свои поместья, в возврате в "добрый и простой быт", в старинную патриархальность помещичьей жизни. На эту тему написан "Евгений Онегин". Благой разъясняет: "В оторванном от своей социально-

экономической почвы столичном светском быту разоряющегося русского барства сложилась упадочная фигура Онегина; в возвращенном этой социально-экономической почве "простом" деревенском быту Лариных возникает другой основной образ романа, контрастный образу Онегина, "милый идеал" Пушкина, его Татьяна. В ней показана возможность оздоровления, омоложения дворянства, возвращенного своему "отчему дому", — залог спасения класса. В встрече Онегина и Татьяны сосредоточен основной социальный смысл романа Пушкина. Исходом этой встречи определяются для Пушкина судьбы всего дворянства. Внутреннюю победу в этой встрече одерживает Татьяна, — и эта победа обнаруживает всю крепость ее оздоровленной прикосновением к своей классовой почве души".

В "Моей родословной" Пушкин писал:

Не любит споров властелин.
Не всяк князь Яков Долгорукой,
Умен покорный мещанин.

По Благому, Пушкин что дальше, то больше становился этим умно-покорным мещанином — "зрелым, социально смирившимся и усмиренным". Он понял историческую необходимость самодержавия и "простил оной в душе своей". Через восемь лет после восстания декабристов Пушкин опять возвращается к этому "безумному деянию и окончательно разделывается с ним в "Медном всаднике". Петр — это опять тот же Николай; деклассированный дворянин, бедный "безумец" Евгений — декабристы. Евгений стоит на Сенатской площади перед памятником Петра и злобно бросает ему бессильное ругательство; это — декабристы, вышедшие на Сенатскую площадь против Николая. Своим "Медным всадником" Пушкин, по Благому, призывал "побежденную стихию" — представителей того социального слоя, к которому сам принадлежал, — "образумиться", осознать историческую правоту самодержавия и вступить в ряды умно-покорных "мещан", к которым якобы принадлежал сам Пушкин.

Вот чем оказался Пушкин в результате "социологического анализа", произведенного над ним проф. Д. Д. Благим. Огромное, глубокое море пушкинского творчества превратилось в мелководный пруд, по которому уныло и смиренно плавает отощавший потомок родовитых римских гусей. Нет, положительно правы были студенты-вхутемасовцы, отказываясь читать Пушкина. Ну, скажите, в самом деле, кому в нашу огромную, кипучую эпоху интересно знать, как переживал сто лет назад деклассированный дворянин знатного рода свой имущественный упа-

док, как, в угоду царю, он оплевывал друзей молодости, изничтоженных царем за вольнолюбивые стремления? Кому интересны предлагаемые этим дворянином наивные рецепты возрождения дворянского сословия путем возвращения в родовые поместья? Кому интересно превращение задорного феодала в "социально смирившегося мещанина"?

В более поздней статье своей "Значение Пушкина" ("Три века русской поэзии") Благой увенчивает здание своего "социологического" анализа пушкинского творчества. Он признает, что такой анализ не должен довольствоваться определением классовой подкладки творчества поэта, следует еще выяснить причины "значимости" поэта для нашей современности. "Чем же объяснить, — спрашивает Благой, — что мы продолжаем наслаждаться творчеством Пушкина?" И отвечает: Пушкин в своем творчестве отображает, — правда, со специфически дворянской точки зрения, — процесс движения русской жизни от средневековья к новому буржуазному обществу. Вот этим-то он так нам и дорог. "Великий художник, — с энтузиазмом заканчивает Д. Д. Благой, — отразивший, хотя и чуждым нам сознанием, сознанием дворянина, процесс великого социально-исторического сдвига, подготовившего все последующие развитие нашей страны, — этим Пушкин близок и значителен нашим дням — дням величайшего сдвига от общества буржуазного к обществу социалистическому".

Одним из изумительнейших свидетельств небывалого культурного подъема широчайших масс нашего Союза является все растущая всеобщая любовь к Пушкину, доходящая прямо до какой-то влюбленности, восторженной и нежной. Для всех сейчас Пушкин — свой, родной, любимый, чем-то очень нужный.

И кто-нибудь поверит, будто любовь эта вызвана тем, что Пушкин с дворянской точки зрения дал совсем не такое уже широкое отображение очень мало "великого" отрезка социально-экономической истории России за двадцатые—тридцатые годы прошлого века! Тут опять — либо та же безмерная фальшь, либо столь же безмерная вульгаризация социологического метода, граничащая с пародией.

Так ли нужно осваивать классическое наследство? Возьмем Гомера. Очень, конечно, важно социологически определить феодально-монархическую, рабовладельческую почву, на которой выросли его поэмы; не менее важно определить социально-экономические сдвиги, отображаемые ими. Но может ли на этом остановиться анализ? Грош цена этому анализу, если он не сумеет пойти дальше, если просмотрит жадную влюбленность

в суровую, страшную и тем не менее радостно-светлую, "священную" жизнь, влюбленность, насквозь проникающую гомеровы поэмы и составляющую для нас главнейшую их ценность.

Напомним знаменитое место из марксовой "К критике политической экономии", где речь идет как раз о Гомере и греческом искусстве. "Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны известными формами общественного развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца. Почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечною прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Греки были нормальными детьми. Обаяние, которое исходит от их искусства, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. *Наоборот, обаяние это является результатом указанной неразвитости и неразрывно связано с тем, что те незрелые общественные отношения, при которых оно возникло и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова*".

Вот широкий, исчерпывающий метод подлинного исследования "социологии творчества" каждого крупного художника. У нас же все еще и в литературоведении, и в школе под социологическим подходом к художественному произведению упорно разумеется превращение его в голый "социально-экономический документ". Недавняя попытка превратить художественную Третьяковскую галерею в музей таких социально-экономических документов была ликвидирована. И в области литературы необходима борьба с вульгаризацией социологического метода Маркса.

"ЗА ТО, ЧТО ЖИВОЙ"

К спорам о Пушкине

В конце девяностых годов был у меня в Петербурге приятель, рабочий Путиловского завода, суровый революционер, член "Союза борьбы за освобождение рабочего класса в России". Как-то пошли мы с ним в Мариинский театр на оперу "Евгений Онегин". Сцена в комнате Татьяны. Вдруг мой приятель:

— Ах, сволочь!

Я спросил с удивлением:

— Кто?

Он не ответил. Смотрел и все больше возмущался:

— Вот стерва!

— Да в чем дело?

— Здоровеннейшая девка, разлеглась: "няня, закрой окно!", "подай перо, бумагу!", "подвинь стол!" А дряхлая старуха ковыляет по комнате, ей услужает... Пинком бы ее с постели: не можешь сама?

И с враждебной усмешкой продолжал слушать. Няня пела о том, как ее тринадцатилетней девочкой, не спросясь, выдали замуж за двенадцатилетнего мальчика, потом прервала себя: "Да ты не слушаешь меня..."

Татьяна в ответ запела:

Ах, няня, няня, я тоскую!

— Она тос-ку-ет! Скажите, пожалуйста! Что ей до издевательства, совершенного над человеком, у нее поважнее занятие, она, изволите видеть, в-л-ю-б-л-е-н-а!

И больше до конца оперы не проронил ни слова. Презрительно наблюдал вздорную ссору Ленского с Онегиным на балу. Прикусив усмехающиеся губы, слушал предсмертную арию Ленского в чудесном исполнении Фигнера...

Определенные общественные условия вырабатывают определенные типы людей. Трудная подпольно-революционная работа

создала у нас в старые времена удивительно привлекательный образ фанатика-революционера: он весь живет для борьбы, все — для нее. Он аскет; он не позволит себе купить мягкий диван, когда эти деньги можно отдать на поддержку стачек или на оборудование мимеографа для печатания прокламаций; он моральный ригорист, он не простит товарищу рабочему, что тот свободное время отдает занятию спортом; осмеет сознательную работницу, вздумавшую учиться танцам. И ему глубоко чуждо искусство, не преследующее непосредственных боевых задач: стыдно

в годину горя
Красу долин, небес и моря,
И ласку милой воспевать.

И ему глубоко чужд Пушкин.

Характерно, что за минувшее столетие, почти как общее правило, культ Пушкина был силен в эпохи общественной реакции и падал или совсем исчезал в эпохи общественного подъема: довольно равнодушная, хотя и почтительная оценка Пушкина Добролюбовым и Чернышевским в пятидесятых годах, неистовые нападки Писарева в шестидесятых, безразличие в семидесятых, огромный подъем интереса к Пушкину в реакционные восьмидесятые годы, потом опять спад: культ Пушкина у модернистов в двадцатом веке. И вот, совершенно вразрез этому, теперь в годы наибольшего, невиданного раньше общественного подъема, любовь к Пушкину растет и растет с каждым годом. И это не среди любителей-эстетов, а среди широчайших трудовых масс, целиком захваченных революционно-созидательной работой.

Несколько лет назад, в компании молодых рабочих-ударников, я рассказал о впечатлении, какое некогда произвела опера "Евгений Онегин" на моего приятеля-путиловца. Рассказ вызвал общий добродушный смех, каким мы смеемся, читая задорные нападки Писарева на Пушкина. В чем же дело?

Прошли года чредою незаметной, —
И как они переменили нас!
Недаром, нет, промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон.
Вращается весь мир вкруг человека,
Ужель один недвижим будет он?

Современный стахановец на деле так доказывает великий свой энтузиазм и любовь к социалистическому строительству. Однако он при этом совсем не считает позорным купить себе никелированную кровать с пружинным матрасом или уютный письменный стол. Он не презирает товарища рабочего за увлече-

ние спортом, он с уважением называет имена братьев Знаменских и братьев Старостиных. Он не осмеет девушку, которая учится танцам, — он им и сам учится. Он хочет жить полно, всеми духовными и телесными радостями. И он восторженно любит Пушкина.

Усваивать классическое наследство — это прежде всего значит: уметь переключать себя на другую эпоху, уметь отделять в художнике былых времен близкое и родное от чуждого и классово враждебного. Мы можем глубоко наслаждаться Гомером или Шекспиром, плодотворно учиться у них, проходя мимо их пренебрежительно-высокомерного отношения к "черни", — разумеется, ясно осознав предварительно это их отношение. Представим себе, что советский наш поэт написал бы балладу, а советский композитор положил бы ее на музыку. В балладе рассказывалось бы, как во Францию два гренадера из русского плена брели, как в Германии они узнали о пленении Наполеона, как один из них, умирая, завещал взять его тело во Францию и похоронить в полном вооружении, чтобы, по призыву императора, он мог в нужный момент встать из гроба на его защиту. Будь это написано с такою же силою, с какою баллада написана Гейне и Шуманом, мы бы ничего не испытали, кроме враждебно-холодного недоумения. А слушая Гейне — Шумана, мы пропускаем мимо ушей оценку Наполеона его гренадерами и самим Гейне и нас потрясает великая приверженность гренадеров к их идее — пускай для нас совершенно чуждой.

На декабрьской конференции советских критиков и пушкинистов товарищ Селивановский огласил отрывок из программы Наркомпроса, определяющий "ценное в наследстве Пушкина". Вот что в нем ценно, по мнению этих программ: "критика Пушкиным самодержавно-бюрократического строя, показ произвола помещиков и угнетения крестьян, разоблачение произвола судов царской России". И в заключение — общая, ничего не говорящая фраза: "художественная значимость произведений Пушкина". Такое определение ценности Пушкина, под которое целиком подойдет и Салтыков-Щедрин, справедливо было встречено дружным хохотом конференции. Однако сама конференция проявила полнейшую беспомощность в определении того, чем же ценен для нас Пушкин. Один выдающийся ленинградский пушкиновед заявил, что Пушкин для нас ценен... потому что его много читают! Другой литературовед объяснил, что Пушкин ценен, потому что он — гений, что у каждого гения есть своя специфика: определить, однако, специфику пушкинского гения отказался. Были отдельные лица, высказывавшиеся, чем, по их

мнению, ценен Пушкин, но это были именно единичные высказывания, никого вокруг себя не объединившие и не послужившие кристаллизационным ядром для оформления общего мнения конференции по этому вопросу. Общий смех конференции вызвала также сделанная Л. П. Гросманом сводка определения классовой сущности Пушкина: феодал, капитализирующийся помещик, деклассированный дворянин, профессионал-разночинец, глашатай крестьянской революции и т. д. и т. д., всего с десяток разнообразнейших определений, взаимно друг друга совершенно исключающих. И на этот счет конференция даже не попыталась прийти к какому-нибудь общему выводу.

Пушкин — такой ясный, прозрачный, как будто так легко понимаемый... А вот уже скоро минет сто лет с его смерти, а он стоит перед нами неразгаданной художественной и социологической загадкой. И все в то же время понимают, что чем-то он очень ценен и всем очень нужен. Явление совершенно исключительное, не наблюдаемое по отношению ни к какому другому классику. И столь же исключительное явление — это всеобщая нужность столетнего классика, нужность вот теперь, в наше время, нужность широчайшим народным массам.

Что Пушкин достоин великого чествования как "создатель русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы", это столь же несомненно, как достоин этого, например, создатель русской науки Ломоносов. Тут не может быть никаких споров. Центр вопроса в другом. Ломоносова по праву будут чествовать, но читать его станут одни историки науки. Пушкин, кроме того, как отмечает постановление ЦИК СССР, "обогатил человечество бессмертными произведениями художественного слова". Вот это неумирающее, живое, а не историческое значение Пушкина и остается нами неразъясненным.

Очень знаменательно, что постановление ЦИК обходит молчанием значение Пушкина для современности как политического агитатора и обличителя общественного строя его времени. В этом отношении Пушкину принадлежит почетное место в истории русского революционного движения: агитационная роль пушкинской поэзии в декабрьском движении была огромна, у каждого декабриста при обыске находили его зажигательные стихи. Но для современности эта сторона поэзии Пушкина дает очень мало — слишком далеко мы ушли от общественно-политических позиций Пушкина. И вообще совершенно невозможно существо его поэзии рассматривать в том плане, в каком мы рассматриваем Рабле и Свифта, Вольтера и Барбье, Гейне и Гервега, Рылеева и Некрасова, Гоголя и Салтыкова-Щедрина: в этом плане каж-

дый из названных писателей даст Пушкину десять очков вперед и все-таки выйдет победителем.

Нам кажется, значение Пушкина для социалистической культуры должно рассматривать в том плане, в каком мы рассматриваем значение Парфенона и Венеры Милосской, Рафаэля и Микеланджело, "Руслана" Глинки и "Игоря" Бородина. Красота? Нет, дело много сложнее. Красоту мы признаем и в бесплотной монашеской мистике Фра-Анджелико, и в ликовании купечески-жирной плоти Рубенса, признаем у Бодлера, Эдгара По и Достоевского. Но более чем сомнительно, чтобы элементы этой красоты могли войти составною частью в грядущую социалистическую культуру. А Пушкин в эту культуру войдет. Чем? Недавно один рабочий на мой вопрос, за что он любит Пушкина, ответил с загоревшимися глазами:

— За то, что живой.

Это хорошо сказано. Несравненная красота подлинной, живой жизни так и хлещет из поэзии Пушкина. Даже самые обыденные явления жизни он умеет претворить в светлую, чистую и удивительно благородную красоту. Пушкин не был жизнерадостен в обычном значении слова ни в жизни, ни в творчестве. Для этого у него было слишком мало корней и в классовой принадлежности его к деградирующему дворянству, и в нервной его организации, и в очень тяжелых условиях личной жизни. Я думаю, что сверкающее жизнью творчество являлось для Пушкина средством отхода от его глубоко безрадостной подлинной жизни, что он заслонялся от нее миром "светлых привидений" и что только этот мир давал ему силу нести жизнь. Но это все относится уже к области психологии пушкинского творчества. Поэзия его остается для нас тою же, каковы бы ни были ее истоки.

А существо этой поэзии — в изумительном претворении жизни, как таковой, в красоту, полную глубокой и серьезной значительности. "Перед этими картинами жизни и природы бледна и жизнь, и природа", — замечал Белинский. И Гоголь писал: "...не вошла туда нагишом растрепанная действительность. Чистота и безыскусственность взошли тут на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною". Я не имею возможности долго останавливаться здесь на этом вопросе. Приведу только один пример, чтобы показать, что следует разуметь под этим претворением жизни у Пушкина.

Есть у него известное стихотворение, обращенное к жене:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...

В сущности, перед нами чисто физиологические описания. Подобного рода описания во всей мировой литературе без единого, кажется, исключения носят "соблазнительный", более или менее пикантный характер и оканчиваются не менее соблазнительным многоточием. Один Пушкин сумел подойти к этому явлению с такой серьезною, глубокою простотою,

так таинственно, с таким разбором слов,
С такою скромностью стыдливой...

что изумляешься: какое произошло волшебство, что "грязное неприличие", "веселенькая пикантность" претворились в такую чистую, глубокую, целомудренную красоту? Когда С. Т. Аксакову прочли это стихотворение, он побледнел от восторга и воскликнул:

— Боже, как он об *этом* рассказал!

Вот как Пушкин умеет углублять и очищать жизнь, вот как учит он нас любить и уважать.

Однако, в конце концов, все-таки это лишь мой личный взгляд, это — то, чем Пушкин ценен для меня. А чем он фактически ценен для нашей современности, для широчайших масс, так решительно повернувшихся к Пушкину лицом? Два года назад я писал на страницах "Известий": "Это — неоспоримый факт: "народная тропа" к памятнику Пушкина не только не заросла, но превратилась в большую, крепко утоптанную дорогу. Встает вопрос: почему Пушкин становится сейчас все нужнее, какую духовную потребность удовлетворяет он все победоноснее? Вопрос стоит того, чтобы подойти к нему научно и поставить его разрешение на объективную почву. Было бы достойно произвести к столетней годовщине Пушкина широчайшее систематическое обследование нашей читательской массы, выявить путем опроса или соответственно выработанной анкеты, чем именно ей дорог Пушкин, что она в нем находит, что он ей дает? При огромной сети рабочих и колхозных клубов и библиотек такое обследование у нас вполне возможно. Нечего говорить, какой огромный и ценный по своей непосредственности материал могло бы дать такое обследование — ценный и в литературном, и в социологическом отношении".

Хорошо бы, если бы Всесоюзный пушкинский комитет взял на себя инициативу в разрешении этой задачи.

ДВЕ ДУЭЛИ

Граф Владимир Александрович Соллогуб учился в Деритском университете, где окончил курс в 1834 году. Гостя еще студентом в Петербурге, он познакомился в театре с Пушкиным. Соллогуб-отец представил юношу Пушкину. А утром он познакомил сына с каким-то модным писателем X, который благосклонно пригласил молодого человека сегодня к себе на вечер. Прощаясь с Пушкиным, юный Соллогуб, желая показать, с какими знаменитыми людьми он знаком, почтительно сказал Пушкину:

— Александр Сергеевич, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами повстречаться сегодня у X.

Пушкин с добродушно-язвительной усмешкой ответил:

— Нет, с тех пор как я женат, я в такие дома не езжу.

Соллогуб сконфузился и к X не поехал, хотя отец его, смеясь, очень на этом настаивал.

По окончании университета Соллогуб упоенно зажил в Петербурге светскою жизнью, танцевал на балах, ухаживал за дамами. В январе 1836 года он определился на службу и был прикомандирован к тверскому губернатору. Накануне отъезда в Тверь Соллогуб был на вечере, где у него произошло столкновение с женою Пушкина. Наталья Николаевна подтрунивала над романической страстью Соллогуба к даме, по которой он вздыхал. Соллогуб рассердился, спросил Наталью Николаевну, давно ли она замужем, сказал, что она не девочка, и что-то намекнул насчет красавца поляка Ленского, прекрасно танцевавшего мазурку на петербургских балах. На следующий день Соллогуб уехал в Тверь, а через некоторое время получил от своего университетского товарища Андрея Карамзина, сына историка, письмо, где тот выражал удивление, что Соллогуб уклоняется от поединка, на который его вызвал Пушкин. Письма Пушкина Соллогуб не получил и тотчас же написал ему, что совершенно готов к его услугам, хотя не чувствует за собою никакой вины, объяснял, что в упоминании о Ленском не заключалось никакого намека, и т. п. В ответ он получил от Пушкина письмо на французском языке:

"Милостивый Государь! Вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждает меня требовать от вас удовлетворения за непристойность вашего поведения. Извините меня, что я не могу приехать в Тверь раньше конца настоящего месяца".

Делать было нечего. Соллогуб стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел в порядок бумаги и стал ждать Пушкина. Прошло три месяца. Пушкин все не приезжал. Соллогубу пришлось на два дня уехать в деревню, и как раз в это время Пушкин, по дороге в Москву, заехал в Тверь. Воротившись, Соллогуб узнал, что Пушкин был в Твери. Он пришел в ужас от мысли, что Пушкин подумает, будто он от него убежал, и тотчас же помчался в Москву. Приехал рано утром и немедленно явился к Нащокину, у которого остановился Пушкин. В доме все еще спали. Пушкин вышел в халате, заспанный и начал чистить свои длинные ногти. Держался он очень холодно. Условились о секундантах. Своим секундантом Пушкин назвал Нащокина. Между прочим он сказал:

— Неужели вы думаете, что мне весело стреляться? Да что делать? Я имею несчастие быть публичным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной.

Затем разговор несколько оживился, заговорили о начатом Пушкиным издании "Современника". Пушкин сказал:

— Первый том был очень хорош. Второй я постараюсь выпустить поскучнее: публику баловать нечего.

И он засмеялся. Беседа пошла почти дружески. Вышел Нащокин, тоже заспанный, с взъерошенными волосами, и сейчас же приступил к роли примирителя. Было ясно, что никто не ищет кровавой развязки, а все дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Пушкин непременно хотел, чтобы Соллогуб перед ним извинился. Обиженным себя он, впрочем, не считал, но ссылался на светское значение Соллогуба и как будто боялся скомпрометировать себя в обществе, если оставить без удовлетворения дело, получившее уже некоторую огласку: разговор Соллогуба с Натальей Николаевной слышали барышни Вяземские и растрезвонили о нем. Соллогуб объявил, что извиняться перед Пушкиным ни под каким видом не станет, так как не виноват решительно ни в чем; слова его были перетолкованы превратно. Спор тянулся долго. Наконец Пушкин предложил Соллогубу написать письмо Наталье Николаевне. На это Соллогуб согласился и написал такое письмо:

"Милостивая государыня! Я, конечно, не ожидал, что буду иметь честь писать вам. Дело в несчастной фразе, которую я произнес в припадке дурного расположения духа. Вопрос, с которым я к вам обратился, обозначал, что шалости молодой девушки не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, что этим словам придали значение, недостойное порядочного человека".

Пушкин требовал, чтобы Соллогуб в конце попросил у Натальи Николаевны извинения. Он желал письма как доказательства на случай, если его будут упрекать, что его жену можно безнаказанно оскорблять. Извиняться Соллогуб отказался. Пушкин сказал:

— Можно всегда просить извинения у женщины.

Нащокин тоже уговаривал. Наконец Соллогуб приписал: "и прошу принять мои извинения". Пушкин протянул Соллогубу руку и сделался чрезвычайно весел и дружелюбен.

Соллогуб возвратился в Петербург в октябре месяце. Пушкин встретился с ним у Вяземских, отвел в сторону и сказал:

— Не говорите моей жене о письме.

Наталья Николаевна своим волшебным голосом попросила у Соллогуба извинения. Все было забыто.

По уверению Соллогуба, он коротко сблизился с Пушкиным. Пушкин проявлял к нему большую симпатию, поощрял его первые литературные опыты, давал советы, читал свои стихи. Следует, однако, оговориться, что Соллогуб был большой хвастун и враль и в воспоминаниях своих считал не особенно нужным считаться с истиной. Когда ему однажды указала на это Смирнова, Соллогуб ответил: "Нужно немножко оживлять повествование". Он рассказывает, что каждый день ходил с Пушкиным гулять; на толкучем рынке они покупали сайки и, возвращаясь по Невскому, предлагали эти сайки разряженным светским щеголям, которые бегали от них с ужасом. Вечером они встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах.

Соллогуб жил на Большой Морской, у тетки своей А. И. Васильчиковой. Утром 4 ноября того же 1836 года она позвала племянника и с удивлением показала полученный ею по почте пакет, в котором оказалось запечатанное письмо на имя Пушкина. Соллогуб отвез письмо Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Он распечатал письмо и спокойно сказал:

— Я уже знаю, что это такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитрово; это мерзость против жены моей. Впрочем, вы понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может.

Пушкин говорил с большим достоинством, и Соллогуб вынес впечатление, что он хочет оставить все дело без внимания. Они по-прежнему продолжали вместе гулять. Соллогуб не замечал в нем особенной перемены. 16 ноября у Карамзиных праздновался день рождения хозяйки. Соллогуб сидел за обедом рядом с Пушкиным. Во время общего веселого разговора Пушкин вдруг наклонился к Соллогубу и сказал скороговоркой:

— Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли с Дантесом. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь.

Потом он продолжал шутить и разговаривать, как ни в чем не бывало. Соллогуб остолбенел, но возражать не осмелился: в тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений.

На следующий день Соллогуб поехал к д'Аршиаку и с изумлением узнал, что Пушкин немедленно по получении анонимного пасквиля вызвал Дантеса на дуэль, что по просьбе старика Геккерена — приемного отца Дантеса — отложил поединок на две недели, что Дантес женится на свояченице Пушкина, но требует, чтобы Пушкин безусловно отказался от вызова, так как не может допустить, чтобы о нем говорили, будто он женился по принуждению из боязни поединка. Д'Аршиак с Соллогубом поехали к Дантесу. Так как Пушкин обязал Соллогуба условиться только о материальной стороне дуэли и не вступать ни в какие переговоры, то назначили дуэль на 21 ноября. Соллогуб послал к Пушкину своего кучера с запиской, где извещал о дне и условиях дуэли, и прибавил, что Дантес готов жениться на Екатерине Гончаровой лишь в том случае, если Пушкин признает, что он вел себя в этом деле, как честный человек. Соллогуб умолял Пушкина согласиться на это предложение. Кучер привез ответное письмо, где Пушкин брал свой вызов обратно и заявлял, что не имеет оснований приписывать женитьбу Дантеса неблагородным соображениям. Пушкин остался, однако, очень недоволен тем, что Соллогуб, несмотря на его требование, вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.

— У него, кажется, грудь болит, — говорил он, — того и гляди — уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее.

Он был в это время как-то желчно-весел.

— А вы проиграете мне все ваши сочинения?

— Хорошо.

Вскоре Соллогуб уехал в служебную командировку и больше с Пушкиным уже не виделся.

ОКОЛО ПУШКИНА

Заметки

1. На Аракчеева или на Стурдзу?

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу.
А впрочем...

С тех пор как по цензурным условиям оказалось возможным печатать эту эпиграмму Пушкина, почти все редакторы (академическое издание, Ефремов, Морозов, Венгеров, Брюсов), вслед за берлинским изданием, где впервые была напечатана эпиграмма, относят ее к Аракчееву. Князь Вяземский, просматривая берлинское издание, на полях возле приведенной эпиграммы написал: "Вовсе не на Аракчеева, а на Стурдзу, написавшего современно смерти Коцебу политическую записку о немецких университетах" ("Старина и новизна", т. VIII). Авторитетное это свидетельство не поколебало редакторов. Академическое издание возражает: "Замечания князя Вяземского, писанные пятьдесят лет после сочинения Пушкиным эпиграммы, могут заключать в себе неточности от запамятования" (т. II, с. 303). Лернер замечает: "Относить эпиграмму на счет Стурдзы, вопреки утверждению всех ее списков, едва ли есть основание" (Пушкин, изд. Брокгауза-Ефрона, т. II, с. 548). Венгеров прибавляет: "Едва ли Пушкин стал бы с такою силою выступать против какого-нибудь Стурдзы, Стурдза был маленький человечек" (там же). В 1913 году Ю. Н. Щербачев опубликовал тетради пушкинского приятеля П. П. Каверина с записями целого ряда пушкинских стихов. Разбираемая эпиграмма носит здесь заглавие: "На Стурдзу" (Ю. Щербачев, "Приятели Пушкина Щербинин и Каверин", М., 1913, с. 91). В примечании своем Щербачев правильно указывает на зыбкость главного основания, по которому редакторы относят эпиграмму к Аракчееву: "Тот факт, что списки какого-либо стихотворения ходят под одним заглавием, далеко не доказывает, что заглавие это верно. Большинст-

во читателей было совершенно незнакомо со Стурдзою, но "всей России притеснителя" знало хорошо и ненавидело от души, а потому, без колебаний и с злорадством, отнесло эпиграмму на счет Аракчеева".

Более подробное ознакомление с жизнью и деятельностью Стурдзы, думается, решает вопрос о данной эпиграмме с полною несомненностью. Стурдза был крайний реакционер и пиэтист, служил в русском министерстве иностранных дел. Для Аахенского конгресса он, по поручению императора Александра I, написал доклад о германских университетах, которые, вместо того чтобы строить ковчег христианского государства, являются, по мнению Стурдзы, рассадниками революционного духа и атеизма. В то время влияние русского правительства в Германии было очень сильно, и Стурдза вызвал к себе в немецком студенчестве не меньшую ненависть, чем действовавшие в том же направлении немецкий драматург Коцебу и профессор права Шмольц. На Иенском съезде студенческого тайного общества было постановлено всех троих убить, и выбранным трем студентам были торжественно вручены кинжалы. Коцебу был убит Зандом. Шмольц, здоровый и сильный, отбился от нападения. Стурдза, предупрежденный заранее, уехал в Россию. 12 апреля 1819 года князь Вяземский писал из Варшавы А. Тургеневу: "Здесь Стурдза, укрывающийся в Варшаве от германских кинжалов. Он и Шмольц были обреченными жертвами, по крайней мере как он мне сказывал... Кажется, дрезденское правительство убедило Стурдзу выехать, не отвечая за его жизнь, несмотря на всю бдительность полиции". И 18 апреля: "Здесь (в Варшаве) вся полиция охраняет Стурдзу, и на днях схватили каких-то приезжих студентов" ("Остафьевский архив", т. I, с. 215, 216, 220). В связи с этим несостоявшимся покушением немецких студентов на Стурдзу совершенно определенный и несомненный смысл получают именно в отношении к нему слова пушкинской эпиграммы: "благодари свою судьбу" и "ты стоишь смерти Коцебу".

Вяземский писал Тургеневу о Стурдзе в середине апреля 1819 года. Пушкин часто виделся в Петербурге с Тургеневым и, конечно, знал от него о замышленном покушении на Стурдзу. Это дает нам возможность более или менее точно датировать эпиграмму Пушкина, относимую редакторами к 1820 году. Всего естественнее предположить, что эпиграмма была написана под свежим впечатлением вестей о Коцебу и Стурдзе — значит, в апреле—мае 1819 года.

Следует отметить, что редактор последнего (1930) издания Сочинений Пушкина, М. А. Цявловский, относит эпиграмму к Стурдзе.

Пушкин на обеде у Смирдина.
Эскиз титульного листа для альманаха "Новоселье". 1832



А. С. Пушкин.
Неизвестный художник. 1831



Ж. Дантес-Геккерн.
Бенар с оригинала неизвестного художника. 1830-е гг.



Мария Александровна Пушкина,
в замужестве Гартунг
(старшая дочь Пушкина).
И. К. Макаров. Первая половина 1850-х гг.



Александр Александрович Пушкин
(старший сын Пушкина).
Томас Райт. 1844

Григорий Александрович Пушкин
(младший сын Пушкина).
Томас Райт. 1844





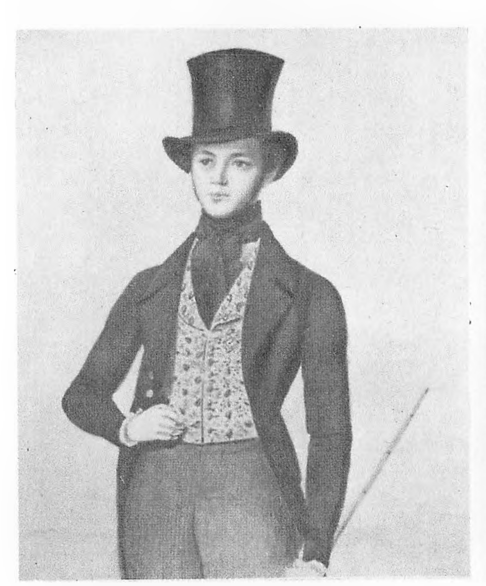
Наталья Александровна Дубельт,
урожденная Пушкина
(младшая дочь Пушкина).
И. К. Макаров. Конец 1850-х гг.



Е. Н. Вревская,
урожденная Вульф.
А. А. Багаев. 1831



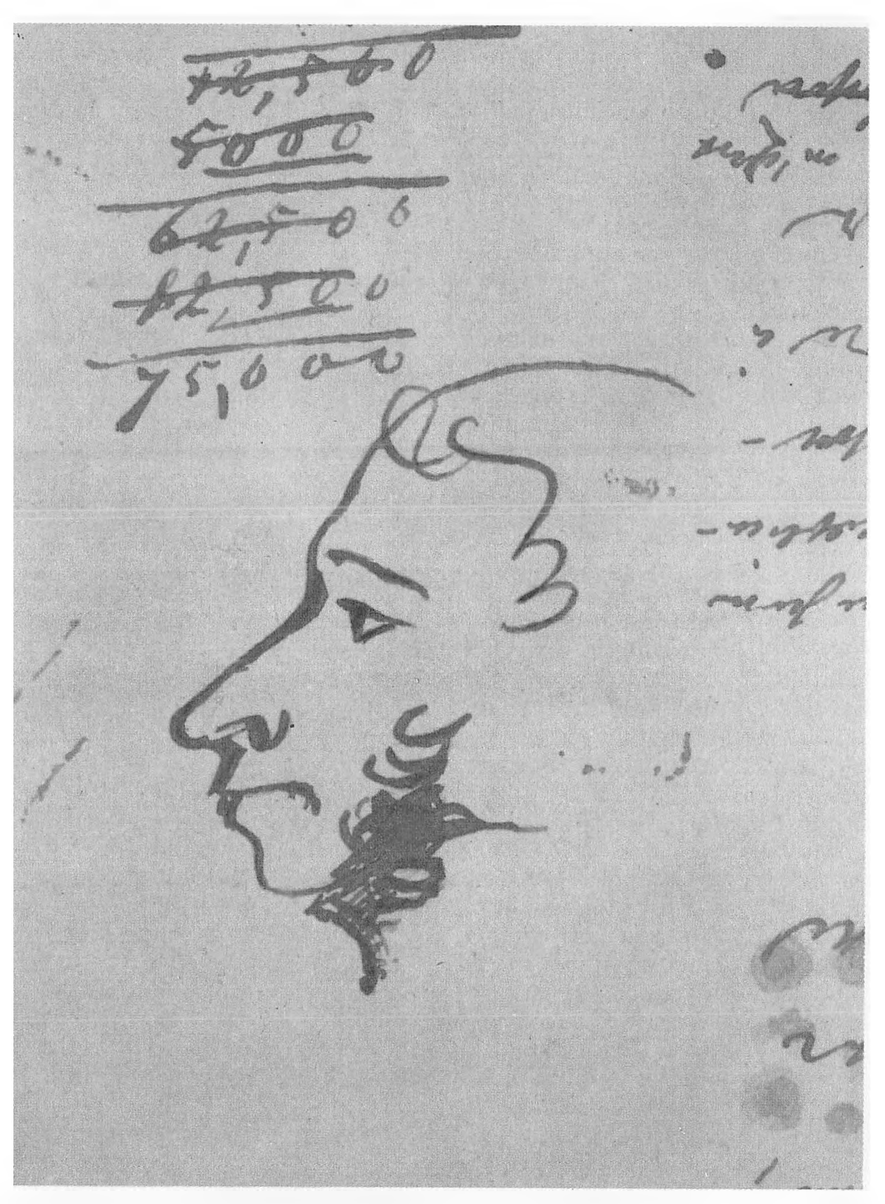
А. Ф. Закревская.
Е. И. Гейтман. 1827



В. А. Соллогуб.
Неизвестный художник. 1830-е гг.



В. Ф. Вяземская.
К.-Х. Рейхель. 1817



Последний автопортрет А. С. Пушкина. 1836

2. Пушкин и княгиня Вяземская

Вера Федоровна Вяземская — жена П. А. Вяземского, поэта, друга Пушкина. Вигель в своих "Записках" дает ей яркую и тонкую характеристику: "Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась; немного старее мужа и сестер, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелым обхождением она никак не походила на нынешних львиц; оно в ней казалось не наглостию, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал; ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор ее. Такие женщины иногда родятся, чтобы населять сумасшедшие дома. К нашему полу она была немилосердна. Какая женщина не хочет нравиться? В ней это желание было сильнее, чем в других. Но все влюбленные казались ей смешны; страсти, ею производимые, в глазах ее были не что иное, как сочиненные ею комедии, которые перед нею разыгрывались и ее забавляли. Никого не поощряя, она частыми насмешками более производила досаду в тех, коих умела привлекать к себе. Сколько было безумцев, закланных, подобно баранам, на жертвеннике супружеской верности тою, которая и мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно".

Пушкин познакомился с Вяземскою в бытность свою в Одессе, летом 1824 года, когда она приехала в Одессу с двумя детьми купаться в море. Здесь они дружески сошлись, — "добрая и милая баба", — отзывался о ней Пушкин. Когда он был назначен к высылке из Одессы и собирался бежать за границу, Вяземская старалась раздобыть для него денег и устроить на идущий в Константинополь корабль. Предприятие не удалось. Пушкин уехал в михайловскую ссылку. Прошло два года. Он вызван был царем из Михайловского в Москву, пожил там некоторое время, часто виделся с Вяземскими, увлекся своею однофамилицею Софьей Пушкиной, и в ноябре 1826 года поехал на полтора месяца обратно к себе в деревню. Княгиня Вяземская просила его купить ей в Торжке несколько поясов — Торжок славился сафьяновыми изделиями, шитыми золотом и серебром. 3 ноября Пушкин пишет княгине Вяземской из Торжка (по-французски): "Спешу, княгиня, послать вам поясы. Вы видите, что мне

представляется прекрасный случай написать вам мадригал по поводу пояса Венеры, но *мадригал и чувство стали одинаково смешны*. Что сказать вам о моем путешествии? Оно продолжается при очень счастливых предзнаменованиях, за исключением отвратительной дороги и невыносимых ямщиков. Толчки, удары локтями и пр. очень беспокоят двух моих спутников, я прошу у них извинения за вольность обращения, но *когда путешествуешь совместно, то необходимо кое-что прощать друг другу*. С. П. (Софья Пушкина) — мой добрый ангел, но *другая* — мой демон; это весьма некстати смущает меня в моих любовных и поэтических размышлениях. Прощайте, княгиня, — еду похоронить себя среди моих соседок, — молитесь за упокой моей души. Если вы удостоите прислать мне в Опочку небольшое письмецо страницы в четыре, то это будет с вашей стороны очень милое кокетство. Вы, которая умеете написать записку лучше, чем моя покойная тетушка, неужели вы не проявите такой доброты? (NB: *"записка впредь синоним музыки")... Не довольно ли намеков? Ради бога, не давайте ключа к ним вашему супругу. Решительно восстаю против этого!"*

Комментаторы говорят: легкая светская болтовня. Однако под покрывалом этой болтовни конспирация так и выпирает всеми углами. Намеки, которых не должен понимать муж. Уговор о замене на будущее одних слов другими. Останавливает внимание пространная болтовня Пушкина о неприятностях путешествия втроем, о том, что при этом "необходимо кое-что прощать друг другу". Что до этого Вяземской? Для чего было ей об этом писать? Получается впечатление, что до этого у них был какой-то очень серьезный разговор и теперь он продолжается намеками, под видом легкой болтовни. Впечатление это окончательно крепнет при чтении ответа Вяземской. Она пишет: "Я думаю, вот письмо, которое сильно займет вас, а моя слабость и леность воспользуются этим, чтобы сказать вам всего несколько слов. Продолжают ли добрый ангел и демон составлять ваше общество? Я думаю, вы давно уже оставили их. Кстати, вы так часто меняете свои "предметы", что я не знаю, кто же "другая". Муж меня уверяет, будто я "надеюсь", что это я сама. *Да сохранит нас обоих от этого небо! Прежде всего я не хочу с вами путешествовать, я чересчур слаба и стара, чтобы рыскать по большим дорогам; я сделалась бы в прямом смысле вашим злым ангелом. Но я рассчитываю на вашу дружбу*. Вы, кажется, впрочем, сбросили с себя это иго, которому должны быть обязательно подчинены, чтобы

выслушивать без возмущения некоторые правдивые слова. Итак, прощайте, мой серьезный друг".

В какое путешествие звал Пушкин Вяземскую, в какое путешествие в буквальном смысле *мог* он ее звать? Что это за старость в тридцать шесть лет, которая мешает Вяземской "рыскать по большим дорогам"? И что это за логика: я слишком стара, чтобы рыскать с вами по большим дорогам, — но я рассчитываю на вашу дружбу? Умница Вяземская прекрасно поняла "намеки" Пушкина и отвечает ему такими же "намеками", закутанными довольно непрозрачной для нас кисеей "легкой болтовни". Мне кажется, можно с некоторою долею вероятности расшифровать эту загадочную переписку так. "Кто это *другая?*" — спрашивает Вяземская. Ясно, она сама, муж ее угадал вполне верно. Пушкин для чего-то подчеркивает это слово, первую возлюбленную называет инициалами — С. П., вторую назвать не считает нужным, как будто они об ней не раз уже говорили, как будто она Вяземской хорошо известна. А Вяземская невинно раскрывает глаза: "Кто это — другая? Муж уверяет, что это я. Если это так, то..."

Пушкин в Москве сильно увлекался Софьей Пушкиной. Однако, при темпераменте Пушкина, это обстоятельство нисколько не могло помешать ему попытаться завести "благородную интригу" и с В. Ф. Вяземской. Она не отвергла его домогательств с целомудренным негодованием матроны. Она — вспомним характеристику Вигеля, — она кокетничала, смеялась и забавлялась комедией, которая перед нею разыгрывалась. Она возражала Пушкину: но как же это? Ведь вы так увлечены маленькой Софьей Пушкиной! А Пушкин доказывал, что это ничего не значит, что одна любовь вовсе не исключает другую. Она звонко на это хохотала, возражала, что такой одновременной любви к двоим никак не может принять. И вот Пушкин в письме своем старается убедить Вяземскую, что при путешествии втроем приходится мириться с некоторыми неудобствами и "кое-что прощать друг другу". Вяземская отвечает мягко, но теперь уже серьезно и с большим достоинством, что она слишком стара для тягостей подобного путешествия, что постоянная смена Пушкиным "предметов" прельщает ее очень мало и что она ждет от "серьезного" своего друга только одного — дружбы.

Характерно еще вот что. В письме своем из Торжка Пушкин просит Вяземскую не давать мужу ключа к пониманию его намеков, то есть очевидно, не показывать мужу письма. Но она

мужу письмо показала: в ответном письме Вяземская сообщает о догадке мужа, кто такая "другая". И в этом же письме за конспиративно завуалированным ответом Вяземской следует приписка ее мужа — очевидно, он и этот ее ответ читал. Положение для Пушкина получилось глупейшее — форменный "баран, закланный на жертвеннике супружеской верности". И в ответном письме Пушкин сконфуженно пишет, вставляя в русское письмо французскую фразу: "Adieu, couple si etourdi en apparence (чета, столь на вид ветреная), adieu, князь Вертопрахин и княгиня Вертопрахина. Ты видишь, что у меня недостает уж и собственной простоты для переписки".

На этом закончилась попытка Пушкина завязать роман с княгиней Вяземской. Дальнейшие отношения их были дружески-хорошие.

3. Пушкин и Анна Вульф

Старшая дочь тригорской соседки Пушкина П. А. Осиповой от первого ее брака, ровесница Пушкина. Полная, круглолицая, с грустными глазами, с "прехорошенькими", по мнению Пушкина, ножками. Была сентиментальна и любила высокопарные слова, от которых Пушкина коробило. У Пушкина был с нею самый вялый и прозаический из всех его романов, и в одном письме к ней он сам назвал себя ее "прозаическим обожателем". Начало их отношений очень неясно. В августе 1824 года Пушкин приехал из Одессы в Михайловское, постарался оттолкнуть от себя всех соседей и часто бывал только в Тригорском. Но привлекала его туда одна мать, П. А. Осипова. В начале октября он писал княгине Вяземской: "Я часто видаюсь только с одною доброю, старою соседкою, слушаю ее патриархальные разговоры; дочери ее довольно непривлекательны во всех отношениях". В начале декабря пишет брату: "Твои троегорские приятельницы — несносные дуры, кроме матери". А между этими двумя отзывами, в конце октября, пишет брату об Анне Николаевне: "С Анеткою бранюсь — надоела". Как будто, значит, какие-то отношения были, но очень скоро пришли к концу. Однако к концу они не пришли. На всем протяжении ссыльной жизни Пушкина в Михайловском отношения эти продолжаются — со стороны Пушкина нудные, холодные и беспорывные. О своеобразном характере этих отношений можно только догадываться, освещая дошедшие до нас намеки общим представлением о "лю-

бовном быте" тогдашних помещичьих гнезд, как он вырисовывается в дневнике Алексея Вульфа, брата Анны Николаевны. Суть и цель ухаживания за девушкой заключается в том, чтобы, выражаясь словами Вульфа, "до известной точки пользоваться с нею везде и всяким образом наслаждениями вовсе не платоническими". В письмах 1826 года Анны Николаевны к Пушкину находим целый ряд намеков на характер их отношений. "Я нашла здесь в Малинниках очень милого кузена, — пишет она в одном письме, — который меня страстно любит и не желает ничего лучше, как доказать мне это по вашему способу, если бы я только пожелала. Он не может перенести мысли, что я столько времени пробыла с вами, таким безнравственным человеком". В другом письме она пишет про уланского полковника Анрепа, начавшего за нею ухаживать: "Этот превосходит даже и вас, чему бы я никогда не поверила, — он идет к своей цели гигантскими шагами; я думаю, что он даже превосходит вас в дерзости". Вспоминаются поучения, которые Пушкин много позже делал молодому князю Павлу Вяземскому: "В обращении с женщинами не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки". "Гадкий вы! — пишет Анна Николаевна в третьем письме. — Недостойны вы, чтобы вас любили, много счетов нужно бы мне свести с вами".

Холодно-чувственное увлечение Анной Николаевной не мешало Пушкину одновременно увлекаться и другими женщинами — Нетти Вульф, Анной Петровной Керн. Он не стесняется в письме к любящей его девушке изливать страстные восторги по поводу А. П. Керн, что доставляло большое страдание Анне Николаевне. Тон обращения Пушкина с самой Анной Николаевной — пренебрежительный и насмешливый. Он советует ей в письме: "Будьте ветрены лишь с вашими друзьями-мужчинами, — они воспользуются этою ветреностью только в свою пользу, тогда как друзья-женщины повредят вам, ибо все они столь же пусты и столь же болтливы, как и вы сами". Пушкин сам сознается, что не раз позволял себе с нею "злые шутки". Это чередовалось, однако, и периодами нежного отношения. В феврале 1826 года Пушкин был, одновременно с Анной Николаевной и ее матерью, в Пскове. Об этом пребывании Пушкина в Пскове биографы его не знают, но оно с несомненностью вытекает из ознакомления с тогдашними письмами Анны Николаевны. Там они провели несколько дней, оставшихся сладко-памятными Анне Николаевне. Там они "совершенно помирились", как

писал Пушкин ее брату Алексею. Мать ее нашла, что Пушкин при прощании был грустен, и сказала: "Ему, кажется, нас жаль". А нежность его прощания с Анной Николаевной вызвала ее насмешливое замечание: "Он думал, что я ничего не замечаю". Пушкин уехал обратно в Михайловское, а мать увезла дочь в тверскую свою деревню Малинники, пожила там и воротилась одна в Тригорское, на долгие месяцы оставив дочь в Малинниках. Анна Николаевна была убеждена, что мать разлучила ее с Пушкиным из ревности, "желая одна одержать над ним победу". Возможно, однако, что мать, догадавшись о характере их отношений, просто сочла нужным держать дочь подальше от него. Мы имеем целый ряд писем на плохом французском языке, писанных из Малинников Анной Николаевной Пушкину весною 1826 года. Письма задушевные и трогательные, говорящие о глубокой, страдальческой любви девушки к Пушкину. Стиль их — совершенно стиль письма Татьяны к Онегину. "С чего мне начать и что вам сказать? Я боюсь и не могу дать воли моему перу; боже, почему я не уехала раньше, почему?.. Но нет, мои сожаления ни к чему, они будут лишь торжеством для вашего тщеславия; очень возможно, что вы уже не помните последних дней, которые мы провели вместе... Я пишу вам письмо и плачу. Меня это компрометирует, я чувствую, но это сильнее меня; я не могу себя преодолеть... Не обманывайте меня, во имя неба скажите, что совсем меня не любите, тогда, может быть, я буду спокойнее. Какое очаровывающее волшебство пленило меня! Как вы умеете разыгрывать чувства! Я согласна со своими кузинами, что вы очень опасный человек, но я постараюсь стать благоразумной". С наивною кокетливостью рассказывает, как за нею ухаживают уланы и гвардейские офицеры, и тут же прибавляет, что остается к их ухаживаниям совершенно холодна и думает только об нем. "Ах, Пушкин, недостойны вы любви! Вы разрываете и раните сердце, цены которому не знаете".

Ответные письма Пушкина до нас не дошли: по распоряжению Анны Николаевны, они были после ее смерти уничтожены. Но из писем Анны Николаевны видно, как на них реагировал Пушкин; она горько удивляется холодности его писем; он отвечает, что "плоскость" писем его объясняется... его любовью к ней. Она просит его уничтожать ее письма — он небрежно оставляет их на виду, так что они рискуют попасть на глаза ее матери. Получив конспиративно доставленное ее письмо, восклицает при

всех: "Ах, господи, что за письмо! Словно от женщины!" Бросает его и берется за письмо Нетти Вульф. Вполне ясно: с ее стороны была глубокая, серьезная любовь, с его стороны — баловство от скуки и неприятное чувство, что связался с этою надоевшею ему девицею.

Анне Николаевне посвящено Пушкиным стихотворение-мадригал "Имениннице" — такое же холодное, не согретое истинным чувством, как и его отношение к ней самой. К ней же обращено циничное стихотворение:

Увы, напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь:
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронут гордой!
Одним страданьем буду сыт,
И пусть мне сердце скорбь расколет.
Она на щепочку на...,
Но и понюхать не позволит.

Мы думаем, ее же имеет в виду черновой набросок от 1825 года:

Но ты забудь меня, мой друг,
Забудь меня, как забывают
Томительный, печальный сон...

Возможно, что к ней же относится и другой черновой набросок того же времени:

Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
Но время протекло, настала перемена,
Ты приближаешься к сомнительной поре,
Как меньше женихов толпится на дворе,
И тише звук похвал твой слух обворажает,
А зеркало сильней грозит и упрекает.
...утешься и смирись,
От милых прежних прав заране откажись,
Ищи других побед, — успехи пред тобою,
Я счастия тебе желаю всей душою!
...и опытов моих,
Мой дидактический, благоразумный стих.

Когда Пушкин в первый раз приезжал в Михайловское летом 1817 года, Анне Николаевне было как раз семнадцать лет (родилась в декабре 1799 года). Теперь ей было 26—27.

Осенью 1826 года, освобожденный из ссылки, Пушкин уехал в Москву, там страстно влюбился в Софью Пушкину. В начале ноября, уезжая на время обратно к себе в Михайловское, он писал княгине Вяземской: "С. П. (Софья Пушкина) — мой добрый ангел, но другая — мой демон; это весьма некстати смущает меня в моих любовных и поэтических размышлениях. Прощайте, княгиня, — еду похоронить себя в обществе моих соседок". Некоторые склонны думать, что под "демоном" Пушкин тут разумеет именно Анну Николаевну Вульф. Навряд ли это так. Мы полагаем, что "демоном" Пушкин вызывающе называет здесь саму княгиню Вяземскую.

Анна Николаевна надолго пережила Пушкина. Замуж она не вышла и вела типическую жизнь "непристроившейся" старой девы — ничем не занимаясь, все больше толстея, живя то в Тригорском и Малинниках, то в Петербурге, то в Голубове у замужней сестры, — везде одинаково скучая и тоскуя.

"ВТОРОКЛАССНЫЙ ДОН-ЖУАН"

Утверждают, что Дон-Жуан, герой одной из популярнейших европейских легенд, существовал в действительности. В середине четырнадцатого века в Севилье жил молодой человек гранд Дон-Жуан ди Тенорио. Он вел распутную жизнь, обольщал девушек и женщин. Однажды ночью он пробрался в дом командора ордена Калатравы, с целью обольстить его дочь. На крик девушки прибежал ее отец. Дон-Жуан убил его на поединке. Командора похоронили в монастыре францисканцев и на могиле воздвигли статую. По просьбе семьи убитого монахи заманили Дон-Жуана в монастырь, убили и распустили слух, что его низвергла в ад статуя командора, которую он оскорбил.

Эта благочестивая легенда, рассказывающая, как жестоко карают грешника вышние силы, родилась на заре эпохи Возрождения, когда средневековая аскетическая мораль начала трещать по всем швам, когда буйными волнами все выше стало вздыматься стремление к "реабилитации плоти", к свержению пут, наложенных на человека монашеским средневековьем. Благодаря завлекательности сюжета легенда получила большую популярность во всех европейских странах. Однако новое жизнеотношение очень успешно стало вытравлять из легенды самую ее существенную часть — благочестивое стремление устрашить грешников ждущею их за гробом карою.

Одним путем пошла итальянская народная комедия — commedia dell'arte. Она заполнила драму смехом, шутками, буффонадами и главную роль отвела слуге Дон-Жуана — Арлекину или Пассарино. Является Каменный гость. Слуга, с полным стаканом вина в руке, перекувыркивается, не проливая ни одной капли. Он все время сыплет остротами, в самом комическом виде изображает охвативший его ужас, и Дон-Жуан проваливается при общем хохоте зрителей.

Другим путем пошла серьезная драма. Первая литературная обработка легенды принадлежит испанскому драматургу Тирсо-де-Молина (XVII в.). Заключительная сцена ужина Дон-Жуана со статуей командора в подземелье часовни должна была в достаточной степени нагонять жуть на верующих зрителей — как командор угощает Дон-Жуана адскими блюдами из тарантулов и ехиден, вином из желчи и уксуса, как на мольбы Дон-Жуана дать ему причаститься перед смертью отвечает: "Поздно!" Но уж и здесь Дон-Жуан выведен бестрепетным смельчаком, без колебаний идущим на общение с адским пришельцем. У последующих драматургов Дон-Жуан является гордым богоборцем. У французского драматурга Доримона он говорит отцу: "Ни отец, ни король, ни бог не предпишут мне законов". А когда статуя командора призывает его к покаянию, Дон-Жуан с вызовом восклицает: "Я не раскаюсь из боязни смерти, и если бы небо вооружилось против меня, я стал бы с ним бороться!" В дальнейшей эволюции Дон-Жуан приобретает новую черту — полное безбожие. У Мольера он говорит: "Я верю только в то, что два и два — четыре, а четыре да четыре — восемь".

Высшего завершения образ Дон-Жуана достигает у Моцарта. Либретто Да-Понте Моцарт насыщает музыкою такой потрясающей силы, что Дон-Жуан вырастает у него до размеров титана, достойного стать рядом с героями античной трагедии. Помню Дон-Жуана в великолепном исполнении Баттистини.

Дворец Дон-Жуана. Пир окончился, гости разошлись. За сценою раздаются странные, жуткие звуки. В музыке нарастающая тревога. Лепорелло в смятении. Дон-Жуан посылает его узнать в чем дело. Лепорелло идет и в ужасе прибегает обратно:

А, синьор! Беда, беда!
Не ходите вы туда!
Гость из камня... Бел, как мрамор...
А, синьор, я мертв от страха!
Верьте мне, я ясно видел,
Слышал сам, как он идет...
Та! Та!.. Та! Та!

ДОН-ЖУАН. Ничего не понимаю!
ЛЕПОРЕЛЛО. Та! Та!.. Та! Та!
ДОН-ЖУАН. Лепорелло, ты дурак!
ЛЕПОРЕЛЛО. Что? Слыхали?

Там стучатся.

ДОН-ЖУАН. Отвори же.
ЛЕПОРЕЛЛО. Я боюсь.
ДОН-ЖУАН. Отворяй!
ЛЕПОРЕЛЛО. Ой-ой!

ДОН-ЖУАН. Ты слышишь?
ЛЕПОРЕЛЛО. Ой-ой-ой!
ДОН-ЖУАН. О, трус несчастный!
Чтоб покончить с этой шуткой,
Я пойду открою сам!

Мерно и, как судьба, неотвратимо звучат в оркестре тяжкие шаги командора. На пороге появляется статуя.

Дон-Жуан! К себе на ужин
Звал меня ты. И я явился.
ДОН-ЖУАН. Никогда б я не поверил...
Но я вам душевно рад.
Лепорелло, поскорее
Дай сюда еще прибор.
ЛЕПОРЕЛЛО. Ах, синьор, мы все погибли!
ДОН-ЖУАН. Ну, скорее!
КОМАНДОР. Стой! не ходи!
Кто питается пищей небесной,
Не нужна тому пища земная.
Не для того я пришел издалека,
С целью иною пришел я сюда.
ДОН-ЖУАН. Говори же! Что нужно? Что хочешь?
КОМАНДОР. Слушай! Скажу я. Мой короток срок.
ДОН-ЖУАН. Говори, говори же, я жду.
КОМАНДОР. Ты звал меня на ужин.
Долг ты хозяина знаешь.
Ответь же мне, — пойдешь ли
Ужинать со мною?

Лепорелло из-под стола, куда он спрятался, тихонько подсказывает Дон-Жуану: —

Нет, нет, я занят, простите!
ДОН-ЖУАН. Никто презренным трусом
Меня не назовет.
КОМАНДОР. Решай же!
ДОН-ЖУАН. Я уж решился.
КОМАНДОР. Пойдешь?
ЛЕПОРЕЛЛО. Скажите: нет!
ДОН-ЖУАН. В груди не слабо сердце,
Нет страха в нем... Пойду!
КОМАНДОР. Дай же в залог мне руку.
ДОН-ЖУАН. Ой!
КОМАНДОР. Что с тобою?
ДОН-ЖУАН. Как холодна рука!
КОМАНДОР. Жизнь измени! Покайся!
Последний срок приходит!
ДОН-ЖУАН. Нет, нет, я не покаюсь.
Прочь от меня иди!

Голос Командора гремит.

Рука Дон-Жуана сдавлена страшным каменным пожатием. Упав на колено, он извивается в нестерпимых муках.

— Кайся скорей, преступный!

ДОН-ЖУАН. Старик, ты в детство впал!
КОМАНДОР. Кайся!
ДОН-ЖУАН. Нет!
КОМАНДОР. Кайся!
ДОН-ЖУАН. Нет!
КОМАНДОР. Да!
ДОН-ЖУАН. Нет!
КОМАНДОР и ЛЕПОРЕЛЛО. Да!
ДОН-ЖУАН. Нет!
КОМАНДОР. Ах, срок уже прошел!

Из-под земли вырываются в огне адские страшилища, кидаются на Дон-Жуана и увлекают его.

В смерти своей Дон-Жуан высоко поднимается над прожитою жизнью — не покаянием, а бесстрашно-гордым отказом от покаяния.

Теперь сравните у Пушкина.

Дон-Гуан у Доны Анны. Она назначает ему назавтра свидание, целует его. Он уходит и вбегает назад.

ДОН-ГУАН. А!
ДОНА АННА. Что с тобой?.. А!..

Входит статуя командора. Дона Анна падает в обморок.

СТАТУЯ. Я на зов явился.
ДОН-ГУАН. О боже! Дона Анна!
СТАТУЯ. Брось ее.
Все кончено. Дрожишь ты, Дон-Гуан?
ДОН-ГУАН. Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
СТАТУЯ. Дай руку.
ДОН-ГУАН. Вот она... О, тяжело
Пожатие каменной его десницы!
Оставь меня, пусти, пусти мне руку...
Я гибну — кончено... О, Дона Анна!

Пришел командор, взял Дон-Гуана за шиворот, как напакостившего щенка. И щенок, визжа от испуга, кувырком полетел в преисподнюю.

В чем дело? Неужели Пушкин, знакомый с великолепною гибелью Дон-Жуана у Моцарта, не сумел дать чего-либо подобного? Или смехотворно-жалкий конец его Дон-Гуана органически входил в художественный замысел Пушкина и естественно вытекал из всей трактовки им этого образа?

Мне приходилось не раз указывать, что Пушкин в существе своем был далеко не так ясен, гармоничен и жизнерадостен, как его обычно изображают. Да и слишком для этого было мало данных и в самой натуре поэта, и в тяжелых условиях его жизни. Путем огромной работы над собою Пушкин преодолевал свои гнетущие и упадочные настроения, умел стать выше их. Темную, низменную жизнь с ее скукою, унынием и безнадежностью он в творчестве своем пропитывал ярким солнечным светом и делал ее бодрящею, прекрасною. Интересно наблюдать, как это у него происходило. Приведем один пример. В сентябре 1835 года Пушкин писал жене из деревни: "В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу". Вот первоначальное, так сказать, биографическое впечатление Пушкина от молодой сосновой поросли: "досадно мне смотреть на нее". Это эгоистическое, темное, как руда, живое впечатление в огне творчества переплавляется в светлое, как золото, примирение старости с идущей ей на смену молодою жизнью и в радостное приветствование ее:

Здравствуй, племя,
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий, поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук...
и т. д.

Поэзия Пушкина — это поистине самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа. Однако в черновиках Пушкина, в набросках его первоначальных замыслов мы иногда наталкиваемся на странные низины, совершенно неожиданные для Пушкина и говорящие, что первоначальные его настроения, соответствующие начальным стадиям творчества, не бывали лишены настроений глубоко упадочного характера.

В одном черновом наброске, относящемся к 1823 году, поэт пишет:

Придет ужасный миг, — твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почиют мощи хладны;

Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой...
Лампада бледная твой бледный труп осветит...
Коснусь я хладных ног, к себе (обняв) их на колени
Сложу и буду ждать... Чего?
Чтоб силою мечтанья моего
У ног твоих...

И это не единичное место. В 1826 году Пушкин пишет монолог князя, идущего лунною ночью на свиданье с русалкою, может быть, первоначальный набросок "Русалки":

Дыханья нет из бледных уст, — но сколь
Пронзительно сих влажных, синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья,
Томительно и сладко — в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается — тогда
Какой-то хлад как ужас пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томленьем и любовью замирая,
И в этот миг я рад оставить жизнь —
Хочу стонать и пить ее лобзанья...

Как будто все это пишет Бодлер. Но Бодлер при подобных настроениях и оставался. Пушкин же с жизненных низин, как по ступенькам, с каждой стадией своей работы поднимается все выше и выше на вершины чистейшего целомудрия и ясности духа.

Очень интересно по черновикам Пушкина прослеживать этот процесс постепенного облагораживания и углубления намеченной темы. Вот, например, стихотворение "Жил на свете рыцарь бедный". Первоначально это было длинное стихотворение, где рассказывалось о том, как рыцарь влюбился в изображение девы Марии и стал равнодушен ко всем женщинам, как перестал молиться отцу, сыну и святому духу и целые ночи проводил перед образом богоматери, как отправился в Палестину:

Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он, будто заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он.
Между тем, как он кончался,
Бес лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Утащить он в свой предел,
Он-де богу не молился,

Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа.
Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

Своеобразная история извращения, наблюдавшегося нередко в самых разнообразных формах во времена аскетического средневековья. И своеобразное освещение этой истории, выдержанное Пушкиным совершенно в духе того же средневековья. Такова была тема, и таково было исполнение в первоначальном замысле. Но постепенно образ бедного рыцаря растет, светлеет, облагораживается, болезненные извращения отпадают, и в окончательной редакции перед нами — восторженный и смелый духом мечтатель, фанатический приверженец высокой идеи:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал,
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. Д. своею кровью
Начертал он на щите.
И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины.
Именуя громко дам, —
Lumen coelum, sancta Rosa!*
Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.

---

* Свет небес, святая роза! *(лат.)*. — *Примеч. сост.*

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен;
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец, умер он.

Если Пушкин не находит разрешения своим упадочным настроениям, не видит пути, которым он мог бы их преодолеть, — он останавливается и выжидает. Вот "Египетские ночи", своим содержанием приводящие в такой восторг декадентов. Красавица царица, находящая острое сладострастие в том, чтобы жаркими ласками осыпать любовника, который эти ласки купил ценою своей жизни, которого она наутро пошлет на плаху. "Сладострастие паучихи, поедающей самца", — по выражению Достоевского. И повесть, и само стихотворение Пушкиным не кончены и, конечно, напечатаны им не были. Видимо, он ждал времени, когда сможет кончить их по-пушкински, когда и для самого себя, и для читателя сумеет тем или другим способом преодолеть жуть и муть начатого произведения и стать выше их.

Настроения, очень близкие к настроениям Клеопатры из "Египетских ночей", переживает и пушкинский Дон-Гуан. Его неодолимо тянет все время к такой любви, которая соприкасается со смертью, с умиранием, с болезненным увяданием; именно в такой любви для него заключено особенное сладострастие. Это очень тонко указано Д. Д. Благим. Дон-Гуан вспоминает о своей умершей возлюбленной Инезе:

Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвелых губках...
А голос
У ней был тих и слаб, как у больной.

В первоначальном тексте:

Дикую приятность
Я находил в ее безумном взоре
И посинелых губах...

Дон-Гуан у Лауры убивает на поединке Дон-Карлоса. Труп распростерт на полу. Дон-Гуан обнимает и целует Лауру. Она смущена:

Постой!.. При мертвом!.. Что нам делать с ним?

Но Дон-Гуана это нисколько не смущает. Он успокаивает Лауру, что на заре вынесет труп на перекресток, и тут же, близ трупа соперника, проводит с Лаурой горячую ночь.

У всех других авторов командор — отец обольщенной Дон-Жуаном женщины; у Пушкина — ее муж. У других Дон-Жуан приглашает статую командора на ужин; у Пушкина — на свое любовное свидание с его женой:

Проси статую завтра к Доне Анне
Придти попозже вечером и стать
У двери на часах.

Дон-Гуану под именем Дон-Диего удается возбудить к себе любовь Доны Анны. Дело идет к окончанию. Для всякого другого донжуана нечего больше и желать. Но пушкинского Дон-Гуана нисколько не привлекает такая "пресная" развязка. Пусть Дона Анна отдается убийце ее мужа, зная, что отдается убийце, — в этом будет завлекательная острота и сладость. И вот Дон-Гуан открывается Доне Анне — не в сумасшедшем порыве, забывающем о последствиях, а как игрок, хладнокровно рассчитывающий свой ход. Он говорит про себя:

Идет к развязке дело!..

И достигает своего. Дона Анна назначает ему назавтра решительное свидание, зная, что отдается убийце ее мужа.

"Извращенное совсем на особый лад сладострастие Дон-Гуана — вот то специфически новое, то свое, что вносит Пушкин в мировой сюжет об испанском обольстителе", — замечает Благой.

Внесению Пушкиным этих новых черт в образ Дон-Жуана Благой дает упрощенно-социологическое объяснение — натянутое и малоинтересное, останавливаться на нем не стоит. Но факт указан Благим верно: пушкинский Дон-Гуан полон совершенно упадочных настроений, резко отличающих его от здорово-чувственного образа других донжуанов.

И Пушкин тонко, без всяких подчеркиваний, как всегда у него, разоблачает жалкую сущность своего Дон-Гуана в заключительной сцене, в смехотворном его конце, лишенном и тени героизма. Можно только удивляться, как этого не замечают наши театры. Загипнотизированные героическим концом канонического Дон-Жуана, они изо всех сил стараются окружить героическим ореолом гибель и пушкинского Дон-Гуана.

Эпиграфом к "Каменному гостю" Пушкин поставил следующие слова Лепорелло из моцартовского "Дон-Жуана":

О, благороднейшая статуя
Великого командора...
Ай, господин!

Эпиграф обычно концентрирует в себе основной смысл произведения. И вот эпиграфом Пушкин ставит обращение к командору Лепорелло, оканчивающееся испуганным криком. Не таким же ли трусливым криком оканчивается общение с командором и самого Дон-Гуана?

У Пушкина есть стихотворение "Родословная моего героя". Действующим лицом его является мелкий чиновник в чине коллежского регистратора. Воображая себе усмешку критика по поводу такого незавидного героя, Пушкин возражает:

Я в том стою, — имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смиренной,
Хоть человек он не военный,
Не второклассный Дон-Жуан,
Не демон, даже не цыган...

Пушкин перечисляет здесь прежних своих романтических героев и к Дон-Жуану прибавляет определение "второклассный". Это ясно показывает, как расценивал сам Пушкин "класс" своего Дон-Гуана.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСИ

Моцарт и Сальери

Тбилиси.
29 апреля 1942 г.

Ток в нашем районе выключен. Вечера при коптилке; читать невозможно. Для препровождения времени стал учить наизусть "Моцарта и Сальери". Эта маленькая трагедия стоит всех остальных драм и трагедий Пушкина, маленьких и больших, взятых вместе. Один из изумительнейших шедевров мировой литературы. Мало есть ей равных по глубине и тонкости, по сжатости и простоте.

Режет ухо один недостаток. В общем, язык самый простой, разговорный. Когда я выдавал себе заученное и в чем-нибудь ошибался, то у Пушкина всегда оказывалось проще. "Когда впервые услыхал", — "когда услышал в первый раз". И среди этой простой речи — отдельные обороты, совершенно выпадающие из общего стиля: "звуки, мной *рожденны*", "*новы* тайны", "*нижé*, когда Пиччини" и т. п.

Чем больше я учил, тем больше начинал чувствовать совершенно необыкновенную тонкость и сложность характера Сальери в изображении Пушкина. Был ли актер, который сумел сыграть его? Я о таком не слышал. И странно — как будто никого к этому и не тянет. Помню, пробовал сыграть Станиславский. Позорно плохо. Стыдно и больно было за него. Мне кажется, причина в том, что актеры совершенно не понимают Сальери. Для них он — мелкий негодяй, из зависти отравивший великого гения. Чем тут соблазниться? Между тем Сальери — истинно трагическая фигура, по глубине трагических переживаний достойная стать рядом с Эдипом, Гамлетом, Отелло, Лиром.

Закрываю глаза — и какие-то великие актеры разыгрывают передо мною великую эту трагедию. Вот как я это вижу.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Сальери сидит в глубокой, угрюмой задумчивости. Произносит с усмешкой:

Все говорят, нет правды на земле...

С вызовом медленно обращает глаза к небу.

Но правды нет и выше! Для меня
Так это ясно, как простая гамма...

Словно жалуясь кому-то, Сальери рассказывает, как восторженно любил с детства искусство, как подвижнически готовился к творчеству: подножием искусству поставил ремесло, поверил алгеброй гармонию; тогда только, достойно подготовившись, дерзнул отдаться творчеству. Наконец он достиг в искусстве степени высокой, был счастлив, наслаждался своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами товарищей...

Нет, никогда я зависти не знал!
О, никогда! — нижé, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Нижé, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки...

И это верно. Он не знал зависти ни к Пиччини, ни к Глюку. Радовался их успехам, учился у них. Все они — его "товарищи в искусстве дивном". Они, может быть, преуспевают у публики больше, их слава громче, его — глуше. Важно ли это? В общем служении искусству они остаются дорогими его сердцу товарищами. А Сальери весь живет искусством, вне его для него нет жизни.

А ныне, — сам скажу, — я ныне
Завистник... Я завидую, — глубоко,
Мучительно завидую. О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан, —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного!.. О Моцарт, Моцарт!..

Вбегает Моцарт. Весь он брызжет весельем и смехом. Приводит трактирного скрипача и заставляет его сыграть "что-нибудь из Моцарта". Тот, фальшивя, деревянно пиликает чудеснейшую моцартовскую арию. Мне представляется, — арию командора из "Дон-Жуана":

Дон-Жуан, к себе на ужин
Звал меня ты, и я явился!..

Старается играть с чувством, выразить на скрипице ужас, который должно вызвать появление командора. Моцарт неистово хохочет. Всем своим поведением он жестоко оскорбляет Сальери, его благоговейную любовь к искусству и к Моцарту. Сальери с негодованием спрашивает:

И ты смеяться можешь?

Моцарт. Ах, Сальери!
Ужель и сам ты не смеешься?

Сальери. Нет!
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр, презренный
Пародией бесчестит Алигьери!

Он прогоняет скрипача. Моцарт принес показать Сальери свою новую вещь.

Хотелось
Твое мне слышать мненье, но теперь
Тебе не до меня.

Сальери. Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись.
Я слушаю.

О да! Сальери всегда жадно, не зная усталости, готов слушать Моцарта.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу...

Дальше у Пушкина нечто крайне наивное, над чем расхохочется не один только специалист-музыкант.

Представь себе... Кого бы?
Ну, хоть меня, немного помоложе;
Влюбленного, — не слишком, а слегка, —
С красоткой или с другом, хоть с тобой.
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...

Плох музыкант, который все это не в состоянии выразить непосредственно в музыке и вынужден прибегать к предварительному словесному пояснению!

Сальери упоенно слушает. Задыхаясь от восторга и негодования, он восклицает:

Ты с этим шел ко мне,
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя!

В душе Сальери тесно переплетаются незнающая границ любовь к гению Моцарта и такая же злоба к нему за великое поругание искусства, им творимое.

Моцарт сообщает, что он проголодался. Сальери: "Послушай..." Кладет руку ему на плечо, несколько мгновений молчит в колебании. Страшное решение медленно вползает в душу.

Отобедаем мы вместе
В трактире "Золотого льва".

Моцарт соглашается, идет домой предупредить жену.

Сальери долго стоит в взволнованной задумчивости. Наконец решительно:

Нет! Не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой.

И начинает натянутыми софизмами доказывать себе бесполезность и даже гибельность моцартовской музыки для искусства.

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возбудив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!

В этом все дело. Моцарт — это не Пиччини, не Глюк, и это не товарищ, пусть первый среди всех их, но "первый среди равных". Это — существо совсем из другого, высшего мира.

Вот Сальери стоит передо мною — в великой тоске чада праха, томящегося бескрылым желанием подняться над землею. Пока Моцарт жив, он, Сальери, — да и не только он, а и Пич-

чини, и Глюк, и остальные его "товарищи в искусстве дивном", — все должны себя чувствовать "чадами праха", маленькими, бескрылыми "дарованьицами". Да разве возможно с таким ощущением творить? Чтобы вольно творить, нужно чувствовать себя орлом, способным подняться выше облаков, сознавать себя великим талантом, гением. Нет, не софизмами, вовсе не софизмами доказывал себе Сальери гибельность Моцарта для всех их. При Моцарте никто из них не может чувствовать себя гением. Значит, не может творить. Значит, не может жить. Потому что для них для всех жизнь — только в искусстве.

И решение созревает:

Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!..
Вот яд, последний дар моей Изоры...

В последующем монологе Сальери ярко чувствуется глубокая, неиссякаемая любовь его к музыке. Он становится трогательно прекрасен в благоговейном своем восторге, как только заводит о ней речь. Весь как будто начинает светиться.

Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг,
И творческая ночь, и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое, — и наслажуся им...

Но он зол и мстителен. Лицо его сразу меняется и становится зловещим:

Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты, —
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры!
И я был прав! *(с лютою ненавистью)*
И наконец нашел
Я моего врага *(в скорбном восторге)*,
и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил...
(Полушепотом, с великою скорбью и беспощадною решительностью)
Теперь — пора! Заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Вся она проходит под знаком зловещей, чисто метерлинковской обреченности. Все время чувствуется дыхание надвигающейся на Моцарта смерти. От утренней веселости Моцарта, вызванной игрою слепого скрипача, нет и следа. Он нервен, тревожен. Сидит молча, положив голову на обе ладони. Сальери подозрительно приглядывается к нему.

Что ты сегодня пасмурен?

Взволнованно, с тайным ужасом, Моцарт рассказывает про черного человека, как он явился к нему, заказал реквием, исчез и больше не является; как тенью всюду гонится за ним. И с бледною улыбкою тревожно оглядывается. Сальери старается рассеять его страх, рассказывает про Бомарше. Моцарт, держа голову в ладонях, устало спрашивает:

Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери вздрагивает, на мгновенье теряется и с натянутым смехом отвечает:

Не думаю. Он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт. Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери с вдруг охватившим его тайным ужасом: "Ты думаешь?!" Неожиданная эта мысль тонким жалом незаметно входит в его душу. Он бросает в стакан Моцарта яд. "Ну, пей же!" Моцарт поднимает стакан и приветствует Сальери. Приветствие его над отравленным кубком звучит торжественно и задушевно. Он выпивает кубок. Свершилось! Сальери в ужасе кричит:

Постой!
Постой, постой!.. Ты выпил?!

Моцарт с удивлением смотрит. Сальери, запинаясь, старается объяснить свой крик:

Без меня?

Дрожащею рукою подносит к губам свой стакан и пьет. Моцарт играет реквием. Реквием самому себе. Это удрученно чует Моцарт. Это знает Сальери. Слышны глухие рыданья. Моцарт изумленно смотрит.

Ты плачешь?

Сальери. Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их! Продолжай, спеши
Еще заполнить звуками мне душу!

Нет меры любви Сальери к гению Моцарта и нет меры скорби об его гибели. Более глубокой скорби Моцарт ни в ком не мог бы вызвать своим реквиемом. И Моцарт это чувствует. Он задумчиво говорит, — говорит слабеющим голосом: яд уже начинает действовать.

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству...

Моцарт чувствует себя сильно нездоровым. Говорит, что пойдет заснет. Прощается и уходит. Сальери торжествующе выпрямляется, как после сброшенной тяжелой ноши, и с злорадством смотрит Моцарту вслед:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт!

Теперь у него совсем другое лицо. В нем только ненависть и ликующее торжествование: опять — свобода от зависти, счастье, творчество! Моцарта не станет, никто не будет обесценивать его творчества, никто не будет мешать сознавать себя гением! А он — гений. Да, да! Он гений! Один только Моцарт все время подсекал в нем эту уверенность.

Но в душе вдруг острая боль от все глубже входящего длинного жала, всаженного туда Моцартом:

Но ужель он прав,
И я — не гений? Гений и злодейство —
Две вещи несовместные...

Но ведь в таком случае... И с яростью, с отчаянием погибающего Сальери кричит: "Неправда! А Бонаротти!" И вот,

как грозный, неотвратимый приговор рока, звучат последние самообличительные слова Сальери, произносимые в безмерном ужасе:

Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы, — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Микеланджело не был убийцею, ссылаться на него нельзя, гений и злодейство — да, они две вещи несовместные, Сальери, запятнанный злодейством, никогда не сможет почувствовать себя гением, хотя Моцарта уж не будет. Злодейство было совершено напрасно. И напрасно Сальери лишил себя и мир ждавших его новых величайших художественных радостей.

Вот оно, истинно трагическое возмездие!

"ВЕЛИКИМ ХОЧЕШЬ БЫТЬ, — УМЕЙ СЖИМАТЬСЯ..."

Великим хочешь быть, — умей сжиматься.
Все мастерство — в самоограниченье.

Это Гете сказал в одном из своих сонетов. Пушкин в изумительных размерах обладал этим мастерством — умением "сжиматься" до крайних пределов.

Статуя Аполлона Бельведерского. Аполлон изображен в момент, когда только что выпустил стрелу в страшного дракона Пифона. В четырех коротких стихах Пушкин дает яркое и исчерпывающее описание статуи:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!

И не нужно в стихах объяснять, что Пифон был драконом. Это и без того достаточно видно из слова "клубясь". Что можно прибавить к этому описанию?

Дядюшка Пушкина, поэт Василий Львович Пушкин, написал такую эпиграмму:

Какой-то стихотвор, — довольно их у нас! —
Прислал две оды на Парнас.
Он в них описывал красу природы, неба,
Цвет "розо-желтый" облаков,
Шум листьев, вой зверей, ночное пенье сов,
И милости просил у Феба.
Читая, Феб зевал и наконец спросил, —
Каких лет стихотворец был,
И оды громкие давно ли сочиняет?
"Ему пятнадцать лет", — Эрата отвечает.
"Пятнадцать только лет?" — "Не более того".
— "Так розгами его!"

Вот как сжал эту эпиграмму Пушкин:

Мальчишка Фебу гимн поднес.
"Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему, вопрос?" —
"Пятнадцать". — "Только-то? Эй, розгу!"

Одной маленькой черточкой, буквально двумя словами, Пушкин умеет дать тончайшую характеристику лицу или положению. Гершензон когда-то указывал на следующие стихи из "Евгения Онегина". Татьяна написала письмо Онегину.

Но день протек, и нет ответа,
Другой настал: все нет, как нет.
Бледна, как тень, *с утра одета,*
Татьяна ждет: когда ж ответ?

Она ждет ответного письма Онегина. Но — она "с утра одета". Этой чуть заметной черточкой Пушкин показывает, что в душе Татьяна ждет не ответного письма, а приезда самого Онегина.

Мать Татьяны собирается везти ее в Москву. Описывается сцена отъезда. Впрягают лошадей в "забвенью преданный возок".

На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый.

Почему "бородатый"? Форейторами ездили обыкновенно совсем молодые парни, чаще даже — мальчишки. Вот почему: Ларины безвыездно сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг — поездка в Москву. Где уж тут обучать нового форейтора! И взяли старого, который ездил еще лет пятнадцать—двадцать назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим "бородатым" форейтором Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных. (Наблюдение насчет форейтора сделано Г. Б. Орентлихером, концертмейстером Радиокомитета.)

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
"Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца".

Каким образом сети притащили мертвеца? Сам рыбак дома, другие рыбаки чужою сетью не позволили бы себе работать. Не сами же ребята могли закинуть сеть и вытащить мертвое тело! Ребята выведены маленькими. Как же сети вытащили мертвеца? Если внимательно вчитаться в стихотворение, то ответ совершенно ясен:

"Где ж мертвец?" — "Вон, тятя, э-вот!"
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.

На песке был разостлан для просушки невод, волны выбросили на него мертвое тело, и у ребят получилось впечатление, что мертвец вытащен из воды этим неводом.

Очень также характерно в этом отношении и стихотворение Лермонтова к А. О. Смирновой. В первоначальном виде оно было такое:

В простосердечии невежды
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Стесняем робостию детской,
Нет, не впишу я ничего
В альбоме жизни вашей светской,
Ни даже имя своего.
Мое вранье так неискусно,
Что им тревожить вас грешно.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

И вот какая великолепная бабочка вылупилась из этой корявой куколки:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.

Что ж делать! Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

В небольшой статье не расскажешь всего о жизни и творчестве А. С. Пушкина, величайшего русского поэта, чьи гениальные произведения ("Борис Годунов", "Евгений Онегин", "Полтава", "Медный всадник", "Дубровский", "Повести Белкина" и др.) навсегда вошли в сокровищницу мировой литературы. Неизмеримо велико влияние творчества Пушкина, этого основоположника русского реализма, на всю отечественную да и на западноевропейскую литературу. Но в этой статье мы постараемся показать Пушкина-патриота. Пушкина о борьбе за родину — такова тема этой статьи.

В настоящее время все мы без изъятия полны одной мыслью — мыслью о варварах, ворвавшихся в нашу Родину, варварах, обращающих в дымящиеся развалины наши города и села, уничтожающих наши культурные ценности, расстреливающих детей и стариков, подвергающих изощреннейшим пыткам наших пленных бойцов, варваров, свирепостью своей далеко превзошедших самые дикие племена первобытных людей. Как будто именно о них писал арабский писатель XII века Усама-ибн-Мункыз: "От рассказов о них сделаются седыми наши новорожденные дети". Все кажется: да как возможно такое попрание самых элементарных правил человечности и даже простой порядочности, как могут подниматься руки цивилизованных людей на исполнение приказов бешеного садиста, потерявшего всякий человеческий облик? Говорят, вандалы! Но вандалы громили античный мир, в невежестве своем и не подозревая, что уничтожают величайшие духовные ценности, созданные человечеством. Может быть, если бы они это узнали, они сами пришли бы в ужас от того, что делают. А эти знают, знают очень хорошо, и в уничтожении накопленных человечеством духовных богатств как раз и находят особенное наслаждение. Нет, вандалы — эта кличка для них слишком почетная!

В нынешнее грозное и величественное время победоносной борьбы нашей Родины с вторгшимся в нее врагом всякому интересно знать, как относился величайший наш поэт Пушкин к тем освободительным войнам с внешним врагом, которые велись Россией при нем и до него.

Отдельного большого произведения об Отечественной войне 1812 года Пушкин не дал. Но из целого ряда высказываний и упоминаний мы можем видеть, как глубоко и сильно переживал он все перипетии этой войны.

Тринадцатилетним мальчиком, учась в Царскосельском лицее, Пушкин сам пережил тот взрыв общего энтузиазма, которым отмечена борьба России с вторгшимся в нее Наполеоном. Пушкин вспоминает:

Вы помните: текла за ратью рать.
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега...

В седьмой главе "Евгения Онегина" Пушкин писал:

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский за́мок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Смотрел на грозный пламень он.

Пожар Москвы в величественной эпопее двенадцатого года был для Пушкина предметом восторга и изумления, как и для всей Европы, изнывавшей под игом Наполеона. Но такой акт для "культурного" западного европейца был совершенно непонятен. Ну, сражались, может быть, геройски сражались. Но чтобы подвергнуть прекрасную свою столицу опасности бомбардировки, а тем более чтобы собственными руками превратить ее

в груду дымящихся развалин, этого европеец совершенно не мог понять. Когда Наполеон подходил к столице, власти города выходили навстречу и почтительно вручали победителю ключи от города. И сам Наполеон находил это вполне естественным и единственно возможным. Поэтому, рискуя всем, он так упорно и рвался к Москве. Он был убежден, что, войдя в Москву, он тем самым покорит и всю Россию и продиктует ей условия мира. Вы помните, как он сидел в нетерпении на Поклонной горе, как французские драгуны и польские уланы рыскали по пустынной Москве, стараясь отыскать хоть трех-четырех жителей, которые бы поднесли Наполеону ключи от какого-нибудь мучного лабаза? Вместо этого Москва через несколько дней представляла собой сплошное море пламени.

У Пушкина есть один небольшой рассказ, мало кому из широкой публики известный. Заглавие его — "Рославлев" (из неизданных записок дамы). У этой дамы, когда она еще была молодой девушкой, была близкая подруга княжна Полина, невеста ее брата, — девушка смелая и решительная, с широкими запросами, рвавшаяся душою из пошлой светской жизни. Началась война 1812 года. С ужасом и негодованием следила Полина за непрерывным отступлением русской армии. "Она занималась только политикою, ничего не читала, кроме газет. Она впала в глубокое уныние: ей казалось, что Россия быстро приближается к своему падению. Она не постигала мысли того времени, столь великой в своем ужасе, — мысли, смелое исполнение которой спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск".

В деревенскую усадьбу, куда переехала семья Полины ввиду приближения неприятеля к Москве, прибыло четыре пленных французских офицера. Один из них, по фамилии Синекур, был человек чрезвычайно примечательный. "Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило французов, как ожесточало русских".

Однажды утром дама, автор записок, гуляла в саду с Синекуром и вела с ним шутливый разговор.

"В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы пошли ей навстречу. Бледность ее меня поразила.

— Москва взята, — сказала она мне, не отвечая на поклон Синекура.

Сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Синекур молчал, потупя глаза.

— Благородные, просвещенные французы, — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву. Москва горит уже два дня.

— Что вы говорите? — закричал Синекур. — Не может быть!

— Дождитесь ночи, — отвечала она сухо, — может быть, увидите зарево.

— Боже мой, он погиб! — сказал Синекур. — Как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет поскорее отступать сквозь разоренную, опустелую сторону, при приближении зимы, с войском расстроенным и недовольным. И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад: нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Все теперь решено: отечество ваше вышло из опасности. Но что будет с нами, что будет с нашим императором!

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться.

— Неужели, — сказала она, — Синекур прав и пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена. Никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который сам жжет свою столицу!..

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел.

— Ты не знаешь, — сказала мне Полина с видом вдохновенным. — Твой брат (жених Полины)... он счастлив. Радуйся: он убит за спасение России.

В 1821 году, после смерти Наполеона, Пушкин посвятил его памяти стихотворение, в котором писал:

Надменный, кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара,

(подобно Тильзитскому миру
после аустерлицкого поражения)

Но поздно русских разгадал.
Россия, бранная царица,
Воспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие:
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб — наш договор!
    Оцепенелыми руками,
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец!
Бегут Европы ополченья;
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врага.
    И все, как буря, закипело;
Европа свой расторгла плен;
Вослед тирану полетело,
Как гром, проклятие племен.
И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!

Пушкин умер более ста лет назад. Но когда вы читаете это стихотворение, не кажется ли вам, что он пишет о нашей современности? Как будто Пушкин сейчас живет здесь, среди нас, болеет нашими болями, радуется нашими радостями, торжествует нашим торжествованием. Могучий голос его гремит и сейчас, нисколько не приглушенный протекшим столетием.

Ты поздно русских разгадал.
Настали времена другие:
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб — наш договор!
    Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец!

О ком здесь речь: о Наполеоне или о Гитлере?

Ну конечно, есть и некоторая разница: ни у кого, например, не повернется язык говорить о "дивном уме" и называть "велика-

ном” жалкую, полуграмотную марионетку, выдвинутую на авансцену истории германским крупным капиталом.

Другой освободительной нашей войне, войне со Швецией в начале восемнадцатого столетия, Пушкин посвятил отдельное большое произведение — поэму ”Полтава”.

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель. Не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.

Как вы знаете, лучший тогдашний европейский полководец шведский король Карл XII во главе великолепно обученного войска наголову разбил под Нарвой наскоро набранные, плохо обученные и плохо снаряженные русские войска. После этого русский император Петр I все внимание, все усилия устремил на создание армии по западноевропейскому образцу.

Обе армии сходятся под Полтавой. В кровопролитной битве русские наголову разбивают шведов. Кровавые уроки Карла не пропали даром:

В искушеньях долгой кары,
Претерпев судеб удары,
Окрепла Русь... Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Сейчас, когда вся эта война стала уже далеким прошлым, когда мы читаем про поход Карла в глубину Украины, мы изумляемся: что погнало его на Украину? Как мог он решиться оторваться так далеко от своей базы? Конечно, он ждал, что Украина восстанет против России.

Но поздно русских разгадал!

Не то же ли мы видим и теперь, не так же ли потомки наши с насмешливым удивлением будут следить за самонадеянным походом Гитлера на Сталинград, где он легкомысленно оставил без внимания всю изменившуюся во время войны ситуацию.

Как будто именно про наше время написал Пушкин:

...В искушеньях долгой кары,
Претерпев судеб удары,
Окрепла Русь... Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Мы наблюдаем сейчас, как враг отчаянно бьет по нашему булату и с ужасом замечает, что оружие наше не разлетается стеклянными осколками, а под бешеными его ударами становится только все крепче, все острее, все смертоноснее. И удары его уже все слабеют.

Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец!

КОММЕНТАРИИ

Нетрадиционность работ Вересаева о Пушкине, новые и часто неожиданные трактовки пушкинского творчества служили одной из главных причин обычно резко отрицательных отзывов в прессе о его трудах, особенно в первые годы после появления той или иной статьи. Со временем критическая мысль, видимо, привыкала к поразившей поначалу очередной идее Вересаева и постепенно смирялась с ней.

Наибольшее раздражение в критике вызывали два тезиса: "двупланность" и кажущаяся деидеологизация творчества Пушкина.

Выход в свет в 1929 году сборника статей "В двух планах" был встречен критикой весьма негативно. Н. Прянишников категорически настаивал: нельзя "говорить о каком-то необычайном разрыве между Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком... Как будто в своих задушевнейших и интимнейших стихотворениях Пушкин был менее подлинным"; "вынужденный в пылу полемики заострять свои собственные положения, он (Вересаев. — *Ю. Ф.-Б.*) часто договаривается до таких вещей, которыми эти положения лишь компрометируются"; "социальный аспект устранен из книги совершенно... такой подход к Пушкину неизбежно должен быть импрессионистским" (Двухпланный Пушкин // Новый мир, 1930, № 8—9). Д. Благой внес свою лепту в эту негативную оценку: "Деидеологизация творчества Пушкина, отрицание какой бы то ни было связи между тем, что в нем крупно и полноценно, и "идеологическим путем" поэта — таков первый тезис Вересаева... Творчество Пушкина не только ничем не связано с его политическими взглядами... ничем не связано оно и с "реальной жизнью". Между "планом" жизни Пушкина и "планом" его творчества нет ничего общего. Таков второй тезис Вересаева" (За научное познание Пушкина // Известия. 1935. 23 авг.).

Точно так же встречались критикой и большинство других работ Вересаева. По поводу "Второклассного Дон-Жуана" З. Маслов выразил "полное недоумение": Вересаев превратил Пушкина в "упадочника", "выступая с изложением более чем парадоксальной точки зрения, смысл которой в конечном счете сводится к объявлению Пушкина декадентом. Это вредная точка зрения: она извращает подлинный смысл гениального произведения, искажает и опошляет облик его великого автора" (Пушкинские номера журналов // Книга и пролетарская революция. 1937. № 5). С З. Масловым полностью был согласен и другой рецензент — Ю. Добранов (Искажение Пушкина // Лит. газ. 1937. 5 июня).

А уж в связи со статьей Вересаева "В защиту Пушкина" И. Сергиевский разразился прямо-таки обличительным трактатом: "Серьезную тревогу вызывает... недавнее выступление Вересаева на страницах "Известий", громко и претенциозно озаглавленное "В защиту Пушкина". Начинает Вересаев с совершенно правильных положений о том, что смешно определять значение Пушкина, исходя из большей или меньшей левизны его политических убеждений, что нужны какие-то иные критерии и т. д. Далее выясняется, однако, что для Вересаева... неважны... и познавательная ценность пушкинского наследия, и революционизирующее значение реалистических тенденций его творчества... "Жадная влюбленность в суровую, страшную и тем не менее священную жизнь" — вот чем, по мнению Вересаева, близок и родственен нам Пушкин. Но неужели самому Вересаеву не ясно, что такая, с позволения сказать, "борьба" с вульгарным социологизмом обозначает реставрацию самого низкопробного буржуазно-потребительского эстетизма, что такой подход к проблеме классического наследства может только скомпрометировать ту борьбу с различными ошибками и упрощенчеством в этой области, которая развертывается сейчас, что *объективно* он способствует активизации самых правых, самых реакционных элементов наших литературоведческих кадров" ("Социологисты" и проблемы истории литературы // Литературный критик. 1935. № 10).

Этот типичный образец зубодробительной критики тех лет с навешиванием идеологических и политических ярлыков дает, думается, представление о той общественной атмосфере, в которой появлялись работы Вересаева о Пушкине. Но справедливости ради надо сказать, что и в те годы существовала критика более вдумчивая и объективная. Гл. Глебов, например, даже не соглашаясь с основной идеей сборника "В двух планах", вместе с тем старался по достоинству оценить статьи Вересаева, который, "бесспорно, прав, восставая против "иконописной" традиции некоторых мемуаристов и биографов Пушкина... Исследователь, однако, не должен очертя голову бросаться из одной крайности в другую... Читатель нашей эпохи хочет знать образ Пушкина во всей его *правдивой полноте и сложности,* а не прикрашенным или ущербленным... Поиски "живой жизни" приводят В. Вересаева к довольно странному результату. Цинизм, разврат, легкомыслие, озорство, раздражительность, неустойчивость, "чернейшие провалы" — вот что находит он в "живом" Пушкине. Такого рода "результат" свидетельствует больше о навязчивой идее, овладевшей исследователем, чем о достоверности, основанной на беспристрастном изучении фактов... Пристрастная односторонность В. Вересаева приводит к извращенной, ложной характеристике личности великого поэта". А дальше, оспаривая "антидиалектическую в своей основе теорию "двупланности", рецензент излагает собственное представление о "чертах *живого* Пушкина", которое по сути ничем не отличается от вересаевского: "Пушкин не был ни аскетом, ни развратником, ни филистером, ни ханжой. Он был полон

сильных страстей, разнородных чувств, противоречивых стремлений. Озорство сочеталось в нем с мудростью. Цинизм — с целомудрием. Бесстрашие — с застенчивостью. Сдержанность — с пылкостью. Ревность — с доверчивостью. Жизнерадостность — с грустью. Ленивая беспечность — с поразительным трудолюбием. Светская суетность — с суровым сознанием поэтического долга. Он был искренен и доброжелателен. Внутреннее развитие поэта шло в направлении расцвета лучших сторон его личности" (О мнимом и действительном Пушкине // Новый мир. 1937. № 6).

Однако немало было в 1930-е годы и рецензий, весьма одобрявших "пушкиниану" Вересаева. Например, о сборнике "В двух планах" В. Мануйлов писал: "...Пусть это был дилетантизм, но дилетантизм талантливый и плодотворный. Вот почему даже некоторые ошибочные положения книги Вересаева "В двух планах" ставили в разгаре дискуссии актуальные проблемы, будили творческую мысль, требовали пересмотра устоявшихся традиций классического пушкиноведения" (*Вересаев В. В.* Спутники Пушкина // Литературный современник. 1935. № 1). Решительно поддержал Вересаева в его борьбе с "социологизаторством", нашедшей отражение в статье "В защиту Пушкина", Г. Чулков (Ревнители пушкинской славы // Красная новь. 1935. № 8). Очень рекомендовали читателям книгу Вересаева "Жизнь Пушкина" и некоторые газеты: "Автор использовал богатейший биографический материал и в увлекательной форме рассказал о жизни, творчестве и гибели великого русского поэта" (Что читать о Пушкине // Советская торговля. 1937. 11 февр.).

Своего рода обобщающая оценка "пушкинианы" Вересаева была дана в приветствиях правления Союза писателей СССР (Лит. газ. 1937. 15 янв.) и правления ленинградского отделения Союза писателей (Красная газета. 1937. 16 янв.) в связи с семидесятилетием Вересаева. Во втором из них есть такие строки: "Молодо и горячо Вы разрабатываете наследие А. С. Пушкина. Вы неустанно учите советского читателя пониманию творчества великого поэта".

Но, к сожалению, как часто бывает, лишь смерть человека заставляет в полной мере оценить сделанное им. Через несколько дней после смерти Вересаева на одном из заседаний Пушкинской комиссии при Союзе писателей СССР выступил профессор М. Цявловский, который посвятил свою речь "выдающейся работе о Пушкине, проделанной недавно умершим писателем В. В. Вересаевым. М. Цявловский подробно осветил значение глубоко принципиальной и страстной деятельности Вересаева по собиранию и изучению творчества поэта" (Пушкинские вечера. В клубе советских писателей, заметка без подписи // Вечерняя Москва. 1945. 11 июня; сходную информацию дала и "Литературная газета", 1945, 14 июля). Очень показательно, что такую высокую оценку труду Вересаева дал один из лучших знатоков Пушкина — тот самый М. Цявловский, которого Вересаев еще в предисловии к первому изда-

нию своего ”литературного монтажа” ”Пушкин в жизни” горячо благодарил за ”многообразную помощь” в работе над книгой, чьими консультациями неизменно пользовался и позже (этому блестящему пушкинисту и широкой души человеку посвятил Вересаев исполненный глубокого уважения мемуарный очерк ”Священнослужитель божества”, опубликованный много лет спустя после смерти и автора и героя очерка).

I. Очерк жизни и творчества

Александр Сергеевич Пушкин (Жизнь Пушкина). Впервые — Вересаев В. Жизнь Пушкина. М., 1936. Написано, по-видимому, в 1935—1936 годы.

Материалы этой книги многократно публиковались в самых различных вариантах: *сокращенно* — ”Известия”, 1936, 3, 4, 5 октября; ”На рубеже”, 1936, № 5—6; ”Красноармеец-краснофлотец”, 1937, № 1; ”Огонек”, 1937, № 2—3; ”На страже”, 1937, 4 февраля; *отрывками* — ”Ленинградская правда”, 1936, 24 октября; ”Пионер”, 1936, № 11; ”За коммунистическое просвещение”, 1936, 12, 18, 22 декабря; ”Труд”, 1937, 4, 9 февраля; ”Литературная газета”, 1937, 10 февраля; ”Коммунист” (Ереван), 1937, 10 февраля. Много раз книга выходила в 1936—1937 годах и отдельными изданиями (сокращенно и полностью): приложениями к газетам ”Известия” и ”Социалистический транспорт”; помимо упоминавшейся первой публикации еще два раза в Москве под названием ”А. С. Пушкин” (издатели — Радиоиздат и Всесоюзный дом народного творчества), затем в Курске, Смоленске, Уфе, Воронеже, два раза в Ростове-на-Дону.

Книга вобрала в себя в большей или меньшей степени и чаще в переработанном виде материалы многих статей Вересаева о Пушкине.

В интервью, данном в 1936 году, Вересаев помимо прочего сообщал, что готовит для Детгиза биографию Пушкина (см.: *Анибал Борис*. Беседы с В. В. Вересаевым // Книжные новости. 1936. № 4. 10 февр.). Однако тогда она так и не вышла, а была издана Детгизом (М.; Л.) лишь в 1945 году в серии ”Школьная библиотека” с пометкой ”Для неполной средней и средней школы” и со множеством иллюстраций. Книга появилась после смерти писателя, но готовил ее к печати он (см.: *Щелоков М*. У писателя Вересаева // Вечерняя Москва. 1945. 7 апр.).

В настоящем издании книга печатается именно по этой публикации 1945 года, так как она отражает последнюю волю автора относительно текста монографии. Сомнения по поводу выбора текста для данного однотомника могут быть связаны с тем, что публикация 1945 года адресована школьникам и тем самым предлагает более облегченный вариант, нежели издание 1936 года. Но, во-первых, издание 1936 года тоже было популярным, рассчитанным на самую широкую ау-

диторию. А во-вторых, в 1945 году Вересаев не только кое-что сократил в книге, но и добавил, причем добавления эти очень интересны.

Основная часть добавлений связана с характеристикой творчества Пушкина: Вересаев широко цитирует пушкинские стихи и подробно их анализирует. Достаточно сказать, что для издания 1945 года подготовлена новая заключительная глава "Человек и художник" и почти полностью написана заново глава "После смерти". А кроме того, в разных местах книги сделано еще двадцать пять больших вставок (порой многостраничных) тоже литературоведческого характера. Мелких же уточнений — множество.

Из других добавлений следует отметить увеличение числа глав (вместо одиннадцати их стало четырнадцать); появление нескольких новых эпизодов жизни в лицее; более развернутую характеристику некоторых лиц из окружения Пушкина; подробное описание визита Пущина в Михайловское к ссыльному Пушкину, а также мест, где жил поэт; уточнения в оценке восстания декабристов.

Словом, издание 1945 года, несомненно, более полно отражает взгляд Вересаева на жизнь и творчество Пушкина. Однако не исключено, что кое-какие сокращения текста 1936 года сделаны потому, что новое издание адресовалось школьникам. Во всяком случае, это можно предположить в отношении тех страниц, где рассказывалось о любовных увлечениях Пушкина, — сокращений такого рода немало. В силу того что неизвестно, какие сокращения Вересаев делал, учитывая школьный адресат книги, а какие потому, что изменил в чем-то свою точку зрения, ниже приводятся основные сокращения из числа тех, которые кажутся так или иначе примечательными.

В издании 1936 года:

После слов "Нет и счастья без любви..." (с. 39) приводился еще один пример из лицейских стихов Пушкина, где он рассказывает о пирушках и прочих загулах лицеистов, и констатировалось, что подобные стихи — "чистейшая фантазия", так как на этот счет в лицее было строго; затем шел такой текст:

"В стихах Пушкина замечается и другая струя, проходящая и впоследствии через всю его поэзию, — мысль о счастье в мечтах, о создании светлого мира фантастических образов, заслоняющих скуку и тяжесть обыденной жизни:

Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум... обманом,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом! *(1815)*

Поэт мирится с тем, что судьба не даст ему золотых минут счастья; у него есть другое неотъемлемое счастье:

В мечтах все радости земные,
Судьбы всемощнее поэт. *(1815)*"

После слов "...считалось хорошим тоном" (с. 45) шло:

"Хотел, чтобы его считали кутилою. Явится в общество и пошатывается.

— Что это вы, Александр Сергеевич?

— Да вот, выпил двенадцать стаканов пуншу!

А вправду и одного не допил. Пил из молодечества, чтобы не отстать от других или их перепить. Однажды на пари выпил целую бутылку рому. Из того же молодечества держался вызывающе. В театре, например, как Онегин, шел "меж стульев по ногам" или остановится между рядами кресел, загораживая сидящих, и на просьбу пройти дальше отвечает грубостями".

После слов "...веселыми попойками" (с. 49) шло:

"...по-видимому, с участием актрис и веселых девиц; с пирушки, повесничая на улицах, отправлялись в веселые дома".

После слов "...озорство злое, едкое" (с. 58) шло:

"...граничившее с форменным хулиганством. Пушкину показалось обидным замечание жены одного молдавского боярина, и он вызвал на дуэль ее мужа, а когда тот отказался, дал ему пощечину. Другой раз повздорил за картами с кем-то из местной молодежи, снял сапог и подошвой ударил молодого человека по лицу. Увидел однажды на крыльце хорошенькую девушку и верхом на лошади въехал к ней на крыльцо".

После слов "...одна и та же" (с. 63) шло:

"Одним из очень сильных увлечений Пушкина по приезде его в Одессу была Амалия Ризнич. Муж ее был крупный хлебный торговец, родом из адриатических славян, далмат или кроат, она же была итальянка. Красавица, высокого роста, с огненными глазами, лебединой шеей и черною косою в два аршина. Она вела широкую жизнь, любила танцы и карты, вокруг нее вились рои поклонников. В высшем одесском свете она не была принята, но светские молодые люди заполняли ее гостиную. Пушкин страстно увлекался ею. К Амалии Ризнич относят его стихи "Мой голос для тебя..." и "Простишь ли мне ревнивые мечты?". Любовь была тяжелая, чисто чувственная, она огненным хмелем дурманила голову Пушкина. Амалия была к нему благосклонна, но заставляла его переживать жестокие муки ревности.

В начале 1824 года у нее появились признаки чахотки, она уехала в Италию, и больше Пушкин с нею не виделся".

После слов "...с неожиданной разлукой" (с. 69) шли незаконченные стихи Пушкина "Ненастный день потух...".

После слов "...привлечен к следствию" и "...грозную силу представляет собой Пушкин" (с. 82) шли подробности о попытках Пушкина просить нового царя разрешить ему переехать из деревни "в Москву, или в Петербург, или в чужие края". Здесь много строк из писем Пушкина:

— петербургским друзьям: "...Гонимый шесть лет сроду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю. Но никогда я не проповедывал ни возмущений, ни революций — напротив. Как бы то ни было, я желал бы *вполне* и *искренно* помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны";

— царю: "С надеждой на великодушие вашего императорского величества, с истинным раскаянием и твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку решился я прибегнуть к вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбою".

После слов "...участвовал в кутежах" (с. 85) шло:

"Вообще вел жизнь самую рассеянную. И опять влюблялся направо и налево. В Москве, вскоре после приезда из ссылки, сильно увлекся своею однофамилицею Софьей Федоровной Пушкиной, даже сделал ей предложение, но она была уже невестою другого и вскоре вышла замуж. В Москве же Пушкин усиленно ухаживал за двумя красавицами сестрами Ушаковыми и тремя сестрами княжнами Урусовыми. В Петербурге увлекся умной и насмешливой черноглазой фрейлиной А. О. Россет, задумчивой красавицей-фрейлиной А. А. Олениной (тоже, говорят, делал ей предложение), был, по-видимому, в близких отношениях со страстною, эксцентричною женою финляндского генерал-губернатора А. Ф. Закревского и молодою женою старого генерала, Анной Петровной Керн. Иногда Пушкин выезжал к себе в деревню, гостил в псковских и тверских дворянских гнездах знакомых помещиков. Там увлекался Евпраксией Вульф, ее двоюродной сестрою Нетти Вульф, другою ее двоюродною сестрою — Катенькой Вельяшевой. Вообще сердце у Пушкина было очень вместительное. Большинство этих возлюбленных он обессмертил в своих стихах".

После слов "...работал очень много" (с. 85) шло:

"Черновики его представляют сплошную сетку лепящихся друг на друга строк и слов, последовательно вновь и вновь зачеркнутых".

После слов "...он распрощался с Паскевичем" (с. 92) шло:

"На обратном пути в Россию Пушкин заехал на минеральные воды и около месяца прожил в Горячеводске (Пятигорске) и Кисловодске. Там он совершенно проигрался в карты, спустил шулерам все свои

деньги, спустил тысячу червонцев, взятую на дорогу взаймы у Раевского; занял денег у знакомых и 8 сентября выехал в Москву".

После слов "...со смертью в душе" (с. 92) шло:

"В Петербурге Пушкин тосковал, кутил, безудержно играл в карты. Одному иностранцу он в это время сказал: "Я бы предпочел умереть, чем не играть".

После слов "...признание людское, слава!" (с. 93) были стихи Пушкина "На это скажут мне с улыбкою неверной...", а чуть ниже после стихотворной строчки "...Толпе, рабыне суеты..." шло:

"Сама же эта толпа, сама же рабыня низменной, суетной жизни не имеет права ничего требовать от поэта — никакой пользы, никаких нравственных уроков и призывов к действию". И далее приводились строки из "Черни" Пушкина.

После слов "...в течение десяти лет моей жизни" (с. 96) шло:

"Усиливалось классовое самоопределение. Еще раньше Пушкин запальчиво защищал перед друзьями-революционерами свое право гордиться знатными предками, шестисотлетним своим дворянством. Теперь он все больше утверждался в сознании этого своего права и с горечью видел, что старинные дворянские роды вследствие дробления имений приходят во все больший упадок, а господствующее положение занимает служилая знать с предками самого темного происхождения — пирожниками, придворными певчими, царскими денщиками. В сущности, это была просто вражда разоряющегося среднепоместного дворянина к крупнопоместной знати; стоявшие наверху общественной лестницы такие представители стариннейших дворянских родов, как князь А. Н. Голицын, М. О. Воронцов, Уваров, мало для Пушкина отличались от Меншиковых, Разумовских и Кутайсовых. В стихотворении "Моя родословная" Пушкин полуиронически, полусерьезно так характеризовал свое новое социальное положение:

Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой, я мещанин.

Однако до серьезного перехода на позиции "мещанина" было очень далеко, и навряд ли этот переход когда-нибудь у Пушкина свершился".

После слов "...свадьба расстроилась" (с. 96) шло:

"Но машина уже катилась по рельсам, красота девушки тянула к себе, а в душе была усталость от холостой жизни, жажда тишины, семейного уюта. И Пушкин шел к роковой цели, как бык под занесенный обух".

После слов "...или "Моцарт и Сальери" отсутствовало "с жутким "Пиром во время чумы" (с. 98), вместо этого шло:

"Лирика этой осени переливается у Пушкина всеми цветами радуги. Своеобразное и странное в психологическом отношении впечатление производят три стихотворения: "Расставание" ("В последний раз твой образ милый..."), "Заклинание" и "Для берегов отчизны дальной...". Счастливый жених Гончаровой, страстно томясь разлукой с нею, Пушкин ни одного стихотворения не посвящает ей, а страстно вызывает образы прежних своих возлюбленных: живой графини Воронцовой и умершей — Амалии Ризнич".

В связи с этим наблюдением Вересаева представляет интерес одна из главок его неопубликованных заметок "Над Пушкиным", озаглавленная "Любови Пушкина": "...современный ученый пушкиновед-педант, особенно из подлаживающихся, с большим пренебрежением относится к "любовям" Пушкина. Строчка из дневника, где он высказывает свой взгляд на роль русского дворянства, для этого исследователя интереснее, чем такие перлы пушкинской любовной лирики, как "Ненастный день потух" или "Для берегов отчизны дальной". Между тем чрезвычайно сложная, до сих пор еще неразгаданная натура Пушкина ни в чем не проявляется так разнообразно, как в его любовных увлечениях.

Уж мало ли любовь играла в жизни мной!

Ведь любовь к Наталье Николаевне привела Пушкина к гибели в самом могучем расцвете его гения. А любовная лирика Пушкина представляет из себя сплошную тайнопись. Пушкин совершенно не заботился о том, чтоб его поняли. Он писал *для себя*. Часто расшифровать эту тайнопись совершенно невозможно, если не выяснить, к кому именно обращено данное стихотворение. Пример — "В последний раз твой образ милый...":

Уж ты для скорбного поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас...

Это стихотворение относили к умершей Амалии Ризнич, как и два других одновременно написанных стихотворения — "Заклинание" и "Для берегов отчизны дальной". Между тем исследование рукописей Пушкина привело к несомненному выводу, что стихотворение обращено к живой Е. К. Воронцовой. Получается чрезвычайно своеобразная картина. Пушкин, счастливый жених Гончаровой, сидит в Болдине, и перед ним, обжигая душу страстью, проходят образы его прежних возлюбленных..."

После слов "...мы не знаем" (с. 100) шло:

"Но, учитывая характер Онегина, самое лучшее, что мы тут можем предположить, — это что он примкнул к декабристам, потому что ему больше некуда было себя девать, что он совершенно изжил себя".

После стихотворной строки "Я буду век ему верна" (с. 100) шел спор с Белинским, где Вересаев утверждал:

"Во всем, что говорит Татьяна Онегину, Белинский видел только страх Татьяны за свою добродетель и трепет за доброе свое имя в большом свете".

В 1937 году в журнале "30 дней" (№ 2) Вересаев опубликовал заметку "Но я другому отдана", где размышления писателя об отношениях Татьяны и Онегина получили развитие. Первая часть заметки совпадает с текстом книги, а затем после повторения двустишья "Но я другому отдана, я буду век ему верна" (с. 101) в журнале шло:

"Если бы в ней действительно возмутилась "верная супруга и добродетельная мать", стала ли бы она тратить так много слов на предварительные разговоры? Сразу резко оборвала бы Онегина.

И Онегин стоит перед нею, как пристыженный школьник, не смеет слова сказать ей в ответ: не смеет, потому что понимает — она права. Ему и в голову не приходит говорить у Пушкина те пошлости, которые ему вкладывает в уста либреттист оперы Чайковского "Евгений Онегин".

Интересно: а что было бы, если бы Татьяна не отвергла Онегина, если бы пошла навстречу его любви?

У Пушкина есть набросок начатой повести, в собрании его сочинений озаглавленный "На углу маленькой площади".

В наброске этом рассказывается, как светский молодой человек Володский и светская дама красавица Зинаида полюбили друг друга. "Полюбив Володского, — рассказывает Пушкин про Зинаиду, — она почувствовала отвращение от своего мужа, сродное одним женщинам и понятное только им. Однажды вошла она к нему в кабинет, заперла за собою дверь и объявила, что она любит Володского, что не хочет обманывать мужа и втайне его бесчестить и что она решилась развестись. Муж был встревожен таким чистосердечием, стремительностью; она не дала ему времени опомниться, в тот же день переехала с Английской набережной в Коломну и в короткой записочке уведомила обо всем Володского, *ничего тому подобного не ожидавшего. Он был в отчаянии: никогда не думал он связывать себя такими узами*. Он не любил скуки, боялся всяких обязанностей и выше всего ценил свою себялюбивую независимость. Но все было кончено. Зинаида оставалась на его руках. Он притворился благородным и приготовился на хлопоты любовной связи, как на занятие должностное или как на скучную обязанность поверять ежемесячно счеты своего дворецкого".

И вот перед нами — трогательная идиллия их любви.

" — Зинаида! Прости меня: я сегодня сам не свой; сержусь на всех и за все. В эти минуты надобно мне сидеть дома... Прости меня; не сердись.

— Я не сержусь, Валериан: но мне больно видеть, что с некоторого времени ты совсем переменился. Ты приезжаешь ко мне, как по обязан-

ности, не по сердечному внушению. Тебе скучно со мною. Ты молчишь, не знаешь, чем заняться, перевертываешь книги, придираешься ко мне, чтобы со мною побраниться и уехать... Я не упрекаю тебя: сердце наше не в нашей воле; но я...

Валериан уже ее не слушал. Он натягивал давно надетую перчатку и нетерпеливо поглядывал на улицу. Она замолчала с видом стесненной досады. Он пожал ее руку, сказал несколько незначащих слов и выбежал из комнаты, как резвый школьник выбегает из класса..."

Разве не так же, как Зинаида, поступила бы Татьяна, если бы она сошлась с Онегиным, и разве не та же идиллия ждала бы ее в совместной жизни с Онегиным?"

После слов "...никакого участия" (с. 104) шло:

"Пушкин в ее присутствии зевал и искал общества более интересного. Это, естественно, обижало Наталью Николаевну. Но естественно было и отношение к ней Пушкина".

После слов "...бывала при дворе" (с. 105) шел рассказ о холерных бунтах в России, о восстаниях в крестьянских военных поселениях, созданных Александром под Новгородом и Старой Руссой, о восстании в Польше в октябре 1830 года, находившейся под властью России. Затем: "Пушкин, как сам он сознавался, "никогда не любил революции и бунтов"; теперь воочию перед ним обрисовался характер возможностей крестьянской революции. Впоследствии в "Капитанской дочке" он с ужасом писал: "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный". И далее: "Пушкин всегда был патриотом. Восстание Польши очень его волновало. Страх перед крестьянским движением, патриотический страх перед польским восстанием — все это толкало Пушкина все более вправо, вынуждая мириться с самодержавием. Никогда он не стоял на такой правой позиции, как в эти годы — в 1830—1831 годах. По прямому вызову царя Пушкин написал патриотическое стихотворение "Клеветникам России". После взятия Варшавы написал не менее патриотическое стихотворение "Бородинская годовщина".

После слов "...на пальцах когти". (с. 108) шел в скобках такой текст: "Пушкин, как известно, носил длинные ногти".

Глава "В придворном плену..." (с. 109) начиналась фразой: "Император продолжал ухаживать за женою Пушкина".

Вместо текста со слов "А Пушкин рос..." до слов "...говорят они сами" (с. 110—111) цитировалось стихотворение Пушкина "Полководец", посвященное Барклаю-де-Толли, его одиночеству, а затем следо-

вало резюме Вересаева: "Может быть, когда Пушкин писал это, он немножко думал и о себе".

После слов "...с душою и талантом!" (с. 115) шли строки из "Бориса Годунова", принадлежащие главному герою: "Противен мне род Пушкиных мятежных", затем в рассуждениях о причинах враждебного отношения правительства к Пушкину существовал еще следующий текст: "Ведь он, казалось, шел навстречу правительству, так ясно высказывал свои консервативно-монархические взгляды".

После слов "Откуда вдруг глупец?" (с. 118) шло:

"Эта непонятная пятая строфа приводила некоторых исследователей к полному отрицанию обычного, прямого понимания "Памятника". Видели в нем иронию Пушкина над народом, который будет в его поэзии любить самую неполноценную ее часть, и смирение поэта перед такою куцою оценкой его "глупцами".

После слов "...был желанным гостем" (с. 122) шло:

"Дамы носили его на руках и отбивали друг у друга. Один знакомый сказал Дантесу:

— Вам, барон, говорят, очень везет у женщин.

Дантес с усмешкой ответил:

— Женитесь, граф, и я вам это докажу на деле".

После слов "Отпускал шуточки" (с. 124) шло:

"...в таком роде: на разъезде с одного бала, подавая руку своей жене, сказал так, чтобы Пушкин слышал:

— Ну, пойдем, моя *законная!*

Он как бы давал этим понять, что у него есть еще другая, не "законная".

После слов "...привести к концу свое черное дело" (с. 133) шло:

"На одной почтовой станции ехавшая в Петербург жена профессора Никитенки увидела суетившихся на дворе жандармов, торопивших ямщиков скорее перепрячь телегу, где в соломе стоял завернутый в рогожи гроб. Она спросила одного из глядевших крестьян, что это такое.

— А бог его знает. Вишь, какой-то Пушкин убит, — мчат его на почтовых в рогоже и соломе, прости господи, — как собаку.

Так хоронила царская Россия величайшего русского поэта".

После слов "...ничего не делали и блаженствовали" (с. 148) шел несколько более развернутый текст о растущей любви народа к Пушкину.

II. Статьи, заметки, рассказы

Поэт. Впервые — журн. "Красная новь", 1924, № 2. Написано в 1924 году.

При переизданиях Вересаев вносил в текст мелкую правку и уточнения — например, в пятом рассказе "Живая грамота" заменил вымышленное имя героини, Феклуша, на настоящее Ольга (об истории отношений Пушкина с Ольгой Калашниковой см. в статье Вересаева "Крепостной роман Пушкина", помещенной в настоящем издании).

Переиздавая в 1935 году этот цикл, Вересаев снял имевшийся ранее постскриптум, который по своему содержанию перекликался с авторским предисловием к "Пушкину в жизни":

"P.S. Конечно, не для дешевого "обличения" Пушкина эти рассказы. Бессмысленно обличать человека, который сам так настойчиво указывал на несовпадение поэта с человеком в плане реальной жизни. "Душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он". Несовпадение это остро интересовало Пушкина именно потому, что, очевидно, близко касалось его самого. Он в "Египетских ночах" отмечает совершенно несоизмеримое различие импровизатора — в жизни и в минуту творческого вдохновения. И эпиграфом ставит: "Я царь, я раб, я червь, я Бог". Он рисует в "Пророке" полное *перерождение* человека в минуты, когда он становится поэтом, — перерождение зрения и слуха, языка и сердца. Он стал теперь *другим,* он теперь по-иному видит и слышит, по-иному чувствует.

Таков и был Пушкин — и это составляет характернейшую черту его творческой натуры. Мало есть поэтов, у которых Dichtung (поэзия) их так бы отличалась от Wahrheit (правды), как у Пушкина. Для нас так привычно представление, что поэт в лирике своей просто отображает то, что непосредственно чувствует. Если поэт восхищается журчанием Бахчисарайского фонтана или перед тремя соснами благословляет идущую на смену новую жизнь, то мы уверены, что так именно поэт, действительно, переживал, и живописцы с чистою совестью рисуют Пушкина перед Бахчисарайским фонтаном, Пушкина перед тремя соснами, а на лице его — соответственное стихотворение. У Пушкина впечатления жизни не выливались в его поэзии непосредственно. Наступали часы творчества — в пылающий огонь вдохновения валилась темная руда непосредственных переживаний и из нее выплавлялся блистающий металл поэзии, который, может быть, составлял только маленькую частицу первоначальной руды. И то, что в жизни, в непосредственном переживании *человека* было затемнено страстью или пристрастием, что было мелко, серо, нередко дрянно, пошло и даже грязно, — все это у *поэта* претворялось в божественную незатемненность духа, глубочайшее благородство и целомудренную чистоту. И при том — не

единого фальшивого звука. Величайшая из загадок художественного творчества".

Печатается по изданию: *Вересаев В. В.* Избранное. М.: Гослитиздат, 1935.

В двух планах. Этот авторский сборник статей, написанных Вересаевым в 1920-е годы, был опубликован московским издательством "Недра" в 1929 году.

Вошедшие в него статьи впервые опубликованы:

К психологии пушкинского творчества — журн. "Красная новь", 1923, № 5 (написано в 1923 г.).

Об автобиографичности Пушкина — журн. "Печать и революция", 1925, № 5—6 (написано в 1925 г.).

Пушкин и Евпраксия Вульф — журн. "Новый мир", 1927, № 1 (под общим названием "Заметки о Пушкине"; написано в 1926 г.).

Княгиня Нина — журн. "Новый мир", 1927, № 1 (под общим названием "Заметки о Пушкине"; написано в 1926 г.).

Пушкин и польза искусства — журн. "Новый мир", 1928, № 2 (под общим названием "Заметки о Пушкине"; написано в 1927 г.).

"Стихи неясные мои" — журн. "Новый мир", 1928, № 2 (под общим названием "Заметки о Пушкине"; написано в 1927 г.).

В двух планах — журн. "Красная новь", 1929, № 2 (написано в 1928 г.).

Таврическая звезда — кн. "Пушкин и его современники", вып. XXXVII. Л., изд. АН СССР, 1928 (написано в 1925 г.).

Крепостной роман Пушкина — журн. "Печать и революция", 1928, № 3 (под общим названием "Заметки о Пушкине"; написано в 1928 г.).

Через несколько лет после публикации Вересаевым статьи "Княгиня Нина" высказанные в ней соображения оспорила М. Боровкова-Майкова — "Нина Воронская ("Евгений Онегин")". Ей в свою очередь возразил Вересаев. Их полемика была опубликована в кн. "Звенья", кн. III—IV. М.; Л., Academia, 1934. Здесь в заметке под названием "О Нине Воронской" Вересаев писал:

"В статье моей "Княгиня Нина", помещенной в "Новом мире" и перепечатанной в сборнике моих статей о Пушкине "В двух планах", я высказал предположение, что в "Евгении Онегине" под именем "блестящей Нины Воронской, сей Клеопатры Невы" Пушкин вывел Агр. Фед. Закревскую. Доводы мои были такие. Все, что мы знаем о Закревской, весь облик ее удивительно подходит к Клеопатре, как ее понимал Пушкин и как изобразил в "Египетских ночах", — бешено-страстной, находящей особенное упоение в вызывающем попирании всех признанных законов нравственности и даже приличий, внушающей прямо страх силою сатанинской своей страстности. Пушкин, сам далеко не мальчик и не новичок в любви, с содроганием останавливает-

ся перед жуткою, тянущей к себе чувственностью Закревской: "Таи, таи свои мечты: боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты!" И Баратынский о ней же: "Страшись прелестницы опасной, не подходи: обведена волшебным очерком она; кругом нее заразы страстной исполнен воздух..." И еще вот как Баратынский: "Кого в свой дом она манит, — не записных ли волокит, не новичков ли миловидных? Не утомлен ли слух людей молвой побед ее бесстыдных и соблазнительных связей? Но как влекла к себе всесильно ее живая красота!" Закревская выведена Баратынским в его поэме "Бал" под именем "княгини Нины", под этим именем она фигурирует и в переписке Вяземского с Пушкиным. Всего поэтому естественнее, мне кажется, в *Нине* Воронской, *Клеопатре* Невы, видеть именно Закревскую. Доводы мои были приняты двумя лучшими из современных пушкинистов: покойным Б. Л. Модзалевским и М. А. Цявловским (Пушкин, Письма, II, 306. Московский пушкинист, II, 178).

В вышепомещенной статье М. С. Боровковой-Майковой вопрос о прототипе Нины Воронской подвергнут пересмотру. М. С. Боровкова-Майкова указывает на сообщение Богуславского и приводит неопубликованное письмо кн. П. А. Вяземского, свидетельствующее, что Ниною Воронскою названа в "Онегине" графиня Завадовская. Эти свидетельства, по мнению автора, "разрешают окончательно вопрос, чей образ дан Пушкиным в Нине Воронской".

Само по себе сообщение какого-то никому неведомого Богуславского, конечно, никакого значения иметь не может. Другое дело — свидетельство Вяземского: он был одним из близких друзей Пушкина, стоял в курсе и личных его дел, и его творчества. Однако является ли свидетельство кого-либо из близких друзей Пушкина таким уже бесспорным доводом, что перед ним мы должны отбросить всякие сомнения и критику, всякую логику и признать голый факт свидетельства пушкинского друга окончательно решающим сомнительные вопросы пушкиноведения? Мы имеем слишком много таких свидетельств, бьющих совершенно мимо цели, чтобы ответить на приведенный вопрос утвердительно. Плетнев, например, относит к какой-то рано умершей графине Растопчиной стихотворение "Увы, зачем она блистает", имеющее в виду Елену Раевскую; Нащокин в стихотворении "19 окт. 1825 г." несомненнейшее упоминание о Пушкине относит к Гревеницу. Оба они — и Плетнев и Нащокин — стихи "Когда твои младые лета позорит шумная молва" считали обращенными к Закревской, хотя содержание стихов никак невозможно увязать с Закревской: Пушкин в них горько жалеет и утешает несчастную жертву "шумной молвы", — Закревская же с наслаждением издевалась над этой молвой, с презрением бросала ей вызов всею своею жизнью и совершенно не нуждалась в утешениях и жалениях. Ближайшие также друзья Пушкина уверяли, что стихотворение "Пророк" раньше оканчивалось корявейшим четырехстишием, не имеющим решительно никакой связи с самим стихотворением:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вкруг смиренной выи
К царю ... явись!

Но вправе ли мы, несмотря на все свидетельства пушкинских друзей, либо просто отвергнуть нелепую эту приклейку, либо, вместе с проф. Сумцовым, принять, что друзья, запамятовав, прилепили к "пророку" исковерканное их памятью четырехстишие из какого-нибудь другого стихотворения Пушкина?

Теперь спросим: если Пушкин называет красавицу Клеопатрой, хочет ли он просто сказать, что она красива, как Клеопатра, и больше ничего? Есть много исторических, художественных и религиозных образов красавиц: Юдифь, Диана, Юнона, Клеопатра, Мессалина, Мадонна, Беатриче. Неужели безразлично, какое из этих имен приложит поэт для характеристики своей красавицы? Ясно, в каждой из поименованных красавиц кроме красоты есть еще другие характерные особенности, присущие именно ей: суровая способность к самопожертвованию у Юдифи, девственная чистота у Дианы, глубокая развращенность у Мессалины и т. д. Можно ли допустить, чтобы Пушкин назвал Клеопатрой красавицу без достаточных данных, приближающих ее именно к Клеопатре? Посмотрим же, что представляла собой Завадовская. Графиня Елена Михайловна Завадовская, рожденная Влодек. Она была одной из самых блистательных великосветских красавиц пушкинского времени, об исключительной красоте ее не устают твердить воспоминания и письма этой эпохи. Однако среди всех этих упоминаний мы не встречаем *ни одного* указания даже на очень в то время обычную неверность мужу, а тем более на такую любовную разнузданность, которая давала бы возможность назвать ее Клеопатрой. Напротив. Во всех стихотворениях, к ней обращенных, отмечается ее чистота, девственное выражение глаз этой замужней женщины, действие ее красоты не на чувственность, а на самые высокие стороны души. И. И. Козлов писал ей:

И как румяною зарею
Блеск солнца пламенной струею
Бросает жизнь на небеса,
Так *чистой, ангельской душою*
Оживлена твоя краса.

А тот же Вяземский к ней писал:

Любовь беснуется под воспаленным югом;
Не ангелом она святит там жизни путь, —
Она горит в крови отравой и недугом
И уязвляет в кровь болезненную грудь.
Но сердцу русскому есть красота иная,
Сын севера признал другой любви закон:

Любовью чистою таинственно сгорая,
Кумир божественный лелеет свято он.
Красавиц северных он любит безмятежность,
Чело их, *чуждое язвительных страстей,*
И свежесть их лица, и плеч их белоснежность,
И пламень голубой их девственных очей...
Красавиц севера царица молодая!
Чистейшей красоты высокий идеал!
Вам глаз и сердца дань, вам лиры песнь живая
И лепет трепетный застенчивых похвал.

Наконец — и сам Пушкин. Теперь дознано, что несравненное его стихотворение "Красавица" написано не к Гончаровой, не к "государыне", не к графине Фикельмон, а именно к Завадовской. Вспомним стихотворение:

Все в ней гармония, все диво.
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей...
Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье;
Но встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

И это написано — к Клеопатре?!

Если бы не один Вяземский с каким-то Богуславским, а все близкие и далекие друзья Пушкина дружным хором свидетельствовали, что Клеопатра — это Завадовская, мы вправе им не поверить и не признать за их свидетельством решительно никакой ценности. Отыскивать прототипы к художественным образам — задача, в общем, довольно пустая. Может быть, рисуя свою Клеопатру Невы, Пушкин не имел в виду ни Закревскую, ни другую какую-либо живую женщину. Но одно можно сказать с совершенною несомненностью: во всяком случае он имел в виду не Завадовскую".

В настоящем издании статьи печатаются по тексту упомянутого выше сборника "В двух планах".

В защиту Пушкина. Впервые — газ. "Известия", 1935, 2 апреля (под шапкой "К столетней годовщине смерти поэта" и с пометкой редакции: "В порядке постановки вопроса"). Написано в 1935 году.

Вересаев решительно не принимал популярного в те годы вульгарно-социологического подхода к искусству вообще и творчеству Пуш-

кина в частности. Этой полемике посвящены не только данная статья и другие публицистические выступления писателя, но и многие строки его художественных произведений мемуарного плана. В "Невыдуманных рассказах о прошлом" есть, например, такая зарисовка:

"В середине двадцатых годов существовало в Москве литературное общество "Звено". Один молодой пушкинист прочитал там доклад о Пушкине. Пушкин такой писатель, что, надергав из него цитат, можно пытаться доказать что угодно. Докладчик серьезнейшим образом доказывал, что Пушкин был большевиком чистейшей воды, без всякого даже уклона. Разнесли мы его жестоко. Поднимается беллетрист А. Ф. Насимович и говорит:

— Товарищи! Я очень удивлен нападками, которым тут подвергся докладчик. Все, что он говорит о коммунизме Пушкина, настолько бесспорно, что об этом не может быть никакого разговора. Конечно, Пушкин был чистейший большевик! Я только удивляюсь, что докладчик не привел еще одной, главнейшей цитаты из Пушкина, которая сразу заставит умолкнуть всех возражателей. Вспомните, что сказал Пушкин:

Октябрь уж наступил..."

Статья печатается по тексту первой публикции.

"За то, что живой". Впервые — газ. "Известия", 1936, 6 июня (с подзаголовком: "К спорам о Пушкине"). Написано в 1936 году.

Статья сопровождалась заметкой "От редакции": "Редакция "Известий ЦИК СССР и ВЦИК" приглашает читателей откликнуться на статью В. В. Вересаева и просит ответы на вопрос "Чем Вам дорог Пушкин?" присылать в адрес "Известий" (отдел литературы и искусства)".

Еще 6 июня 1934 года Вересаев выступил в газете "Известия" со статьей "К нему не зарастет народная тропа", где в преддверии столетия со дня смерти Пушкина предложил провести "широчайшее систематическое обследование читательской нашей массы, выявить анкетным путем, чем именно ей дорог Пушкин, что она в нем находит, что он ей дает?" Вересаев не сомневался, что Пушкин "с каждым годом делается... все более дорогим и нужным", но причины этого растущего интереса требуют анализа и объяснения: "почему он становится сейчас все нужнее, какую духовную потребность удовлетворяет все победоноснее? Ответить не так легко... вопрос стоит того, чтобы подойти к нему научно и поставить его разрешение на объективную почву". Однако этот призыв Вересаева не получил отклика среди специалистов. И тогда писатель решил взяться за исследование самостоятельно, попросив читателей высказать свое мнение о Пушкине.

В ответ на его статью "За то, что живой" пришло много писем. И 5 января 1937 года Вересаев выступил с их обзором в той же газете

"Известия". Он увидел в письмах большинства читателей столь близкое ему неприятие вульгарно-социологизаторского отношения к Пушкину, восторг перед той "живой жизнью", которой полны произведения великого поэта. Вот некоторые выдержки из этой статьи, называвшейся "Чем дорог Пушкин советскому читателю":

"...Полученный газетою материал представляет огромный интерес и до некоторой степени может служить показателем, как и за что любит Пушкина советский читатель.

Получено было около пятисот отзывов. Тут и длиннейшие диссертации о значении Пушкина, тщательно напечатанные на машинке, и стихи, и короткие письма, написанные корявым почерком на вырванном из тетради листке. Пишут рабочие, колхозники, красноармейцы, преподаватели, инженеры, служащие.

Первое чувство, которое охватывает при просмотре этой груды корреспонденции, — это волна нежной, совершенно исключительной любви к Пушкину подавляющего большинства корреспондентов. Для многих даже кажется странным самый вопрос, мною поставленный. Рабочий шелковой фабрики *С. Занко (Могилев)* пишет: "Что мне в Пушкине нравится? А что в нем может не понравиться? На ваш вопрос я бы почтительно обнажил голову и ничего не сказал". Художник-инвалид *В. Герб (Воронеж)* отвечает вопросом: "Чем мне дорога весна, солнце, цветы, чистый, свежий воздух, ясное небо?" Бывший сельский учитель *А. Котков* пишет: "Девушка рассуждает: кавалеры все хороши, но Ваня лучше всех. Точно так же можно сказать: писатели все хороши, но Пушкин все-таки лучше всех. Его просто любят, как любят дети отца, мать. Когда читаешь Пушкина, тебе так и представляется, что Пушкин меня, глупого, необразованного лентяя, любит, как друга. Он надо мною не смеется, но не ноет надо мною, а просто, любя и лаская, указывает путь к светлому и хорошему".

...Бывший красный партизан *П. Петров* пишет: "Хочется рассказать об отношении к Пушкину поколения людей, прошагавших по полям смерти в дни революционной молодости нашей Советской республики.

Вспоминается 1918 год. В таежном поселке, недалеко от Енисея, приютился штаб и политотдел партизанской армии. В один из наиболее спокойных вечеров (а их у партизан было очень немного) бойцы, командиры, работники оружейных мастерских и сестры госпиталя собрались послушать доморощенного сказителя-поэта Рагозина, по профессии маляра.

...После прочтения собственных стихов, довольно примитивных и подражательных, партизанский поэт начал декламировать Пушкина. Читал он без мастерства, но эффект получился огромный, совершенно неожиданный. Особенное впечатление на слушателей, в частности на сестер, произвели "Полтава", "Евгений Онегин", "В Сибирь" (Послание к декабристам).

Большинство слушателей знало о Пушкине только то, что когда-то существовал в России такой поэт, с именем которого связывались лишь анекдотические нелепицы. Каково же было удивление после прочтения указанных вещей! Суровые бойцы сидели с улыбающимися, умиленными лицами, вздыхали, смотрели на чтеца с открытыми ртами. Заметив слезы у женщин, кто-то спросил:

— Чего вы размокли?

— Оттого, что все правда, — ответило сразу несколько голосов.

...С этого вечера томик Пушкина перестал быть собственностью партизанского поэта Рагозина. Переходя из рук в руки, он благополучно проследовал с армией от сибирской железнодорожной магистрали до границ Тувинской республики и обратно.

На привалах в короткие часы отдыха Пушкина читали коллективно целыми подразделениями.

Возвращаясь из похода, многие бойцы декламировали запомнившиеся строфы из Пушкина. Величайший поэт способствовал людям познавать мир, отвечал на туманные мысли бойцов с полной ясностью, с присущими только ему изобразительными средствами. Овеянные морозами, таежными ветрами и порохом, партизаны учились по Пушкину понимать подлинную красоту мира и жизни, любить жизнь и людей.

Характерно, что и при вступлении в бой они подбадривали себя стихами поэта, заражались действиями героев Пушкина из "Полтавы" и других произведений, а в мрачные дни, угрожавшие гибелью армии, находили утешение в творчестве поэта. Так был широк и проницательно глубок поэт в понимании партизан.

Непонятное произошло позднее. В 1920—1924 годах пишущему эти строки случилось обучаться в Институте народного образования, где в одной из аудиторий велись длительные споры о Пушкине. Не в меру рьяные "новаторы" громоподобно кричали, что Пушкин не наш, Пушкин — барский поэт, его творчество-де для слащавеньких гимназисток и епархиалок старой школы, идеологический хлам и т. д. "Вы отстали от жизни", — отвечали "новаторы" своим противникам.

Много горьких дней пришлось пережить за оскорбленного поэта, за любовь к нему.

"В чем же наша отсталость выражается?" — не один раз спрашивал я себя, ворочаясь по ночам в постели.

На этот вопрос ответило время. "Идеологическим хламом" оказалось творчество рьяных "новаторов" о Пушкине. Из игрушечного пугача немыслимо было дострелить до немеркнущей звезды величайшего поэта. Она еще ярче и блистательней загорается в наши славные дни".

Красные партизаны, о которых рассказывает т. Петров, шли в бой, подбадривая себя стихами Пушкина. Характерно заявление младшего командира Ив. Бедняшева: "Пушкин удвоит мою энергию в грядущем бою против врага".

В своем умном и тонком отзыве преподаватель *Д. И. Сухопрудский (Москва)* спрашивает: "Как получается, что поэт, живший за сто лет до нас, совсем в иную эпоху, очень далекий и чужой нам во всех своих конкретных целях и жизненных отношениях, остается нашим голосом, дает нам слова для наших мыслей и чувств? Я считаю, что мы Пушкина воспринимаем уже не реально в социальном и политическом смысле... Когда сводят ценность Пушкина к познавательному значению, то этим до предельной степени обедняют и принижают его поэзию. Подумаешь, как мы обогащаем себя, узнав через Пушкина, как жили и чувствовали дворяне 20—30-х годов девятнадцатого века или даже как думал и чувствовал он сам, если брать его только как сына своего времени, как "шестисотлетнего дворянина" или дворянина-буржуа. Пушкина мы воспринимаем алгебраически и музыкально. Поэзия Пушкина во многом — алгебра наших мыслей и музыка наших чувств. Образы Пушкина, его чувства звучат для нас реальностью не своею, а нашею. Какое мне дело до того, что Керн — не "гений чистой красоты", а "вавилонская блудница"? Я найду своих Керн, если понадобится. Мне нет нужды конкретизировать это стихотворение, оно для меня — не портретное, не альбомное и не биографически-пушкинское, а формула *моих* чувств к ряду явлений красоты как в моей жизни, так и в истории. Так и во всем другом. *Тон* поэзии Пушкина, а не ее конкретное, историческое содержание делает его близким нам. Мы игнорируем классовую конкретность Пушкина, но зато широко заполняем его своею классовою конкретностью. Мы даже меньше будем восхищаться вступлением к "Медному всаднику", если хорошо узнаем, как строился Петербург на костях русских крестьян. Но мы, вероятно, больше наслаждаемся этими пушкинскими стихами, чем дореволюционные читатели".

...Так широко распространенная у нас недавно "классовая" трактовка Пушкина, невероятное упрощение его творчества путем якобы "социологического" его обоснования встречает единодушный протест читателей. Рабочий *Г. Е. Ермаков (Астрахань)* пишет: "Определение классовой сущности Пушкина вводит простого читателя в такое заблуждение, что ему никогда не понять, кто же в конце концов был Пушкин". Учитель *А. С. Лоскутов (Ардатов)* сообщает: "Массовый советский читатель нашел, почувствовал и оценил Пушкина сам. В школьных программах до недавнего времени от Пушкина оставались лишь рожки да ножки. Современная критика, стараясь установить социологическую сущность и социологические корни его творчества, на самом деле умерщвляла Пушкина". Учительница *Валентина Стайко (Омск)* пишет: "Определение "классовой сущности" Пушкина было бы в нашей школе принято, как неостроумная шутка. Читая Пушкина ребятам, я вижу сияющие глаза, озаренные внутренним светом".

...Многие ценят Пушкина, между прочим, и за то, что он знакомит нас с бытом и жизнью своего времени. И все единогласно отмечают ясность, легкость, простоту и точность языка.

"О, черт возьми, как у него хорошо слова идут!" — восклицали в восторге рабочие-строители Черноморской железной дороги (сообщение *Ал. Мешковского, Абхазия*). "Форма Пушкина так совершенна, что, кажется, только этими словами и можно эту мысль выразить", — пишет *Татьяна Запорожец,* студентка театральных мастерских при Центр. театре Красной Армии. *В. В. Колосов,* инструктор одного из районов Ленинградской области, приводит отзывы колхозников. Один: "Все понятно, все как на ладони, хоть бери кисточку и рисуй на каждую строчку картинку". Другой: "Можешь сидеть часами и все его стихи петь на какой хочешь мотив, все равно хорошо получится".

И. Н. Воробьев, сотрудник милиции *(Коломна),* замечает: "Читая Пушкина, убеждаешься, — он уважал то, что писал".

Много встречается очень горьких слов по адресу современной литературы. Мастер завода "Серп и молот" *В. А. Татаринов (Москва)* пишет: "Я люблю Пушкина всегда. Когда мне весело, берусь за него. Когда мне скучно, читаю его. Когда я читаю "Гидроцентраль" и сержусь на М. Шагинян за то, что она издевается над нервами читателей своим темным и непонятным стилем, я беру Пушкина. И после этого я снова люблю всех писателей".

...Подходим к тому, что ярко и неизменно звучит в подавляющем большинстве писем, что, видимо, является самым главным и неоспоримым, влекущим всех к Пушкину.

П. М-ский (Киев) пишет: "Пушкин впервые по-настоящему открыл для меня поэтическую прелесть природы, опоэтизировал мое отношение к женщине, зажег во мне жгучую ненависть к палачам и душителям свободы. Он, как мудрый учитель жизни, открыл мне глаза на мир, показал мне красоту там, где я не мог ее распознать". Красноармеец *Н. П. Баталов (Челябинск)* ("Читатель молодой, образования никакого не имею"): "Когда я не знал Пушкина, я видел только вокруг себя. Я ни о чем не представлял: ни о старом и ни о новом мире. Я не умел чувствовать: я не умел с любовью смотреть на природу, не умел ее ценить и любить. Теперь этому меня научил Пушкин". Другой красноармеец, *А. Щедрин (ДВК),* пишет: "Каждый раз при чтении Пушкина я ощущаю какое-то внутреннее волнение, любовь к жизни, беспредельное желание к знаниям, жизнь для меня становится все более явственной". Колхозник *П. Н. Тихонов (Белевский район):* "Пушкина произведения каждого углубляют читателя, очищают жизнь, учат любить ее и уважать. Произведения Пушкина у нас в колхозах читают много". *А. Термитина,* учительница *(Калининская область)*: "При знакомстве с Пушкиным я испытала чувство, которое испытала на первом льду на коньках: чистый, скользкий, прозрачный лед, возбуждение от легкости собственного тела, быстроты движений и бодрого легкого морозца".

Умение Пушкина открывать красоту там, где ее обычно не замечают, отмечается многими. Колхозник *П. В. Романьков (Западная область, колхоз "Красный сигнал")* пишет: "Пушкин брал действительность такою,

какова она есть на самом деле, но умел подмечать черты присущей ей красоты даже там, где они не бросаются в глаза".

...Однако корреспонденты наши отмечают, что эта жизнерадостность Пушкина заключается не в том, что он закрывает глаза на страдания, а что он умеет их преодолеть, что в нем живет крепкая вера в счастье и жизнь. "Во всех его произведениях чувствуется солнце, — пишет чертежник-конструктор *В. Н. Эсаулова (Ленинград).* — Везде и всюду он говорит: да, может быть, вчера и было темно, но зато сегодня солнце сияет, и оно будет сиять всегда, несмотря ни на что". Аспирант Кредитно-экономического института *Ривкина* пишет: "Пушкин, это не водная гладь. Он через глубокий душевный разлад, страданье и недовольство собой достигает совершенства". *А. Иванов (Западная область, дер. Гриднево):* "Главное значение творчества Пушкина в полноценной жизненности. В нем не только радость брызжет золотыми искрами, но само страдание заключает в себе глубочайшую силу. У него — та настоящая жизнь, которою должны жить люди на земле". Служащий *В. М. Нехензон (Изяславль Винницкой обл.)* пишет: "Жизненные невзгоды не сломили его богатырского духа, его жизнелюбия: ни одно из его творений не проникнуто пессимизмом либо отчаянием. Ни облачка на светлом небе его поэзии. Вокруг — яростная буря, душа его сотрясается под ударами судьбы, но чудная песнь льется из уст".

В. И. Ефремов, служащий на одной из серпуховских фабрик, приводит отзывы рабочих о Пушкине. Один: "Писал без отрыва от действительности, без небесных залетов". Другая: "Как чем дорог? Дорог, люблю, вот и все. Полюбила, как солнце, как жизнь. А разве всегда знаешь, за что?" "И еще, и еще ряд ответов, — рассказывает т. Ефремов. — Особо выделяют высокохудожественное, любовное отображение природы. И никто не сказал, чтобы Пушкина не любил. У Пушкина жизнь бьет ключом, он заражает жизнерадостностью, влюбляет в жизнь и в себя".

Рабочий *И. Соколов,* токарь по металлу, пишет: "Пушкина произведения, как сегодняшние, свежие. Когда я читаю его книги, прямо является какая-то бодрость". "Его произведениями можно вылечить больного человека", — утверждает *Ф. Пуликов (село Дубенское Красноярского района).* "Лучше всякого курорта", — замечает колхозник *М. Николаев* по записи *В. В. Копосова (Волосовский район Ленинградской области).*

...Исключительная близость Пушкина к нашей современности отмечается множеством корреспондентов... *Н. Н. Заколпский* (Льнокомбинат системы инженера Зворыкина, *Кострома*) пишет: "Жажда жизни, бьющая через край в творчестве Пушкина, сверкающая тысячами красок и образов, является именно тем, что обеспечивает Пушкину любовь миллионных масс нашей страны. Насыщенное жизнью творчество Пушкина как нельзя более соответствует психическому укладу советского человека"... *Н. Н. Белых (Старый Оскол Курской области):* "Пушкин несет

нам такую правду, в которой даже его классовая позиция не заслоняет собою действительной жизни. Он становится властителем наших порывов к красоте, к полнокровной человеческой жизни, настоящей любви"...

Вересаев много размышлял об удивительной способности Пушкина превращать жизнь в красоту. В публикуемой статье есть краткий пример того, как под пером Пушкина подлинной поэзией становятся и вроде бы чисто физиологические описания. Этот пример Вересаев развернул в самостоятельную заметку в своих "Записях для себя":

"Как будто совсем одно и то же — и как оно может быть совсем различным, совсем друг на друга непохожим! "Леда в объятиях Юпитера" Микеланджело или "Ио в объятиях Юпитера" Корреджо — какая высокая, какая чистая красота! А изображается акт совокупления! А в той же берлинской Национальной галерее картина того же Корреджо "Леда и Юпитер" — чистейшая порнография. В числе других снимков я купил и снимок с этой картины — и очень быстро уничтожил: противно было смотреть на эту гадость.

Или вот: сколько есть сладострастных, а то и совсем порнографических стихотворных описаний того же акта. Нельзя даже себе представить, — как иначе можно это описать? А вот прочтите следующее стихотворение Пушкина:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.

О, как милее ты, смиренница моя,
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле.

В сущности, подробнейшее чисто физиологическое описание двух половых актов — с страстной женщиной и с женщиной холодной.

А какая целомудренная красота и какая чистота! Когда С. Т. Аксаков прослушал это стихотворение, он побледнел от восторга и воскликнул:

— Боже! *Как* он об *этом* рассказал!"

Статья печатается по тексту первой публикации.

Две дуэли. Впервые — газ. "Труд", 1936, 12 октября. Написано в 1936 году.

Печатается по тексту первой публикации.

Около Пушкина. Впервые — кн. "Звенья", кн. VI. М.; Л.: Academia, 1936 (с подзаголовком "Заметки"). Написано, видимо, в 1935—1936 гг.

Три "заметки", объединенные автором в единый цикл, печатаются по тексту первой публикации.

"Второклассный Дон-Жуан". Впервые — журн. "Красная новь", 1937, № 1. Написано в 1936 году.

Печатается по тексту первой публикации.

Литературные записи. Моцарт и Сальери. Впервые — *Вересаев В. В.* Невыдуманные рассказы. М.: Художественная литература, 1968. Написано в 1942 году.

Печатается по тексту первой публикации.

"Великим хочешь быть, — умей сжиматься..." Впервые — газ. "Литературная газета", 1939, 10 июня (не полностью). Полностью — *Вересаев В.* Собр. соч. в пяти томах, т. 5. М.: Правда, 1961 (в составе "Записей для себя"). Написано, видимо, в 1939 году.

В неопубликованных набросках "Над Пушкиным" Вересаев, вспоминая эту свою заметку, добавляет еще один пример удивительной пушкинской краткости:

"...Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев *их* буйной дури...

Чьей "их"? Вполне ясно, что волн. Великолепная дерзость!"

В "Записях для себя", создававшихся с конца 1920-х до начала 1940-х годов, Вересаев неоднократно обращался к Пушкину, который в это время безраздельно стал для него эталоном литературного мастера. Он пытается понять секреты впечатляющей силы пушкинской поэзии, и часто они кажутся просто необъяснимыми, столь же таинственными, как загадочна природа самого искусства. Вот одно из выразительных размышлений Вересаева на этот счет: "У Пушкина в вариантах к "Графу Нулину":

Он весь кипит, как самовар...
Иль как отверстие вулкана,
Или — сравнений под рукой
У нас довольно, но сравнений
Не любит мой степенный гений,
Живей без них рассказ простой.

Это действительно характерная особенность Пушкина — он не любит образов и сравнений. От этого он как-то особенно прост, и от этого особенно загадочна покоряющая его сила. Мне иногда кажется, что образ — только суррогат настоящей поэзии, что там, где у поэта не хватает сил просто выразить свою мысль, он прибегает к образу. Такой взгляд, конечно, ересь, и оспорить его нетрудно. Тогда, между прочим, похеривается вся восточная поэзия. Но несомненно, что образ дает особенный простор всякого рода вычурностям и кривляньям".

Заметка печатается по тексту первой полной публикации.

Александр Сергеевич Пушкин. Впервые — журн. "Красноармеец", 1944, № 11 (под шапкой "Замечательные люди нашей Родины"). Написано в основном, вероятно, в 1942 году и дополнено, возможно, в 1944 году.

Писатель И. Василенко свидетельствовал, что Вересаев, находясь в первые годы Отечественной войны в Закавказье (преимущественно в Тбилиси и Боржоми), написал трактат "Пушкин-патриот" и выступал с ним перед военнослужащими в Доме офицеров и перед студентами университета. Судя по всему, в основе публикуемой статьи лежит этот трактат.

Печатается по тексту первой публикации.

СОДЕРЖАНИЕ

Викентий Викентьевич Вересаев

ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН

На первом форзаце —
акварель Б. Патерсена "Петербург. Вид на Казанский собор
со стороны Невского проспекта". 1800-е гг.

На втором форзаце —
акварель Б. Патерсена "Петербург. Вид на Исаакиевскую площадь
со стороны Синего моста". 1800-е гг.

На четвертой стр. суперобложки и на обороте первого форзаца
портрет В. Вересаева работы художника Г. Верейского
(публикуется с разрешения Л. М. Верейской)

Заведующий редакцией А. В. Никольский
Редактор Г. И. Жарикова
Художественный редактор О. Н. Зайцева
Технический редактор Т. А. Новикова

ИБ № 9942

ЛР № 010273 от 10.12.92 г.
Сдано в набор 17.10.96. Подписано в печать 10.11.96. Формат 60×84 1/16.
Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура "Баскервиль".
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,18. Уч.-изд. л. 24,49.
Тираж 10 100 экз. Заказ № 2100. С 053.

Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.

Российский государственный
информационно-издательский Центр "Республика"
Комитета Российской Федерации по печати.

Издательство "Республика".
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

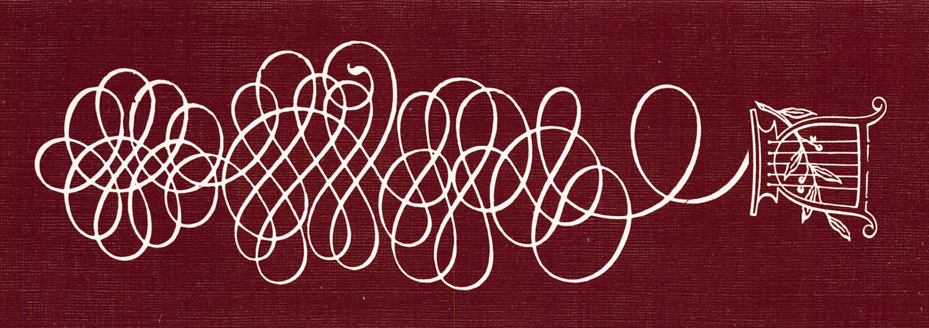
Полиграфическая фирма "Красный пролетарий".
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

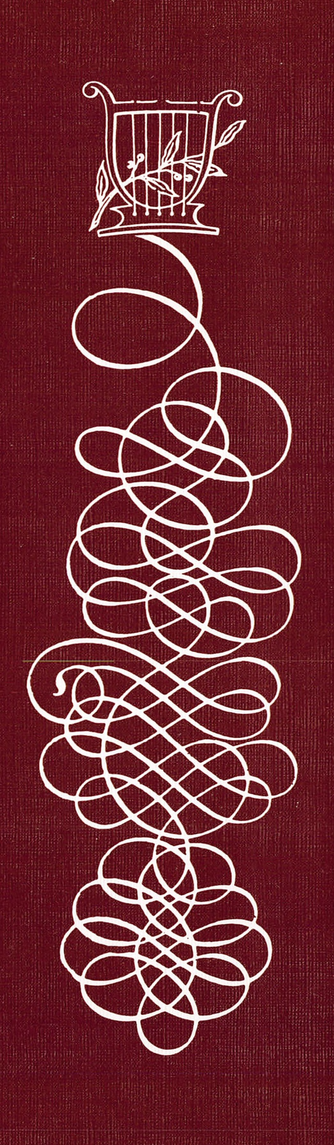
В. ВЕРЕСАЕВ ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН

ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН

В. ВЕРЕСАЕВ









"Ясный", "гармонический" Пушкин, гениальный "гуляка праздный", такой как будто понятный в своей нехитрой гармоничности и благодушной беспечности, – в действительности представляет из себя одно из самых загадочных явлений русской литературы.

В. Вересаев

В. ВЕРЕСАЕ